

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ**

---

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. КОСЫГИНА  
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**«СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ»**

**ИНСТИТУТА СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

**Выпуск 3 (VIII)**

**Москва  
2021**

УДК 008  
С 47

СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ: Сборник материалов международной научной конференции Института славянской культуры (09.02.21). Выпуск 3 (VIII). – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. – 197 с.

В сборнике представлены материалы международной конференции, которая ежегодно проходит в Институте славянской культуры. Инициатором ее проведения выступила в 2014 году кафедра Славяноведения и культурологии. Философы, культурологи, историки, литературоведы обсуждают наиболее актуальные проблемы исторического и культурного развития славянского мира.

***Редакционная коллегия:***

Запека О.А. – ответственный редактор и составитель, канд. философ. наук, доцент

Сборник подготовлен к печати на кафедре славяноведения и культурологии  
Института славянской культуры

ISBN 978-5-00181-225-8

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2021

© Коллектив авторов, 2021

© Обложка. Дизайн. Николаева Н.А., 2021

## СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

<b>1. Гросул В.Я, проф., д.н./ Grosul V.Y, prof., DSc.</b> Русский либерализм после Отечественной войны 1812 г. / Russian liberalism After the Patriotic War of 1812.....	4
<b>2. Белов А.В., доц., к.н./ Belov A.V., PhD.</b> Судьба города и его духовных святынь, оказавшихся на пути армии вторжения: Можайск и Лужицкий монастырь в 1812 году / Mozhajsk and Luzhitsky monastery in 1812: the fates of the city and its objects of worship on the way of invasion troops.....	44
<b>3. Мельников Г.П., доц., к.н./ Melnikov G.P., PhD</b> Война и культура: опыт эпохи Гуситских войн / War and culture: the experience of the Hussite wars.....	52
<b>4. Ковальска-Стус Х., проф./ Kowalska-Stus H., prof.</b> Вторая мировая война. История и историческая политика / World War II. History and historical policy	65
<b>5. Манойлович Н., доц., к.н./ Manojlovic N., PhD</b> Двусторонние отношения Сербии и Черногории на фоне дезинтеграции национально-культурной идентичности черногорских сербов / Bilateral relations of Serbia and Montenegro in the context of the disintegration in the national and cultural identity of montenegrin serbs.....	79
<b>6. Адельгейм И.Е., д.ф.н./ Adelheim I. E., DSc.</b> Гротеск vs трагедия. Тема Холокоста и Ленинградской блокады в текстах С. Хутник, И. Остаховича, А.Тургенева / Grotesque vs tragedy. the topic of the Holocaust and the siege of Leningrad in the texts of S. Hutnik, I. Ostakhovich, A. Turgenev.....	93
<b>7. Чепелевская Т.И., доц., к.н./ Chepelevskaia T.I., PhD</b> Влияние войны как эпизода творческой биографии на прозу словенского писателя Станко Майцена (1888–1970) / The influence of the First world war as a stage of the biography on the prose of the slovenian writer Stanko Maitzen (1888–1970).....	130
<b>8. Манчев В.С., к.н./ Manchev V.S., PhD</b> Концепт «война» в русской литературе (от классиков до современников)/ Concept «war» in russian literature (from classics to contemporaries).....	149
<b>9. Склизкова Е.В., доц., к.н./ Sklizkova E.V., PhD</b> Прагматика геральдической службы в свете культурологии / Pragmatics of heraldic service in the context of cultural studies .....	161
<b>10. Малютина И.А., доц., к.н. /Malyutina I.A., PhD</b> Чешский писатель XX века Ф. Непил: несколько слов о войне / The czech writer of the XX century F. Nepil: a few words about the war .....	182
<b>ИЛЛЮСТРАЦИИ.....</b>	<b>195</b>

*Гросул Владислав Якимович,  
доктор исторических наук,  
главный научный сотрудник ИРИ РАН*

## РУССКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ ПОСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.

**Аннотация:** В статье подробно рассматриваются реалии, тенденции развития и судьбы различных составляющих отечественного либерализма избранной эпохи. Представлен спектр ожиданий, мотивов и целей русского дворянства и интеллигенции на волне успеха 1812 г., а также проанализированы их усилия в направлении конституционализма (включая и самого императора Александра I), причины неудач и наступления реакции. Автор также подробно останавливается на вкладе декабризма и его воздействии на умонастроения и культурную атмосферу той эпохи.

**Ключевые слова:** дворянство 1812 г., отмена крепостного права, Александр I и Николай I, эволюция взглядов, либеральная бюрократия, М. Сперанский, декабризм, Арзамас, Русский Парнас.

После Отечественной войны и Заграничных походов, когда была одержана выдающаяся победа над Наполеоном, казалось, что представителям либеральной «партии рассчитывать не на что. Консервативные силы явно приписывали победу себе и в зените славы были такие люди как А. Шишков, Ф. Ростопчин, С. Глинка. Все, однако, зависело от воли самого императора, в свою очередь, представшего перед зарубежной Европой как ее спаситель. Мало кто знал, что было у него на уме. А он никак не желал расставаться с ореолом либерального правителя. В марте 1811 г. он писал своему воспитателю Лагарпу: «Здесь мы идем медленно, но всегда приближаясь более и более к либеральным идеям» [1, т.4, с.6]. А ровно через год он наносит удар по либералам. Затем он еще через два года оказался в Париже и там он поспешил посетить салон весьма влиятельной писательницы госпожи Жермены де Сталь, один из самых известных и, вместе с тем, либеральных салонов французской столицы, где стал развивать свои либеральные взгляды и даже позволил себе покритиковать испанского короля Фердинанда VII, упразднившего конституцию в своей стране [1, т.3, с.231].

Там же, в этом салоне госпожи де Сталь Александр громогласно заявил, что в его империи, как он подчеркнул, «с Божьей помощью, крепостное право будет уничтожено» в его царствование [1, т.3, с.231-232]. Он явно стремился представить себя перед европейским общественным мнением как император – либерал и эта роль ему, несомненно, нравилась. Русский император заметно переигрывал других монархов Европы. Но не нужно было обладать большим воображением, чтобы предвидеть опасность грядущих коллизий, будущего противостояния России и остальной Европы, противостояния небывалого, поскольку, пожалуй, первый раз в истории Россия предстала перед общественностью более либеральной, чем Запад. И это находило конкретное выражение в реальных действиях, прежде всего в проведении поли-

тики зарубежного конституционализма, который не мог не встревожить западные правительства.

Значительный общественный резонанс получила поездка Александра I в Англию летом 1814 г. Еще до его прибытия в британскую столицу туда приехала его родная сестра Екатерина Павловна, овдовевшая в конце 1812 г. Казалось бы, один из руководителей русской консервативной «партии» по логике вещей должен был стремиться к налаживанию близких отношений с английскими консерваторами, тем более, что они уже долгое время находились у власти и направляли и внешнюю, и внутреннюю политику страны. Но русская княгиня повела себя совсем по-другому. Она начала оказывать всяческое внимание деятелям оппозиции, то есть вигам – английским либералам, в частности, сблизилась с лидерами оппозиции – лордами Г. Голландом и Ч. Греем, что породило негодование английских правящих кругов [2, с.Х].

В ее поведении просматривалась четко проводившаяся политическая линия. Не случайно, когда сам император приехал в Лондон, он поселился не в специально подготовленном для него дворце, а в доме, где уже расположилась его сестра. Уже такой шаг Александра вызвал определенное недовольство английской верхушки. И затем, как пишет один из лучших знатоков александровской эпохи, великий князь Николай Михайлович, «после приезда государя в Англию недоразумения продолжались в течение всего пребывания; никакого сближения между монархами не произошло, к великому огорчению русского посла; цель путешествия в политическом отношении не была достигнута; и оно привело к обратным результатам. Торжествовали лишь многочисленные враги России, как Меттерних, лорд Кастлри и другие» [2, с.Х].

Александр тоже встречается с вигами и всячески подчеркивает свое к ним благоволение. Более того, в беседе с Греем он высказался за создание в России «Благонамеренной оппозиции» и даже попросил помощи вигов, решивших, что русский самодержец вознамерился создать в России парламент [1, т.3, с.244]. Действия брата и сестры, по-видимому, были согласованными. Явно прослеживается их нацеленность на сближение с либеральной оппозицией и неудовольствие правительством консерваторов. Складывалось впечатление, что Александру I нравилось разыгрывать роль либерала, и даже более того, он выдвигался чуть ли не в вожди международного либерализма. Среди тогдашних монархов крупнейших держав он предстает перед общественным мнением как самый либеральный, самый справедливый и человечный.

Понятно, что другим монархам это амплуа российского самодержца не очень нравилось, они явно проигрывали в борьбе за поддержку общества, и вряд ли стоит удивляться постепенному складыванию антироссийской коалиции. Противоречия между союзниками были и во время войны с Наполеоном, и при подготовке Парижского мирного договора, подписанного 30 мая 1814 г. и, как подчеркивают специалисты, после посещения Александром Лондона трещина, возникшая в отношениях между Россией и Англией, углубилась еще больше [3, с.41]. Результатом этих противоречий стало подписа-

ние 22 декабря 1814 г. (3 января 1815 г. по н.с.) секретного соглашения Англии, Австрии и Франции, направленного не только против России, но также и против Пруссии [4, с.95; 5, с.128], но все-таки против России прежде всего.

Противоречия между Россией и союзниками сводились не только к проблемам политического характера. Они были намного шире и затрагивали и идейно-моральную сферу, а также отношения экономического и социального плана. Их необходимо учитывать в комплексе. Особое значение приобрел экономический фактор. Как известно, в 1815 г. английский парламент принимает новый хлебный закон, принимает его в интересах землевладельцев-лендлордов. Это означало заметное повышение таможенных пошлин на ввозимый хлеб, что чувствительным образом ударило по русскому экспорту. В первой четверти XIX в. российский экспорт в Великобританию составлял примерно 40% всего российского экспорта [6, с.34]. Александр I и его сестра, видимо, знали о подготовке такого закона и то, что английский парламент, где преобладали тогда тори, этот закон может принять. Потому такое внимание к вигавам и одна из причин повышено-либеральных реверансов русского императора.

Свои внешнеполитические акции император должен был подкрепить соответствующими действиями внутри страны. Особенно если учесть настроения широких народных масс того времени, которые, например, передал декабрист А.А. Бестужев, сообщивший в письме к Николаю I о народном ропоте следующими словами: «Мы проливали кровь..., а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа» [7, с.35-36].

И действия императора вскоре последовали. Сразу же после возвращения из заграничных походов, 30 августа 1814 г. отправляется в отставку Ф.В. Ростопчин – один из столпов консервативной партии, и в этот же год был продвинуты и такие видные консерваторы как А.С. Шишков и И.И. Дмитриев [8, с.211]. Это был самый настоящий удар по консервативной «партии», почти такой же какой был нанесен по направлению либералов в 1812 г. Но это еще не все. Постепенно начинает вновь подниматься Сперанский. Из своей пермской ссылки бывший государственный секретарь послал несколько писем императору, на которые ответа получено не было. Но затем ситуация несколько изменилась. В своем обширном письме Александру I от 4 февраля 1813 г. Сперанский писал императору: «...должен я заключить, что мнение Ваше о мне еще не решено невозвратно. Впоследствии назначение денежного мне пособия и невидимая, ко мне приметная защита утвердили еще более сию надежду» [9, с.328]. То есть уже в начале 1813 г. ситуация начинает меняться, затем Сперанскому разрешили поселиться в его имении Великополье, а 30 августа 1816 г. он назначается пензенским губернатором, как оказалось, при содействии А.А. Аракчеева, все более и более приобретающего силу. Менее через три года, в марте 1819 г. Сперанский назначается сибирским генерал-губернатором [10, с.59-60].

Было чему удивляться и даже негодовать закоренелым консерваторам, которые еще недавно называли Сперанского французским шпионом и требо-

вали жестокой расправы над ним чуть ли не смертоубийство. Если отставка Ростопчина все-таки объяснялась заметным недовольством его управлением Москвы, то меры против Шишкова и Дмитриева были трудно объяснимы, а удар сразу по трем видным консерваторам, конечно, случайностью быть не мог, при определенном изменении отношения к Сперанскому. Конечно, все более поднимался такой столп консерватизма как Аракчеев, влияние которого было чуть ли не безграничным. Хотя не нужно думать, что он действовал совсем без указки императора. Его биографы подчеркивают, что Александр был «господином, сознательно употреблявшим Аракчеева в качестве орудия для исполнения своих планов» и когда впоследствии были разобраны бумаги Аракчеева, то оказалось, что черновики многих этих бумаг, им подписанных, были составлены самим императором [11, с.34, 46]. Император явно вел свою игру, лавируя между консерваторами и либералами, но его послевоенные действия вновь воодушевили либеральную «партию». Александр I вновь и неоднократно говорил о необходимости преобразований как в аграрной области, так и в вопросах государственного управления.

П.Д. Киселев, приближенный к императору, оставил несколько свидетельств о своих с ним доверительных беседах. Во время одной из них Александр I говорил о том, что смерть Екатерины II «не позволила ей азиатские обычаи и многое в правлении, по желанию ее, переменить. Мы должны теперь идти ровными шагами с Европою; в последнее время она столько просветилась, что, по нынешнему положению нашему, оставаться назади мы уже не можем; но на все надо время, всего вдруг сделать нельзя...помощников нет, кругом видишь обман...Россия может много, но на всё надо время» [12, т.1, с.29]. Обратив внимание на запись беседы Александра I с Киселевым, историк А. Корнилов сделал вывод о том, что император России в 1816 г. «был еще искренним и убежденным конституционалистом» [13, с.205].

Так это или не так, но имеется значительное число свидетельств о подталкивании императором своих непосредственных подчиненных к составлению различного рода проектов как по реформированию внутреннего устройства страны, так и по преобразованиям, направленным на ликвидацию крепостного права. Тот же Киселев, естественно, под влиянием самого Александра I 17 августа 1816 г. составил записку под красноречивым названием «О постепенно уничтожении рабства в России», которую передал лично императору, когда тот находился в Москве. Уже начало этой записки не оставляло сомнений в истинных намерениях ее автора. Он писал: «Гражданская свобода есть основание народного благосостояния. Истина сия столь уж мало подвержена сомнению, что излишним почитаю объяснять здесь, сколько желательнее было бы распространение в государстве нашем законной независимости на крепостных земледельцев, неправильно лишенных оной» [12, т.4, с.197].

Необходимость ликвидации крепостной зависимости Киселев усматривает не только в несправедливом лишении крестьян личной свободы, но и в опасности для России революции, подобной французской. Он не только не ограничился общими рассуждениями о необходимости ликвидации крепост-

ного права, но предложил меры по реализации этого акта, что привело бы, как ему казалось, к оздоровлению экономических отношений в деревне и в стране в целом. В самом же первом пункте этой своей записки Киселев призывал «дозволить капиталистам всех званий покупать у дворян имения, но с тем, чтобы отношения крестьян к новым владельцам были определены законом». Интересно в этой записке не только применение Киселевым термина «капиталисты», но и то, что своими предложениями он по существу толкал страну на путь капиталистического развития.

По словам А.В. Предтеченского, записка П.Д. Киселева была первым из известных документов по крестьянскому вопросу, вышедших из правительственных кругов [14, с.340]. Первым, естественно, после войны, поскольку, как отмечается в современной литературе, возвращение интереса к крестьянской проблеме произошло лишь к 1816 – 1818 гг. [15, с.143]. В то время был составлен ряд подобного рода проектов. В том же 1816 г. была подготовлена записка Н.С. Мордвинова, где предусматривался постепенный выкуп крепостных без наделения их землей. Известны записки на ту же тему некоего надворного советника Наумова, а также В.Н. Каразина, еще одного надворного советника Д.П. Извольского, А.Ф. Малиновского и др. В 1818 г. свою записку составляет и Е.Ф. Канкрин, предлагавший постепенное освобождение крестьян, но на протяжении весьма продолжительного периода аж до 1880 г. В 1818 г. была составлена и записка некоего Крюкова, где предусматривалось освобождение крестьян от крепостной зависимости с надделением им земельных наделов в размере 3 десятин. А в 1820 г. предпринимается попытка основания общества помещиков, целью которого было освобождение крепостных. Планируемое общество упоминается в записке поданной императору в мае 1820 г. и подписанной М.С. Воронцовым, А.С. Меншиковым, С.С. Потоцким, Н.И. и А.И. Тургеневыми, П.А. Вяземским и др., ободрявшими его направленность [14, с.340-350].

Дело дошло до того, что сам А.А. Аракчеев участвовал в секретной разработке проектов освобождения крестьян в 1817 – 1818 гг. Подобный проект был составлен и им самим, но оригинал его не сохранился. Он известен в изложении других лиц и суть его сводилась к постепенно выкупу владельческих крестьян и дворовых казной с согласия помещиков. Государство также с согласия помещиков могло выкупить по 2 десятины пахотной земли на каждую ревизскую душу [11, с.47; 16, с.160-163]. В 1818 г. свой проект по освобождению крестьян представил императору и О.П. Козодавлев [17, с.146]. В том же году оставил подобную записку и С.С. Потоцкий [16, с.126-130].

Все эти и некоторые другие проекты появлялись явно под воздействием самого императора или непосредственного, или косвенного. Слухи о настроениях Александра I довольно широко распространились и обусловили таким образом инициативу даже тех лиц, которые с ним не имели непосредственного соприкосновения. Уже при составлении манифеста об окончании войны с Наполеоном, первый вариант которого был составлен А.С. Шишковым, Александр категорически выступил против тех его фраз, где прославлялось крепостничество. Он потребовал удаления этих мест из манифеста, чем



продемонстрировал свое отношение к существованию крепостного права. Шишков понял настроения императора [18, с.63-64] и это настроение улавливали многие другие государственные деятели той поры.

Были ли антикрепостнические настроения Александра I в то время искренними или это был только очередной политический прием сказать трудно. Но его действия были таковы, что именно они породили появление соответствующих записок и, в свою очередь рождение весьма распространившихся слухов на этот счет. Сам же император стал источником и других слухов, а затем и конкретной работы по созданию российской конституции. Его речь в Варшавском сейме 15 марта 1818 г., где он прямо обещал проведение политических реформы в России, сразу же распространилась по России и также, как и в области аграрно-крестьянской, получила разное толкование, породив и противников и того, и другого. В том же 1818 г., еще до варшавской речи будущий министр финансов Е.Ф. Канкрин писал, что в Москве «вся публика недовольна намерением императора освободить крестьян» [18, с.114]. Были недовольные и желанием дать России конституцию, разработка которой началась под руководством Н.Н. Новосильцева. Но были и довольные и тем, и другим и к этим последним относились представители либерального направления.

В этих условиях происходит заметное пополнение рядов либеральной «партии» А.Н. Пыпин обратил внимание на настроение журналов того времени, которые, как он писал, начинают уже с начала 1813 г. писать о том, как проходит ненависть к французам, как их опять принимают в гувернеры и барышни собираются выходить за французов замуж, а купцы, верные прежде русскому платью, начинают носить длинные французские сюртуки. Далее он пишет о все более сильном развитии либерального направления, «уже независимо от правительственной инициативы, а потом даже в оппозиции к правительству, и, наконец, в положительной вражде с существующим порядком вещей» [19, с.288-289].

Среди тех, кто примкнул к либеральному направлению в послевоенный период стал и один из самых крупных впоследствии российских реформаторов, – П.Д. Киселев, вполне искренне радевший о преобразовании России и проведении в ней необходимых реформ. Сохранились его записки, сделанные в мае 1818 г., когда он сопровождал в поездке из Торна в Кёнигсберг прусского короля Фридриха – Вильгельма. Там он сравнивает положение в России и Пруссии. Эти сопоставления, как пишет Киселев, заставили его вздохнуть, «вспомнив о своей стране. Много лет пройдет еще, пока цивилизация достигнет у нас до того, чтобы водворилось такое благосостояние во всех слоях общества» [12, т.1, с.55].

Киселев, статья о котором в энциклопедии российского либерализма отсутствует, стал одним из столпов российского правительственного либерализма. Он был либералом – долгожителем, дожив до реформ 60 – 70-х гг. Было несколько источников его либерализма. Конечно, личное влияние Александра I несомненно. Несомненно и непосредственное воздействие реалий зарубежной Европы. Но в литературе давно обращено внимание и на то,

что Киселев много читал, и среди книг его личной библиотеки можно было встретить многие сочинения французских мыслителей XVIII – начала XIX вв. [20, т.1, с.262-263]

Среди присоединившихся к либеральной «партии» в послевоенный период были и братья Тургеневы, сыновья И.П. Тургенева, бывшего директора Московского университета, близкого к Н.И. Новикову и причастного к одной из масонских лож, члены которой называлась мартинистами. Любопытно, что в то время мартинистами называли всех противников крепостного права, по причине их самого негативного отношения к рабству и проповеди равенства всех людей перед богом [21, с.19]. Из четырех братьев Тургеневых – Андрея, Александра, Николая и Сергея – особое внимание с точки зрения либерального движения привлекают Александр и Николай. Александр получил домашнее образование, затем обучался в Благородном пансионе при Московском университете и в Геттингенском университете, где испытал особое влияние профессора истории А. Щлецера, носителя либеральных взглядов [22, с.22, 24]. Еще обучаясь в Геттингене А.И. Тургенев начал печататься в «Вестнике Европы» и «Северном вестнике». По возвращении в Россию А. Тургенев становится сотрудником Н.Н. Новосильцева, затем работает под руководством М.М. Сперанского и А.Н. Голицына.

После войны А.Н. Тургенев работает секретарем Библейского общества, где становится поклонником идей евангелического государства, сущность которого заключалась в приоритете христианских и наднациональных ценностей над всеми прочими, идей притягательных для русских либералов того времени. С 1817 г. А. Тургенев руководил Духовным департаментом Министерства духовных дел и народного просвещения. Параллельно он деятельно участвует в работе различных филантропических обществ, а затем становится одним из основателей литературного общества «Арзамас».

По своим взглядам Тургенев являлся противником крепостного права и даже участвовал в осуществлении плана П.А. Вяземского по созданию «Общества для подготовки отмены крепостного права», общества, создание которого, однако, было не одобрено самим императором. Говоря об упоминавшейся записке, подписанной им и группой лиц в мае 1820 г., он писал брату Сергею: «Мы предлагаем частное постепенное освобождение... Попытки и покушения наши не совсем останутся тщетными, и если не пойдут по нашим следам, которых мы протоптать не успели, то не устроятся первого опыта» [23, с.163]. Вместе со своим братом Николаем он в декабре 1820 г. составляет проект ограничения крепостного права, по которому запрещалась бы продажа крестьян без земли. Этот проект был отклонен Государственным советом. Но несмотря на это Тургенев считал эту свою и брата акцию полезной, поскольку полагал необходимым «умолять соотчичей отречься от рабства» и, таким образом, как он считал «... имя наше спасется в летописях либерализма» [22, с.33]. Примечательно при этом его оценка либерализма, который, он, несомненно, рассматривал как прогресс.

В политическом плане А.И. Тургенев был конституционалистом и мечтал, чтобы в России «хотя бы дети наши дожили до этих дней», то есть до

появления в России конституции. Близкий к нему П.А. Вяземский писал о нем: «Тургенев, как и многие, принадлежал к либералам, желающим улучшений в гражданском быту, а не к либералам, желающим ниспровержения и революции во что бы то ни стало» [24, с.374-375]. Впоследствии, в 1824 г. А. Тургенев будет уволен в отставку, уедет за границу и, таким образом, станет представителем общественного российского либерализма. Он активно сотрудничает в ряде отечественных изданий, публикуя те или иные материалы, а также время от времени приезжает в Россию.

Брат А.И. Тургенева – Николай, которого иногда называют крупнейшим политическим деятелем первой половины XIX в. [25, с.184], был его моложе на пять лет. Он тоже воспитывался в Благородном пансионе, а затем и в Московском университете, а далее, с 1808 по 1811 гг., и в Геттингенском университете. Побывав в Париже, он становится там членом одной из масонских лож, а затем, в 1812 г. возвращается на родину и поступает на службу в Комиссию по составлению законов. Во время Заграничных походов, в 1813 г. он попадает в Германию и является там представителем России в Центральной администрации департамента союзников, которая находилась под руководством Г. фон Штейна. По возвращении в Россию в 1816 г. он назначается чиновником в Государственный совет, а также по-прежнему сотрудничает с Комиссией по составлению законов, затем возглавляет канцелярию Министерства финансов. Таким образом, Н. Тургенев приобрел большой административный опыт и познакомился и с экономическими, и с чисто управленческими проблемами. Параллельно, как и его брат Александр, Н. Тургенев занимается общественной деятельностью. Он член «Арзамаса», а затем активно участвует в декабристских организациях [26, 27].

В период между 1812 – 1820 гг. Н. Тургенев, конечно, деятель либерального плана и взгляды его тоже носили откровенно либеральный характер. Он убежденный противник крепостного права [28]. В своей записке 1819 г., переданной императору, которая носила название «Нечто о состоянии крепостных крестьян в России» он отстаивает права крепостных крестьян, подчеркивая, среди прочего, что они попали в личную зависимость от помещика насильно и что юридических оснований для этого насилия нет [16, с. 238]. Как и многие другие представители либерального направления Н. Тургенев ратовал за постепенное освобождение крестьян причем по взаимному согласию крестьян и помещиков. Инициативу этого освобождения, по мнению Н. Тургенева, должно было проявить правительство, поддержанное теми дворянскими кругами, которые уже осознали пагубность крепостного права.

В области государственного устройства Н.Тургенев был поборником конституционной монархии (в литературе его даже называют монархистом – обновленцем [28, с.29]), которую он предлагал сочетать с выборным сословным представительством. Правом голоса, однако, должны были обладать не все, для чего он предлагал ввести различного рода цензы. Он провозглашал буржуазные свободы, прежде всего равенство всех перед законом. Значительное внимание Н. Тургенев уделял вопросам экономики. Он находился под явным влиянием А. Смита и ратовал за свободу экономической деятель-

ности. В 1819 г. он публикует свою работу под названием «Опыт теории налогов» – одно из самых примечательных сочинений не только тогдашней русской политической экономии, но и конкретной экономики, поскольку он там изложил практические действия прежде всего в области налоговой политики. Он предлагал изменить сам принцип взимания налогов, связывая его прежде всего с реальными доходами конкретных лиц. Его высоко ценил Е.Ф. Канкрин, ставший министром финансов и предложивший Н. Тургеневу в 1825 г. вернуться в Министерство финансов. Канкрин хотел, чтобы он способствовал поощрению и покровительству производства, боролся с контрабандой и т.д. Но у Н. Тургенева было свое мнение на этот счет. Впоследствии он писал: «По моему же мнению, стремление искусственно развивать промышленность могло скорее остановить естественный и разумный рост народного богатства, и я боялся оказаться в таких условиях, когда мне пришлось бы действовать вопреки убеждениям» [29, 85-86]. Н. Тургенев отклонил предложение министра. В условиях 20-х гг., когда последовала явная политическая реакция, Н. Тургенев пошел не вправо как большинство правительственных либералов, а влево, став одним из виднейших деятелей декабризма [30].

Среди тех, кто примкнул к либеральной «партии» после войны, был и один из крупнейших русских поэтов XIX в., как и братья Тургеневы, находившийся на государственной службе – П.А. Вяземский. Он происходил из древнего дворянского рода и вольнолюбивые взгляды ощутил еще в своей семье, где его отец, генерал А.И. Вяземский, был известен как убежденный вольтерьянец. Вяземский обучался и в домашних условиях, и в иезуитском пансионе, и в Петербургском педагогическом институте. Служить начал с 1807 г., а затем в 1812 г. с оружием в руках принял участие в войне против Наполеона. Будучи членом общества «Арзамас», он задумал издание специального журнала, где собирался проповедовать идеи реформ, направленных на общественный прогресс. В этом журнале он предполагал «действовать на общее мнение». О необходимости быть «вожатым мнения общественного» он пишет и в одной из статей начала 20 –х гг. [31, с.38, с. 83] Кстати, и в дальнейшем он был убежден в необходимости и даже полезности высказывания мнений, не совпадающих с мнением властей и прославлял гласность [32, с.161,175]. Но его план издания журнала не получил поддержки сверху. В 1818 г. ему удалось перевестись на службу в Варшаву, где он под руководством Н.Н. Новосильцева участвовал в подготовке конституции для России. Еще до этого он был свидетелем известной речи Александра I в Варшавском сейме, более того именно он ее перевел с французского языка на русский, испытав ее непосредственное воздействие.

Вяземский тогда был категорическим противником крепостного права, которое называл наростом на теле государства и серьезно задумывался над конкретным планом по его ликвидации [32, с.27]. В 1820 г. он был в числе лиц, подписавших обращение к императору с целью побудить его к практическим действиям в этом направлении. Идея встретила поддержку петербургского общества и даже поначалу самого императора, однако, запретив-

шего его последующее оформление [31, с.74]. Отказ Александра I выполнить свои обещания по преобразованию страны был болезненно воспринят Вяземским, и он фактически становится противником как внутренней, так и внешней политики тогдашнего правительства России, что было известно властям, установившим за ним наблюдение. Он уходит с государственной службы, но не прекращает своей общественной деятельности. Усадьба Вяземских – Остафьево – стала одним из центров притяжения многих прогрессивных деятелей того времени, причем до такой степени, что ее стали называть «Русским Парнасом». Остафьево, во многом благодаря самому П. Вяземскому, стало важным очагом культуры и общественной жизни, притягивая выдающиеся русские литературные силы и оказывая заметное общественное влияние. Нельзя сказать, чтобы это был один из центров русского либерализма, но, конечно, деятели либерального склада чувствовали себя здесь достаточно вольготно.

П. Вяземский был также в числе основателей и активных деятелей «Арзамаса» и, вообще, идея его создания относится еще к 1813 г. и прослеживается по письму П. Вяземского к А. Тургеневу. Вяземский, в будущем видный консерватор, в послевоенный период был членом либеральной «партии». Как отмечается в современной литературе, в 20-х гг. он употреблял термин «либерал» исключительно в положительном значении. В 30-х гг. он стал заметно осторожнее [31, с.178]. Он активно участвует в деятельности различных салонов и обществ и, кстати, высоко оценивал роль дворянских гостиных, отмечал, что «они соединяют нас с образованною Европой» и противопоставлявший их домам купеческим, мещанским и ремесленническим [33, т.2, с.162].

Среди оказавшихся после войны в лагере либералов был и один из главных создателей и популяризаторов теории «официальной народности» – С.С. Уваров. Как и многие другие либералы той поры он получил домашнее образование под руководством французского воспитателя и довольно рано поступил на дипломатическую службу. Работал он в русских посольствах в Вене и Париже и обзавелся знакомствами со многими видными политическими и общественными деятелями тогдашней Европы. Среди его знакомых оказались И.В. Гете, Г. Штейн, Ж. де Сталь. Параллельно он занимался литературным творчеством. Имея поддержку в придворных кругах, Уваров довольно быстро строил свою карьеру. Уже в 1810 г. в возрасте всего лишь 24 лет он становится попечителем Петербургского учебного округа и занимал этот пост до 1821 г. С 1818 г., то есть имея всего лишь 32 года от роду, и почти до своей кончины в 1855 г. Уваров – президент императорской Академии наук. Ему принадлежит заслуга преобразования Петербургского пединститута в Петербургский университет, а также он произвел реформу учебных планов гимназий и уездных училищ. Большое внимание он уделял преподаванию истории. В 1813 г. вышла его специальная работа по этой теме, которая носит название «О преподавании истории относительно к народному просвещению» [34, 35].

Он, конечно, находился под влиянием самого Александра I и довольно тонко улавливал ход его мыслей. Буквально через неделю после варшавской речи императора, 22 марта 1818 г. Уваров произносит свою, ставшую широко известной, речь в Главном педагогическом институте, где прославлял политическую свободу и дух времени [35, с.100]. С начала 20-х гг. в связи с изменением политического курса в стране, меняется и система взглядов самого Уварова и он, не без раздумий, переходит в стан консерваторов. Хотя он не поддержал действия М.Л. Магницкого и Д.П. Рунича в отношении университетов и демонстративно в 1821 г. подает в отставку с поста попечителя столичного учебного округа и переходит в Министерство финансов [34, с.428]. Интересно, что в борьбе с гонителями университетов, как он сам вспоминал, его поддерживал будущий император Николай I. По словам Уварова, «великий князь Николай открыто заявлял себя на моей стороне и на своих довольно ограниченных тогда административных должностях выступил против тех интриг, с которыми я боролся» [35, с.98-99].

Уваров не был чужд и общественной деятельности. Он был близок к ряду деятелей либеральной «партии», являлся активным членом «Арзамаса», хотя и не относился к числу его радикальных членов. Известно, что на предложение Н. Тургенева, М. Орлова и П. Вяземского придать этому обществу отчетливо политический характер он ответил отказом, хотя был не против разговоров на политические темы, которые все-таки велись в «Арзамасе» [35, с.102]. Эволюция Уварова характерна для многих представителей либеральной бюрократии той поры, при всем том, что имеются авторы, которые видят скрытый либерализм Уварова и после того, как он официально перекрасился в консерватора [35, с.101]. Так или иначе, кроме Киселева можно назвать еще нескольких представителей либеральной «партии», сохранивших свой либерализм и после резкого поворота правительственной линии вправо.

Среди них далеко не последнее место занимал Д.Н. Блудов. Уже много позднее, во второй половине 50-х гг., точнее в марте 1856 г., один из их лидеров западников К.Д. Кавелин писал о больших надеждах, возлагавшихся в обществе на «стариков», таких крупных сановников как П.Д. Киселев и Д.Н. Блудов, и подчеркивал, как все с ужасом думали, что будет если они умрут [37, с.211]. Молодое поколение либералов, таким образом, возлагало на них большие надежды, зная их подлинные взгляды.

Д.Н. Блудов происходил из весьма старинного дворянского рода. Получив домашнее образование, он довольно рано, в возрасте 15 лет, поступает на службу в московский архив Коллегии иностранных дел под начало выдающегося археографа Н.Н. Бантыш-Каменского и где он стал одним из «архивных юношей» – кузницы кадров русского либерализма. После воцарения Александра I Блудов перемещается в Коллегию иностранных дел в Петербурге и ощутил там влияние духа первых лет александровского правления с его нацеленностью на преобразования. Он исполняет ряд поручений по дипломатической части, а затем работает в русских посольствах в Стокгольме и Лондоне.

Его явно приблизил к себе один из руководителей российского Министерства иностранных дел – Л. Каподистрия – человек либеральных взглядов, в отличие от другого руководителя министерства – К. Нессельроде. Для Блудова Каподистрия становится кумиром. Но и Каподистрия увидел способности Блудова и называл его «перлом русских дипломатов». Блудов полностью разделял линию Каподистрия. Он был противником Меттерниха и, вообще, рассматривал Австрию как неизбежного противника России. Интересно и то, что Блудов являлся и противником Священного союза. В период после 1812 г. он был приверженцем идеи конституционной монархии и признавал необходимость ликвидации крепостного права. Как и Каподистрия, Блудов ратовал за поддержку со стороны России греческой революции 1821 г. и когда этой поддержки не последовало, вслед за Каподистрия покидает Министерство иностранных дел. Далее он продолжал службу в Министерстве внутренних дел. Блудов был одним из активнейших «арзамасцев», и даже само название это общество получило от его сатирической статьи «Видение в Арзамасе». Впоследствии он будет одним из тех, кто будет судить декабристов и, как вспоминал служивший под его началом А.И. Кошелев, «...он в этом уступил воле императора, как по слабости характера, так и потому, что он надеялся смягчить меру наказания для виновных, выставив многих менее преступными, чем увлеченными даже для крайностей» [38, с.58].

В рассматриваемое время Д.Н. Блудов несомненно принадлежал к представителям либеральной бюрократии, но статья о нем имеется не в энциклопедии российского либерализма, а в энциклопедии русского консерватизма. Однако и там признается, что «по экономическим взглядам Блудов скорее либерал – безусловный сторонник принципа свободной торговли и противник протекционизма». Там же отмечено его негативное отношение к крепостному праву и то, что политический консерватизм его сочетался с гуманистической либеральностью – благородством, добротой, честностью и бескорыстием [39, с.64]. Но политическим консерватором Блудов становится позднее явно под влиянием императора, в рассматриваемый период и во взглядах на государственное устройство склонялся к конституционной монархии, то – есть к конституции. В той же энциклопедии консерватизма имеется и статья о Д.В. Дашкове [39, с.146-148], но в десятые годы этот видный государственный деятель – дипломат и крупный юрист, впоследствии министр юстиции, был ближе к либералам и не случайно входил в общество «Арзамас» [40].

Подавляющее большинство либеральных бюрократов были выходцами из дворян, нередко, весьма родовитых. Но были и исключения. Кроме М.М. Сперанского из духовного звания происходил видный ученый - статистик, профессор и академик К.И. Арсеньев. Он обучался в Костромской духовной семинарии, затем в Петербургском педагогическом институте. Далее начинается его долговременная педагогическая деятельность. Он преподавал в том же Петербургском пединституте, а после его преобразования в университет продолжил эту свою деятельность до 1821 г. Как и ряд других профессоров подвергся преследованиям. Спасло его личное вмешательство великого князя

Николая Павловича. Он преподает в Главном инженерном и артиллерийском училище, которому покровительствовал великий князь, а также в Воспитательном обществе благородных девиц и в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Параллельно он привлекался и для выполнения необходимых работ в различных государственных учреждениях – Статистическом отделении Министерства полиции, Комиссии по составлению законов. Позднее он был воспитателем наследника престола Александра Николаевича и по мнению лиц его хорошо знавших внушил наследнику, будущему императору Александру II, либеральные взгляды, во всяком случае, считается, что именно Арсеньев заронил в душу монарха мысль о необходимости отмены крепостного права [41].

К либеральным бюрократам в послевоенный период примкнул и однокашник А.С. Пушкина по Царскосельскому лицей – М.А. Корф. По отцу он был немцем из Прибалтики, а мать его русская, носила в девичестве фамилию Смирнова. Сам он себя считал русским «по воспитанию, по вере, по службе» [42, с.49]. С 1817 г. он служил в Министерстве юстиции, а с 1819 – в Комиссии по составлению законов, а затем, в 1823 г. он уже чиновник Министерства финансов. Он работал под руководством Е.Ф. Канкрин и М.М. Сперанского, занимался литературой и был причастен к общественной деятельности. С 1819 г. Корф – член Вольного общества любителей российской словесности [42, с.50]. В 1822 г. Н.И. Греч писал о Корфе как об авторе «многих прекрасных исторических статей» [42, с.53]. Впоследствии он возглавит императорскую публичную библиотеку, которая его стараниями станет главнейшей библиотекой страны. Он был известен как носитель «лицейского духа» [43].

Корф, конечно, довольно умеренный либерал, как бы переходный тип от либералов к либеральным консерваторам. Тип, отнюдь, не редкий. К нему можно отнести и такую фигуру на русском административном Олимпе как М.А. Балугьянский, которого составители энциклопедии российского либерализма отнесли к категории либералов, а авторы обобщающей монографии о русском консерватизме XIX столетия – к консерваторам. Были и либералы других оттенков. Например, дипломат П.Б. Козловский, о котором писал в своей книге маркиз де Кюстин. К либералам тогда относились и Ф. Булгарин, и Н. Греч, вскоре ставшие проводниками «официальной народности», а также будущий министр народного просвещения А.С. Норов, братья Румянцевы, сыновья знаменитого полководца. И этот список можно без труда продолжить.

О том, что и после 1812 г. либеральное направление не пресеклось, а в какой – то степени даже усилилось, свидетельствует деятельность различных кружков, обществ и даже салонов того времени. Интересно, что еще во время Заграничных походов происходит формирование новых сообществ с явно либеральным уклоном, причем как в России, так и за ее пределами, где находились части русской армии, а также и русские гражданские администрации. В 1813 г. в германском местечке Рейхенбахе, во время перемирия, возникает очень своеобразное объединение, которое носило название Кружок молодых



военных историков. В этот кружок входили Ф.Н. Глинка, А.И. Михайловский – Данилевский, А.А. и М.А. Щербинины, Н.А. Старынкевич, Д.И. Ахшарумов, М.А. и П.А. Габбе, А.Г. Краснокутский. Двое из них – Ф.Н. Глинка, активный участник войны 1812 г. и Заграничных походов и М.А. Габбе [44, с.48, с.52], тоже участник этих войн, вскоре примут участие в декабристском движении. Д.А. и А.А. Щербинин, оставивший свой дневник, был близок к декабристам. Еще в 1811 г. он входил в тайное политическое общество «Рыцарство», затем войдет в масонское общество «Железного креста». Его младший брат – М.А. Щербинин был близок к А.С. Пушкину и являлся членом литературного общества «Зеленая лампа» [45, с.244].

Члены этого кружка прежде всего задумались о последующем отражении войны с Наполеоном в специальных исследовательских трудах с тем, чтобы оставить память об этих событиях для потомства. В литературе деятельность этого кружка рассматривается как первая серьезная попытка осмысления *декабристским* поколением исторического опыта 1812 г. [46, с.216] Но в этом объединении молодых офицеров шла речь не только о военных действиях, круг тем был намного шире и затрагивал вопросы не только международного плана, но и положения в самой России. Следовали неизбежные сопоставления и выводы о необходимости преобразований в собственной стране [45, с.19-20, с.312, с.349]. Что касается ложи «Железного креста», то эта ложа была организована в 1813 г. в прусской армии, но в нее допускались и русские союзники. Среди них в литературе называют А.И. Михайловского – Данилевского, Н.И. Тургенева, П.И. Пестеля, С.Г. Волконского, М.А. Фонвизина, П.П. Лопухтина, А.Ф. Бригена и др. [42, с.92, с.129]

После войны, опять – таки за границей, создается несколько русских кружков. Один из них называется Франкфуртский кружок Н.И. Тургенева, в который входили Н.А. Старынкевич, М.А. Габбе, П.Х. Габбе, Н.И. Кривцов, а также М.Ф. Орлов. Кружок, в который входило несколько будущих декабристов, носил явно политический оттенок. В нем обсуждались проблемы крепостного права, будущего политического устройства России, а также вопросы внешней политики того времени. Уже тогда в рамках этого кружка рассматривались планы создания более организованного сообщества, что будет воплощено уже в форме такой преддекабристской организации как Орден русских рыцарей [48, с.63-71].

Другой подобного рода кружок создается во Франции, в городе Мобеже, где располагались части русского экспедиционного корпуса, которым командовал М.С. Воронцов. Инициатором создания этого кружка, организованного в 1816 г., стал один из братьев Тургеневых – Сергей. В литературе этот кружок также называют политическим клубом. Клуб посещали М.С. Воронцов, Л.А. Нарышкин, Л.А. Перовский, В.А. Перовский, В.К. Тизенгаузен. Ставилась задача формализации этого сообщества – выработки устава, постоянного руководства, а также создание филиалов этого клуба в других местах [48, с.74-77]. Подробной информации о деятельности этого клуба не сохранилось, но состав его не оставляет сомнения в либеральной его направленности.

Еще один Русский клуб организуется офицерами Кинбурнского драгунского полка, то есть в тех же частях оккупационного русского корпуса, но во французском местечке Атиньи. О нем сохранилось подробностей еще меньше, чем о клубе в Мобеже [47, с.129], но настроение в корпусе Воронцова хорошо известно и нет сомнения в том, что и в этом клубе занимались не только увеселительными мероприятиями, в которых участвовали и французы. Настроение среди офицерства было таково, что избежать бесед на политические темы не удавалось.

В самой России продолжали в это время существовать объединения созданные раньше, но также формируются и некоторые новые кружки, организации, клубы и масонские ложи явно либеральной направленности. К числу наиболее известных относился уже неоднократно упоминавшийся «Арзамас». Идеи его создания восходят к 1813 г. и прослеживаются в письме П.А. Вяземского А.И. Тургеневу, где делалась отсылка к деятельности шишковской «Беседы», члены которой назывались дураками и которые «как лошади, всегда все в одной конюшне», и содержался призыв к объединению людей иной ориентации. Никто иной как С.С. Уваров, который, как уже отмечалось, с 1811 г. являлся попечителем Петербургского учебного округа, но примыкал тогда к либералам, предложил назвать новое общество – обществом «Арзамасских безвестных литераторов», то есть литераторов из г. Арзамаса. Это шутовское название было принято, и общество проводит свое первое заседание в октябре 1815 г. Среди учредителей фигурировали В.А. Жуковский, С.С. Уваров, Д.В. Дашков, А.И. Тургенев, С.П. Жихарев

Шутники и остроловы «Арзамаса» даже внешне отличались от чопорных, сановитых членов «Беседы». В «Арзамасе» все имели свои прозвища, которые заимствовались из баллад В.А. Жуковского, а председатель определялся жребием. Секретарем общества был тот же Жуковский [49, с.66]. Любопытно, что все они называли себя «его превосходительство гений Арзамаса». Число таких «гениев» достигло 25 человек и среди них было немало даровитых литераторов. Кроме Жуковского, к ним относились П.А. Вяземский, К.Н. Батюшков, Д.В. Давыдов и, конечно, А.С. Пушкин, получивший прозвище «Сверчок», поскольку еще был лицеистом и посетил заседания «Арзамаса», по-видимому, только один раз [50]. Были среди членов этого общества и Д.Н. Блудов, и А.И. Тургенев, и Н.И. Тургенев. Направление общества было, в основном, либеральным, хотя можно увидеть в нем и людей левых взглядов, таких как Н.М. Муравьев и довольно четких консерваторов, каковым был уже тогда Д.А. Кавелин. Отличались по своим взглядам Александр и Николай Тургеневы, первый из братьев был все – таки более умеренным и прямо сообщал об этом другому своему брату – Сергею [23, с.161-162].

Среди членов этого общества были, таким образом, и будущие декабристы М.Ф. Орлов, Н.И. Тургенев, Н.М. Муравьев. Существовала и система почетных членов. «Арзамасским патриархом», «путеводителем и вождем» считался Н.М. Карамзин и, вообще, общество было карамзинского направления в области словесности. В числе почетных членов был и И. Каподистрия – один из руководителей российского внешнеполитического ведомства, чело-

век, отличавшийся либеральными взглядами и, как уже отмечалось, противостоявший другому руководителю внешней политики страны К. Нессельроде. Как отмечает Н.М. Дружинин, «появление декабристов составило поворотный пункт в истории «Арзамаса»: программные речи Николая Тургенева и Михаила Орлова призывали веселых арзамасцев к более серьезной общественной работе» [51, с.77]. Зарождается план издания не только литературного, но и одновременно политического журнала, в котором бы проповедовались идеи свободы, но такие, которые бы, не разрушая настоящего, подготавливали бы лучшее будущее.

Декабристы повлияли на составление устава «Арзамаса», где определялись обязанности его членов и который выдвигал главной целью «пользу отечества, состоящую в образовании общего мнения» [51, с.77]. Арзамасцы видели большую значимость общественного мнения и стремились его формировать путем создания собственного журнала. Особенно стремился его организовать Н.И. Тургенев. Но план журнала так и не был реализован, хотя В.А. Жуковскому предлагали быть его редактором, а Блудову и Уварову предлагали руководить отделами политики, а также словесности и критики. Соредактором пригласили либерального профессора Петербургского университета А.П. Куницына. Соответственно, были четко определены его задачи.

Как отмечал академик Н.М. Дружинин, «попытка организованной пропаганды либеральных идей не увенчалась успехом». Причина неудачи создания журнала можно объяснить тем, что члены этого общества придерживались разных общественно-политических и литературно-эстетических взглядов. Хотя общество было преимущественно либеральным по своему составу, но спектр политических мнений был достаточно большим. Кроме того, одни его члены были классицистами, другие романтиками, третьи – ни теми, ни другими. Консерваторам и даже реакционерам из «Беседы» противостояли главным образом либералы, хотя среди них были и радикалы – декабристы. Вместе с тем, общество слишком увлеклось шутками и весельем, чтобы создать что – то серьезное, к чему призывал М. Орлов. Н.И. Тургенев, отдавая должное этому обществу, все – таки признавал, что «не мог вполне свыкнуться с критическим и язвительным умом этих господ» [52, с.61]. Одногo противостояния со сторонниками Шишкова было недостаточно и «Арзамас» прекратил свое существование, хотя ряд его членов были активными и даже плодовитыми литераторами. Общества не стало в 1818 г., но его члены остались и продолжили литературную и общественную деятельность [53, 54, 55,56].

Более левым по своему составу было другое общество, созданное как бы вместо «Арзамаса» в 1818 г. и получившее название «Зелена лампа». Это был литературно – политический кружок, тесно связанный с одной из первых декабристских организаций – «Союзом благоденствия». В него входили Ф.Н. Глинка, С.П. Трубецкой, Я.Н. Толстой, А.А. Токарев, П.П. Каверин, Д.Н. Барков, П.Б. Мансуров. В кружке также состояли А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг, Н.И. Гнедич и др. Преобладали в этом кружке литераторы, чиновники, офицеры. Председателем общества с марта 1819 г. был Я.Н. Толстой [44,

с.176]. Общество это просуществовало недолго, до 1820 г. Им заинтересовалась полиция и это стало причиной его закрытия. Это общество давно привлекло внимание исследователей, по-разному оценивавших его деятельность. Многие отмечали фривольные нравы, которые в нем господствовали в процессе встреч членов общества на дому у Н.В. Всеволожского – молодого петербургского богача.

Но члены общества не только пили и гуляли. Они устраивали литературные встречи. А.С. Пушкин посвятил своим соратникам по обществу отдельные стихотворения – «Юрьеву», «Всеволожскому», «Стансы Толстому» - стихотворения 1819 – 1820 гг. К этому времени относится и небольшое стихотворение Пушкина «Веселый пир», где присутствуют следующие строки – «Я люблю вечерний пир/ Где веселье председатель /А свобода, мой кумир, / За столом законодатель» [57, с.76]. Итак, кумир Пушкина свобода и эта свобода объединяла довольно многочисленных членов общества «Зеленая лампа».

Они давали обет хранить тайну своих заседаний, но что любопытно, там велись протоколы этих заседаний, прежде всего литературных встреч. Преобладали стихи, написанные в вольном духе, но они перемежались с дискуссиями не только на литературные, но и на политические темы. Организовывались домашние представления, а также карточная игра. Был также составлен статут этого общества, в соответствии с положениями которого каждый член общества мог без каких-либо запретов говорить и писать то, что он думает, вплоть до нецензурных выражений. Девизом членов «Зеленой лампы», которых называли лампистами был – «свет и надежда», позволявший по – разному трактовать устремления этих людей, но, так или иначе, это было объединение людей талантливых, в силу своей молодости позволявших себе фривольные нравы, но не бесплодных по своим творческим результатам. «Зеленая лампа» – одно из либеральных объединений того времени, хоть и просуществовала недолго, оставила свой след в общественном движении десятилетиях [58, 59, 60].

В литературе отмечено существование и некоторых других кружков либерального характера, таких как «Общество кавалеров пробки», существовавшее примерно в 1815 – 1817 гг., во главе которого был И.П. Бунин, брат известной поэтессы; «Общество друзей признательности», «Общество громкого смеха» и др. Некоторые из них организовывались в провинции. К этим последним относилось «Вольное общество любителей прогулки» в Казани, общество «Французский парламент» в Петрозаводске, в которое входило 32 человека, «Общество первого согласия» в Полтавской губернии, которое вскоре сменило «Общество друзей природы» и т.д. [47, с.155, с.219-221] Продолжали действовать и некоторые общества, созданные еще до 1812 г., например, самое старое из них – Вольное экономическое общество, которое, как отмечалось, в первые два десятилетия XIX в. «обнаружило известную склонность к либеральным идеям» [61, с.101-102]. В 1814 г. в трудах этого общества проводились идеи свободной продажи земли, вольнонаемного труда и даже личного освобождения крепостных.

И, конечно, нельзя миновать деятельности Вольного общества любителей российской словесности, зарождение которого относят к 1815 г. Первое заседание этого общества состоялось 17 января 1816 г., а с января 1818 г. оно получило статус вольного общества. Порой это общество называлось также обществом соревнователей, но как подчеркивал исследователь истории этого общества В.Г. Базанов, оно в том же 1818 г. провозглашается «ученой республикой» и, по его мнению, являлось литературным плацдармом декабристов, сыграв выдающую роль в подготовке декабристских кадров [62, с.323]. Но в рассматриваемое время общество отличалось все-таки преимущественно пролиберальными симпатиями. Поэт Языков в одном из своих стихотворений под названием «Вторая присяга» произнес слова – «и я, неявный либерал». В этой связи В. Базанов делает вывод: «К таким «неявным либералам» относились многие другие члены «ученой республики», «давшие торжественную присягу» при подписании устава Вольного общества» [62, с.307].

Вольное общество любителей российской словесности было довольно основательно структурировано. Оно имело институт действительных и почетных членов, членов – сотрудников и членов - корреспондентов. Их имена сохранились и приводятся в книге того же В. Базанова [62, с.405-410]. Выдающую роль в деятельности общества играл Ф.Н.Глинка, ставший фактическим руководителем общества и который привлек в его состав ряд других декабристов. Но в него входили и Д.И. Хвостов, и П.А. Ширинский – Шихматов, к либералам явно не относившиеся. Печатным органом общества был журнал «Соревнователь просвещения и благотворения».

Таким образом, падение Сперанского и, вообще, удар по либеральной «партии» в 1812 г. еще не означал остановку либерального движения в России. Но определенные следы реакции прослеживают и в это время. С 1810 по 1816 гг. министром народного просвещения был А.К. Разумовский, который, как пишет его биограф А.А. Васильчиков, «был одним из самых откровенных противников Сперанского и взирал на падение его как на спасение России» [63, с.89]. Примечательно, что исследователи истории Министерства народного просвещения подчеркивают, что именно при Разумовском, близким к Карамзину, «в обществе уже начали обнаруживаться следы реакции» [64, с.42]. А биограф Александра I подчеркивал: «Реакция, установившаяся с 1816 г. в правительственных действиях, не удовлетворяла, однако, в желаемой степени сторонников нового охранительного направления; они находили, что Россия не достаточно быстро и решительно подвигается вперед по пути спасения общества и государства от революции» [1, т.3, с.246].

Под реакцией этого времени разумелась прежде всего аракчеевщина. В этой связи великий князь Николай Михайлович подчеркивал: «Последние четыре года царствования Александра Павловича стали в действительности годами управления Россией одного Алексея Андреевича Аракчеева» [2, с.269] Но, как можно было убедиться, в десятые годы еще продолжалось либеральное движение. В него входили новые силы – как отдельные представители либеральной бюрократии, так и общественные либералы. Создавались новые кружки и общества либеральной направленности. Ситуация значительно

ухудшилась после 1820 г. и было тому несколько причин как внешнего, так и внутреннего порядка. Но об этом необходим уже особый разговор.

Конечно, либерализм как общественное направление не погиб, но он получил сильнейший удар. Значительная часть либералов ушла вправо, другая часть вступает в тайные по существу революционные общества. Были и такие, как писал А.И. Герцен, кто ушел в себя, храня в душе верность вольнолюбивым настроениям молодости. Таким образом, по Герцену, центр либерализма ушел в провинцию, в усадьбы. Но и в столицах с либерализмом покончено не было, он явно подпитывался оппозиционным духом, неудовлетворенностью существовавшим тогда положением. Еще А.Н. Пыпин отмечал в это время несколько оттенков либерализма «по степени их силы и по серьезности понимания» от умеренного либерализма, имевшего представительство в правительственных сферах, таких как Мордвинов, Сперанский, Кочубей, в том числе и военных – Ермолов, Киселев, Воронцов, до кружка Пестеля [19, с.463]. А как вспоминал декабрист А.П. Беляев, «в период времени с 1820 года до смерти Александра I либерализм стал достоянием каждого мало-мальски образованного человека» [66, с.117]. Правда, в понятие либерализма тогда вкладывалось несколько иное содержание нежели сегодня.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Шильдер Н.К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т. IV. СПб., 1905.
2. Николай Михайлович. Переписка императора Александра I с сестрой великой княгиней Екатериной Павловной. СПб., 1910.
3. Зак Л.А. Монархи против народов. М., 1966.
4. Киняпина Н.С. Внешняя политика России первой половины XIX в. М., 1963.
5. История внешней политики России. Первая половина XIX века. М., 1995.
6. Пак Чжи-Бэ. Объем и значение экспорта российских товаров в Великобританию в 1760 – 1830 гг. //Российская история. 2016, № 4.
7. Из писем и показаний декабристов. СПб., 1906.
8. Мещерякова А.О. Ф.В. Ростопчин: у основания консерватизма и национализма в России. Воронеж, 2007.
9. ГАРФ, ф. 679, оп. 1, д. 43, л.1; План государственного преобразования графа М.М. Сперанского. М., 1905.
10. Федоров В.А. Михаил Михайлович Сперанский //Российские реформаторы XIX – начало XX в. М., 1995.
11. Ячменихин К.М. Алексей Андреевич Аракчеев //Российские консерваторы. М., 1997.
12. Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. I. СПб., 1882.
13. Корнилов А. Курс истории России XIX в. Ч. I. М., 1912.
14. Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М., 1957.

15. Тимофеев Д.В. Европейские идеи в России: восприятие либерализма правительственной элитой в первой четверти XIX века. Челябинск, 2006.
16. Дворянские проекты решения крестьянского вопроса в России конца XVIII – первой четверти XIX века. Сборник документов. Липецк, 2003.
17. Козодавлев О.П. Рассуждение о постепенном освобождении крестьян из-под рабства и способах, коими безопасно можно ввести между ними гражданскую свободу //Дворянские проекты решения крестьянского вопроса в России конца XVIII – первой четверти XIX века. Сборник документов. Липецк, 2003.
18. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале 19 века. М.: Наука, 1989.
19. Пыпин А.Н. Общественное движение при Александре I: исторические очерки. СПб.: издание «Вестника Европы», 1871.
20. Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т.1. М. – Л., 1946.
21. Вишленкова Е.А. Религиозная политика: официальный курс и «общее мнение» России александровской эпохи. Казань, 1997.
22. Рудницкая Е.Л. Александр Иванович Тургенев // Российские либералы. М., 2001.
23. Тургенев А.И. Политическая проза. М: Советская Россия, 1989.
24. Вяземский П.А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988.
25. Вишницер М. Геттингенские годы Николая Ивановича Тургенева // Минувшие годы. СПб., 1908, № 4.
26. Шебунин А.Н. Николай Иванович Тургенев. М., 1926.
27. Тарасова В.М. Декабрист Н.И. Тургенев и его место в истории общественного движения России 20 – 60 гг. XIX в. (эволюция общественно – политических взглядов). Автореферат дис. докт.ист.наук. Л., 1966.
28. Нарезный А.И. С мыслями о России: декабрист Н.И. Тургенев в интерьере эпохи. Ростов-на-Дону, 2016.
29. Тургенев Н. Россия и русские. М., 2001.
30. Парсамов В. Декабристы и русское общество 1814 – 1825 гг. М., 2016.
31. Акульшин П.В. П.А. Вяземский. Власть и общество в дореформенной России. М., 2001.
32. Вяземский П.А. Записные книжки. М., 1963.
33. Вяземский П.А. Полн.собр.соч. в 12-ти тт. СПб., 1879. Т.2.
34. Уваров С.С. Православие самодержавие народность. М., 2016.
35. Шевченко М.М. Сергей Семенович Уваров //Российские консерваторы. М., 1997.
36. Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999.
37. Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. XIV. СПб., 1900.
38. Записки А.И. Кошелева. М., 1991.
39. Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века. Энциклопедия. М., 2010.

40. Акульшин П.В. Д.В. Дашков в первой четверти XIX в.: формирование общественных взглядов бюрократа эпохи Николая I //Из истории Рязанского края. Рязань, 1992.
41. Пекарский П.П. О жизни и трудах К.И. Арсеньева. СПб., 1871.
42. Ружицкая И.В. М.А. Корф в государственной и культурной жизни России // Отечественная история. 1998, № 2.
43. Ружицкая И.В. Барон М.А. Корф – историк: по материалам его архива. М., 1996.
44. Декабристы. Биографический справочник. М.: Наука, 1988.
45. 1812 год. Военные дневники. Составитель А.Г. Тартаковский. М., 1990.
46. Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай. Легенды и быль 1812 г. М., 1996.
47. Бокова В.М. Эпоха тайных обществ. Русские общественные объединения первой трети XIX в. М., 2003.
48. Тарасова В.М. К вопросу о ранних преддекабристских организациях //Ученые записки Марийского государственного педагогического института им. Н.К. Крупской. Т. 15. Йошкар – Ола, 1957.
49. Вигель Ф. Записки. М., 1928. Т. II.
50. Гилельсон М.И. Молодой Пушкин и Арзамасское братство.
51. Дружинин Н.М. Декабрист Никита Муравьев // Дружинин Н.М. Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. М., 1985.
52. Тургенев Н.И. Россия и русские. М., 2001.
53. Боровкова-Майкова М.С. Протоколы литературного общества «Арзамас». Л., 1926.
54. «Арзамас» и арзамасские протоколы. Л., 1933.
55. Краснокутский В.С. «Арзамас» и его значение в истории русской литературы. Автореферат дис.канд.филол.наук. М., 1974.
56. Майофис М.Л. Воззвание к Европе. Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815 – 1818 годов. М., 2008.
57. Пушкин А.С. Сочинения. М., 1949.
58. Вересаев В.В. Спутники Пушкина. М., 1993. Т.1.
59. Модзалевский В.Л. К истории Зеленой лампы //Декабристы и их время. Вып. 1. М., 1932.
60. Щеголев П.Е. Первенцы русской свободы. М., 1987.
61. Попов Н. Дворянский либерализм первой четверти 19 века. Б.м., 1935.
62. Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.
63. Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. 2. СПб., 1880.
64. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802 – 1902. СПб., 1902.
65. Николай Михайлович. Император Александр I. Опыт исторического исследования. СПб., 1912. Т. 1.
66. Беляев А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 2009.



**Grosul Vladislav Yakimovich,**  
*Doctor of Historical Sciences,*  
*Senior Research Associate*  
*of the Russian History Department*  
*Russian Academy of Sciences (RAS)*

## **RUSSIAN LIBERALISM AFTER THE PATRIOTIC WAR OF 1812**

**Abstract:** The paper discusses the realities, tendencies of development and prospective fates of the various layers or branches of domestic liberalism. The study goes into detailed estimation of an array of expectations of the Russian nobility and intelligentsia in the wake of success of 1812, their attempts in the direction of constitutionalism (including the Emperor Alexander I himself) and eventual failure and reaction. The author also dwells on Decembrist movement and its impact on cultural condition of the time.

**Key words:** Nobility in 1812, Alexander I and Nicolay I, liberal bureaucracy, M. Speransky, constitutionalism, Arzamas, Decembrist.

The Patriotic War (hereinafter, the War) and the Foreign campaigns, followed by the outstanding victory over Napoleon and showed the “Liberals” had nothing to count on. The “Conservatives” clearly attributed the victory to themselves among whom such prominent figures included A. Shishkov, F. Rostopchin and S. Glinka. However, everything depended on the Emperor’s will, who in turn presented himself to foreign Europe as its saviour. Few knew what was on his mind. He was loath to give up his liberal mantle. “We are proceeding slowly, but we are approaching more and more to liberal ideas,” he wrote to his tutor Lagarpe in March 1811 [1, т.4, с.6]. However, he struck a blow for the “Liberals” exactly one year later. Two years after he was in Paris and there, he hurried to the salon of the highly influential writer Mrs Germaine de Staël, one of the most famous along with other liberal salons of the French capital, where he developed his liberal views and even took the liberty of criticising the Spanish King Ferdinand VII, who had abolished the constitution in his country [1, т.3, с.231].

There, in this salon of Madame de Staël, Alexander loudly declared that in his Empire, as he emphasised, “with God's help, serfdom will be abolished” during his reign [1, т.3, 231-232]. He obviously intended to present himself as a liberal Emperor to European society, a role he no doubt enjoyed. The Russian Emperor was noticeably outperforming the other monarchs of Europe. But one did not have to have much of an imagination to foresee the danger of the coming collisions and future confrontation between Russia and the rest of Europe, an unprecedented confrontation because Russia appeared to the public as more liberal than the West for the first time in history. This was confirmed by real actions, first in the implementation of a policy of foreign constitutionalism which could not fail to alarm Western governments.

Alexander I's trip to England in the summer of 1814 made front page headlines. Even before his arrival in the British capital, his own sister, Ekaterina Pavlovna, widowed at the end of 1812, had arrived there too. It would seem logical that one of the leaders of the Russian “Conservatives” should have sought to estab-

lish close relations with the British conservatives, especially since they had already been in power for a long time and had directed both the foreign and domestic policies of the country. But the Russian princess behaved quite differently. She began to pay all sorts of attention to the opposition figures, i.e. Whigs, English liberals, in particular, became close to the leaders of the opposition, Lords H. Holland and Ch. Gray, which caused outrage among the British ruling circles [2, c.X].

A clear political line was being pursued in her behaviour. It was no coincidence that when the Emperor came to London he did not stay in a palace specially prepared for him, but in a house where his sister was already settled. Alexander's move caused some resentment among the British elite. And then, as one of the best connoisseurs of the Alexander era, the Grand Duke Nikolai Mikhailovich, wrote "After the arrival of the sovereign in England, misunderstandings continued throughout his stay, no rapprochement between the monarchs occurred to the great dismay of the Russian Ambassador, the purpose of the trip in political terms was not achieved, and it led to the opposite result. Only Russia's numerous enemies like Metternich, Lord Castlereagh, and others, triumphed" [2, c.X].

Alexander also meets with the Whigs and emphasises his favour for them in every possible way. Moreover, in a conversation with Gray, he advocated the creation of a "Well-meant opposition" in Russia and even sought the assistance of the Whigs, who had an idea that the Russian sovereign was determined to create a parliament in Russia [1, т.3, c.244]. The brother and sister's actions were apparently concerted. Their focus on rapprochement with the liberal opposition and distaste for the Conservative government was evident. It seemed that Alexander I liked playing the role of a liberal, and even more so that he was being promoted to the leadership of international liberalism. He appeared to the public as the most liberal, humane and Solomonic among the then-monarchs of the major powers.

It was clear that the other monarchs did not like this role of a Russian sovereign very much, they were clearly losing out in the struggle for public support, and the gradual formation of an anti-Russian coalition is hardly surprising. The contradictions between the allies were also felt during the war with Napoleon and during the preparation for the Paris Peace Treaty signed on 30th May 1814, and, as experts point out, after Alexander's visit to London the rift between Russia and England deepened even further [3, c.41]. These contradictions led to the signing of a secret agreement between Britain, Austria and France on 22nd December 1814 (on 3rd January 1815 due to the Gregorian calendar), which was directed not only against Russia but also against Prussia [4, c.95; 5, c.128]. However, it was still primarily aimed against Russia.

The contradictions between Russia and the Allies were not confined to problems of a political nature. They were much wider and involved ideological and moral issues, as well as economic and social relations. They were supposed to be considered as a whole. The economic factor had acquired special significance. As it is known, the English Parliament had passed a new Corn Law in 1815, adopting it in the interest of landlords. This meant a noticeable increase in customs duties on imported bread, which hit Russian exports hard. Russian exports to Britain in the first quarter of the XIX century accounted for about 40 percent of Russia's total

exports [6, c.34]. Alexander I and his sister may have known that such a law was being prepared and that the then Tory-dominated British Parliament may try to pass the law. It triggered the attention of the Emperor who raised the matter with the Whigs and this became one of the reasons for the Russian Emperor to increase his liberal view.

The Emperor had to back up his foreign policy with appropriate actions inside the country. The Decembrist A.A. Bestuzhev, for example, conveyed the sentiments of the broad masses of the people at the time, and in his letter to Nicholas I he said: "We have shed blood... and they are making us work as a serf again applying forced labour. We have rid the motherland of a tyrant, and again we are being tyrannized by lords" [7, c.35-36]

And the Emperor's action soon followed. F.V. Rostopchin, one of the icons of the "Conservatives", resigned immediately after the Emperor's return from the Foreign campaigns, on 30th August 1814, and in the same year such prominent conservatives as A.S. Shishkov and I.I. Dmitriev [8, c. 211] were also pushed out. This was a very real blow to the "Conservatives", almost the same was done to the "Liberals" in 1812. But that was not all. M.M. Speransky gradually began to get into power again. He, being the former Secretary of State, had written several letters to the Emperor from his exile in Perm, to which he received no reply. But then the situation changed somewhat. "... I must conclude that your opinion of me has not been irrevocably decided yet. Later on, the granted allowance and invisible protection towards me strengthened this hope," [9, c.328] Speransky addressed Alexander I in his long letter dated 4th February 1813. The situation began to change early in the same year, then Speransky was allowed to settle on his estate "Velikopolie", and on 30th August 1816 he was appointed governor of Penza, as it turned out, with the assistance of A.A. Arakcheev, who was gaining more and more power. Less than three years later, in March 1819, Speransky was appointed Governor-General of Siberia [10, c.59-60].

There was much to be surprised and even outraged by the hardened conservatives, who until recently had called Speransky a French spy and demanded a brutal sentence for him or perhaps even execution. If Rostopchin's dismissal could still be explained by a noticeable dissatisfaction with his way of running Moscow, the measures against Shishkov and Dmitriev were hard to explain. Moreover, a strike against three prominent conservatives at once certainly could not have been accidental, given a certain change in attitude towards Speransky. Of course, such a pillar of conservatism as Arakcheev, whose influence was almost limitless, was rapidly increasing his political power. Although one should not think that he acted entirely without the Emperor's orders. His biographers emphasised that Alexander was "a gentleman who deliberately used Arakcheev as a tool to implement his plans." So, when Arakcheev's papers were subsequently reviewed, it turned out that the drafts of numerous papers he signed had been drawn up by the Emperor himself [11, c.34, c.46]. Alexander I was clearly playing his own game, balancing between the "Conservatives" and "Liberals", but his post-war actions were encouraging for the "Liberals". Alexander I spoke again and again about the need to re-

form both the agricultural sector, as well as to review the state administration policy.

P.D. Kiselev, who was close to the Emperor, left several testimonies of his confidential conversations with him. During one of them, Alexander I said that the death of Catherine II "did not allow her to change according to her wishes the existing Asian customs and much in the way of governing. Now we must take equal steps with Europe. Europe has become so much more enlightened lately that, according to our present position, we can no longer stay behind, but everything takes time, everything cannot be done instantly... no helpers, you see deceit everywhere... Russia can do a lot, but everything takes time" [12, т.1, с.29]. Having paid attention to the record of Alexander I's conversation with Kiselev, historian A. Kornilov concluded that in 1816 the Russian Emperor "was still a sincere and convinced constitutionalist " [13, с.205].

Whether it does or not, there is considerable evidence of the Emperor's pushing his entourage to draw up various projects aimed at reforming the internal organization of the country along with the abolition of serfdom. The said Kiselev, of course, under the influence of Alexander I, compiled a note entitled "Discussion of the gradual serfdom abolition in Russia", which he handed to the Emperor on 17th August 1816. The very beginning of this note left no doubt as to the true intentions of its author. He wrote: "Civil liberty is the basis of the people's welfare. This truth is so little in doubt that I consider it superfluous to explain here how much more desirable it would be to extend legal independence in our state to the serfs wrongly deprived of it" [12, т.4, с.197].

Kiselev saw the necessity of the serfdom abolishing not only in the unjust dispossession of the peasants, but also in the danger of a French-style revolution in Russia. He did not only confine himself to general discussions of the need to abolish serfdom, but proposed measures which would tackle, he thought, the economic situation in the countryside and in Russia as a whole. The very first point of his note called for "allowing capitalists of all ranks to buy estates from the nobility, but the law is to regulate the relationship between peasants and new owners". Not only Kiselev's use of the term "capitalists" is interesting, but also the fact he was essentially pushing the country to capitalism.

P.D. Kiselev's note was the first of the known documents, devoted to the peasant problem and issued by the government, according to A.V. Predtechensky [14, с.340]. As modern literature points out, the return of interest to the peasant problem did not take place until 1816-1818 [15, с.143]. That period of time saw a number of similar drafted documents. N.S. Mordvinov also wrote a note which envisaged a gradual buyout of the serfs without giving them land in 1816. There were also known drafts of Court Counselor Naumov, then V.N. Karazin, another Court Counselor D.P. Izvolsky, A.F. Malinovskiy and others. E.F. Kankrin wrote his own draft in 1818 which proposed a gradual emancipation of peasants, but it would take an exceptionally long period of time for it to be achieved and would not have been finished until 1880. In 1818, A. Kryukov drew up a draft which dealt with the peasants' liberation from serfdom and allotment of land which equaled 8.1 acres (or which is equivalent to 3 dessiatinas in the Russian measurement system). In

1820, there was an attempt to found a society of landlords, which was to liberate serfs. The planned society was mentioned in a draft submitted to the Emperor in May 1820 and signed by M.S. Vorontsov, A.S. Menshikov, S.S. Pototsky, N.I. and A.I. Turgenev, P.A. Vyazemsky and others who supported the foundation of such a society [14, c. 340-350].

It got to the point that A.A. Arakcheyev himself took part in the secret elaboration of peasant emancipation projects in 1817-1818. A similar draft was drawn up by Arakcheyev, but the original paper did not survive. It is known in the retold form of others and its essence came down to the gradual buying out of peasants and house serfs by the State with the landlords' consent. The State could also purchase 5,4 acres of arable land (or two dessiatinas) for every single peasant [11, c.47; c.160-163]. O.P. Kozodavlev [17, c.146] also submitted his project of emancipation of peasants to the Emperor in 1818. S.S. Pototsky drew up a similar draft in the same year [16, c.126-130].

All these and some other projects were clearly influenced by the Emperor himself, either directly or indirectly. Rumours about Alexander I's sentiments spread quite widely and thus conditioned the initiative of even those who had no direct contact with him. When the first version of the manifesto about the end of the war with Napoleon was drawn up by A.S. Shishkov already then Alexander I categorically opposed those points which glorified serfdom. He demanded to remove such passages from it, thus demonstrating his attitude to serfdom. Shishkov understood the Emperor's mood [18, c.63-64] and it was actually picked up by many other statesmen of the time.

It is difficult to say whether Alexander I's anti-serfdom sentiments at the time were sincere or it was just another political ploy. But his actions were such that they gave rise to relevant drafts and, in turn, the birth of very widespread rumours on the subject. The Emperor himself was also the source of other rumours and then of precise work on the creation of the Russian constitution. His speech, which took place at the Sejm of Warsaw on 15th March 1818, was about political reforms in Russia. It immediately spread all over Russia and produced, as it had happened with the agricultural sector, a double-natured impression generating opposition to both. In the same year but before the Warsaw speech the future Minister of Finance E.F. Kankrin wrote "all the Muscovites were dissatisfied with the Emperor's intention to abolish serfdom" [18, c.114]. There were people who were dissatisfied with the Emperor's will to give a constitution to Russia, the draft of which was made up by N.N. Novosiltsev. However, there were those who were satisfied with both, and the latter were the Liberals' advocates.

Under these circumstances, the "Liberals" had noticeably increased in number. A.N. Pypin tried to show the newspapers' mood starting from the beginning of 1813 which wrote on how the hatred of the French had been passing, how they were again accepted as governesses, how young ladies were going to marry the French and how merchants, used to be loyal to Russian clothing, began to wear long French frock-coats. He then wrote of an increasingly rising power of the "Liberals", "already independent of the government initiatives, and then even be-

ing in opposition to the government, and finally in positive hostility to the existing lie of the matters"[19, c.288-289].

Among those who joined the liberal movement in the post-war period and later to be one of the most notable Russian reformers was P.D. Kiselev, who genuinely cared about the transformation of Russia and the necessary reforms in it. Fortunately, his drafts, made in May 1818 while he was accompanying the Prussian King Friedrich-Wilhelm on his journey from Torn to Königsberg, were preserved. There, he compared the situation in Russia and Prussia. According to Kiselev these comparisons made him sigh, "remembering his own country. It will take many years before the Russian Empire reaches such prosperity in all levels of the society" [12, т.1, с.55],

Even if the Encyclopaedia of Russian Liberalism does not mention Kiselev, he became one of the pillars of Russian liberalism. He was a long-lived liberal, living up to the reforms of the 1960s and 1970s. There were several sources for his liberalism. Of course, the personal influence of Alexander I is undoubtable. The direct impact of the realities of Europe was also undoubtable. But literature has long drawn attention to the fact that Kiselev read a lot and among the books of his personal library could be found many works of French thinkers of the XVIII - early XIX [20, т.1, с.262-263].

Among those who joined the liberal movement in the post-war period were the Turgenev brothers, sons of I.P. Turgenev, a former director of Moscow University, close to N.I. Novikov, and involved in one of the Masonic lodges, whose members were called Martinists. Curiously, at that time all opponents of serfdom were called Martinists because of their extremely negative attitude towards slavery and the equality of all men before God [21, с.19]. Alexander and Nikolai attracted particular attention from the point of view of the liberal movement out of the other four Turgenev brothers, Andrei, Alexander, Nikolai and Sergei. Alexander was educated at home, then studied at the boarding school for nobles at Moscow State University and Göttingen University, where he was particularly influenced by a professor of History and liberal thinker, A. Shchletser [22, с.22, 24]. Turgenev's articles started to be published in the "Herald of Europe" and the "Northern Herald" during his studies in Göttingen. On his return to Russia, A. Turgenev worked with N.N. Novosiltsev, then worked under M.M. Speransky and A.N. Golitsyn.

After the War, Turgenev worked as Secretary of "The Bible Society", where he became an admirer of the ideas of an evangelical state whose essence was the priority of Christian and supranational values over all other values, ideas which appealed to Russian liberals of the time. A. Turgenev started to head the Spiritual Department of the Ministry of Spiritual Affairs and National Education in 1817. At the same time he was actively involved in different philanthropic societies, and later he became one of the founders of the literary society called "Arzamas".

Turgenev was an opponent of serfdom and even took part in P.A. Vyazemsky's project of setting up "The Society for the Abolition of Serfdom" which was not, however, approved by the Emperor. Speaking of the said draft signed by him and a group of people in May 1820, he wrote to his brother Sergei: "We propose gradual abolishing ... Our attempts will not entirely remain in vain, and if they do

not follow our footsteps, which we have not had time to tread, they will not be intimidated by the first experience" <sup>31</sup>. In December 1820, together with his brother Nikolai, he made up a draft limiting serfdom, which would have prohibited the sale of peasants without land. This draft was rejected by the State Council. But despite this, Turgenev considered the action taken by him and his brother useful because he thought it was necessary to "plead to his fellow citizens to renounce serfdom" and in this way, as he put it, "...our name will be saved in the annals of liberalism" [22, c.33]. Remarkable here is his assessment of liberalism, which he undoubtedly saw as progress.

Politically, A.I. Turgenev was a constitutionalist and dreamed that "at least our children would see these days"; he meant the appearance of a constitution in Russia. His close associate P.A. Vyazemsky wrote about him: "Turgenev as many others belonged to the "Liberals" who wanted improvements in civic life rather than to the "Liberals" who wanted subversion and revolution at any cost"[24, c.374-375]. Subsequently, A. Turgenev was dismissed in 1824, went abroad and thus became a representative of Russian social liberalism. He actively collaborated with a number of domestic publishers, producing one material or another, and also visited Russia from time to time.

Turgenev's brother Nikolai is sometimes called the greatest political figure of the first half of the nineteenth century, [25, c.184] was five years younger than his brother. He was also educated at the boarding school for nobles, then at Moscow University, and afterwards, at Göttingen University from 1808 to 1811. Arriving in Paris he joined a Masonic lodge, before returning home in 1812 where he started to work at the Commission for the drafting of laws. During the Foreign campaigns, in 1813, he went to Germany and served as Russia's representative in the Central Administration of the Allied Department, headed by G. von Stein. On his return to Russia in 1816 he was appointed an official in the State Council and continued to cooperate with the Commission on drafting laws, then headed the Secretariat of the Ministry of Finance. In this way N. Turgenev gained considerable administrative experience and became acquainted with both economic and administrative issues. At the same time, like his brother Alexander, N. Turgenev became involved in public life. He was a member of "Arzamas" and later took an active part in Decembrists' societies [26, 27].

N. Turgenev was certainly a liberal figure between 1812 and 1820, and his views were also openly liberal. He was a staunch opponent of serfdom [28]. His 1819-year draft, given to the Emperor, which was entitled "Somewhat about the State of the Serfs in Russia", upheld the rights of the serfs, stressing among other things, that they were forced into personal dependence on the landlord and that there were no legal grounds for this violence [16, c.238]. Like many other representatives of the liberal movement, Turgenev advocated a gradual emancipation of the peasants by the mutual consent of the peasants and the landlords. In Turgenev's opinion, this liberation should have been initiated by the government, supported by those gentry circles who had already come to realize the harmfulness of serfdom.

At the level of the state structure N.Turgenev was an advocate of constitutional monarchy (in the literature he is even called a monarchist-renovator [28,

c.29]), which he proposed to combine with elective class representation. However, not everyone must have the right to vote, for which he suggested introducing various kinds of criteria. He proclaimed bourgeois liberties, especially the equality of all before the law. N. Turgenev paid considerable attention to economic issues. He was under the obvious influence of A. Smith and stood up for the freedom of economic activity. He published his work entitled "Taxes Theory Experience" in 1819, one of the most remarkable works not only in Russian theoretical political economy of the time but also made practical suggestions as he laid down a mechanism of taxation policy. He proposed to change the very principle of taxation, linking it above all to the real incomes of individuals. He was highly appreciated by E.F. Kankrin who became Finance Minister and suggested that Turgenev return to the Ministry of Finance in 1825. Kankrin wanted him to promote and patronise production, fight against smuggling, etc. But N. Turgenev had his own opinion on this matter. "In my opinion, the will to artificially develop the production sector would rather stop the natural and sensible growth of the nation's wealth, and I was afraid of being forced to act against my convictions" [29, c.85-86] later on he wrote. N. Turgenev rejected the Minister's offer. Although the 1920s saw a clear reactive policy, Turgenev did not join the right-wingers as most government liberals did, instead joining the left-wingers, becoming one of the most prominent figures of the Decembrism [30].

Among those who joined the "Liberals" after the War was one of the great Russian poets of the nineteenth century who, like the Turgenev brothers, served in the civil service, P.A. Vyazemsky. He was from an old noble family, and his free-thinking views were already felt in his family, where his father, General A.I. Vyazemsky was known as a convinced freethinker. Vyazemsky was educated both at home and in a Jesuit boarding school and at the St. Petersburg Pedagogical Institute. He began serving in the army in 1807, and then in 1812 took part in the war against Napoleon. As a member of the society "Arzamas", he planned to publish a special journal, where he would preach ideas for reforms directed at social progress. He intended to "write in favour of general opinion". He also wrote about the necessity of being "the leader of public opinion" in one of his articles of the early 1820s [31, c.38, 83]. Later he was convinced of the necessity and even usefulness of expressing the opinions that did not coincide with the opinion of the authorities and he glorified glasnost (voicing people's opinion) [32, c.161, 175]. But his plan to publish the journal was not supported from above. In 1818, he managed to transfer to Warsaw, where, under the guidance of N.N. Novosiltsev took part in the preparation of a constitution for Russia. Beforehand, he had witnessed Alexander I's famous speech at the Sejm of Warsaw; moreover, it was he who translated it from French into Russian, experiencing its direct impact.

Vyazemsky was then a categorical opponent of serfdom, which he called a growth on the body of the state and seriously contemplated a precise plan for its abolition [32, c.27]. He was among those who signed an appeal to the Emperor to urge him to take practical steps in this direction in 1820. The idea met the support of the St.Petersburg society and even, at first, of the Emperor himself, who, however, forbade its subsequent formulation [31, c.74]. Alexander I's refusal to fulfill



his promises to reform the country was painfully perceived by Vyazemsky and he actually became an opponent of both the domestic and foreign policy of the Russian government at the time, which was known to the authorities who set their sights on him. He resigned from public service but did not stop his social activities. Vyazemsky's estate "Ostafyevo" became one of the centres of attraction for many progressive figures of the time, to the extent that it became known as the "Russian Parnassus". Ostafyevo, largely due to P. Vyazemsky himself, became an important hearth of culture and public life, attracting prominent Russian literary forces and having a noticeable social influence. This is not to say that it was one of the centres of Russian liberalism, but, of course, liberal figures felt quite at ease here.

P. Vyazemsky was also among the founders and active figures in "Arzamas" and, in general, the idea for it dates back to 1813 and can be traced back to a letter from P. Vyazemsky to A. Turgenev. Vyazemsky, in the future, a prominent conservative, was a "Liberal" during the post-war period. As noted in contemporary literature, in the 1920s, he used the term "liberal" only in a positive sense. In the 30s, he became markedly more cautious<sup>45</sup>. He was actively involved in the activities of various salons and societies and, incidentally, the discussions held at gentry salons were highly sophisticated. He described them like "they unite us with educated Europe" and contrasted them with merchant, bourgeois and artisan houses [33, т.2, с.162].

Among those who found themselves in the liberal camp after the War was S.S. Uvarov, one of the main founders and popularisers of the theory of "Official nationality". Like many other liberals of that time, he was educated at home by a French tutor and joined the diplomatic service rather early. He worked in the Russian Embassies in Vienna and Paris and made friends with many prominent political and public figures of Europe at the time. There was J.W. Goethe, H. Stein, J. de Staël among his acquaintances. At the same time he was engaged in literary work. Having the support of the Privileged circles, Uvarov quickly built his career. In 1810, being only 24 years old, he became a trustee of the St. Petersburg Educational District and held this post until 1821. Uvarov was the President of the Imperial Academy of Science until his death at the age of 32 years old in 1855. He was credited with the transformation of the St. Petersburg Pedagogical Institute into the St. Petersburg University, and he also reformed the academic curricula of gymnasiums and colleges of uyezds ("uyezd" is an administrative-territorial division, at the district-level). He paid much attention to the teaching of History. 1813 saw his work in History published called "Talking on the Way of History Teaching in Relation to Public Education" [34, 35].

He was, of course, influenced by Alexander I and picked up his train of thought rather subtly. Just a week after the Emperor's Warsaw speech, on 22nd March 1818. Uvarov delivered his famous speech at the Pedagogical Institute where he glorified political freedom and the spirit of the time [35, с.100]. In the early 20s, due to a change in the political course of the country, Uvarov's own views had changed and he, not without hesitation, joined the "Conservative camp". Although he did not support the actions of M.L. Magnitsky and D.P. Runich, concerning universities, resigned in a marked manner from the post of trustee of the

Metropolitan Educational District and transferred to the Ministry of Finance in 1821 [24, c.374-375]. Interestingly, as he recalled, he was supported by the future Emperor Nicholas I in his fight against the oppressors of universities. According to Uvarov, "Grand Duke Nicholas openly declared being on my side and in the rather limited administrative position he kept opposed to the intrigues against which I was fighting" [35, c.98-99].

Uvarov was no stranger to public activities. He was close to a few individuals considered "Liberals". He was an active member of "Arzamas", although not a radical one. He refused the suggestion of N. Turgenev, M. Orlov, and P. Vyazemsky to impart a distinctly political character to the society, although he was not against political discussions that nevertheless took place in "Arzamas" [35, c.102]. Uvarov's evolution is typical for many representatives of the liberal bureaucracy of his time, although there are authors who see an implicit liberalism in Uvarov even after he had officially turned conservative [35, c.101]. In any case, there are several other representatives of the "Liberals" apart from Kiselev who retained their liberalism even after the government's sharp turn towards the right-wingers.

D.N. Bludov was not the least of these. Much later, in the second half of the 1850s, more precisely in March 1856, K.D. Kavelin, one of the leaders of the Westernists, wrote about the great expectations that the society pinned on the "old men", such major dignitaries as P.D. Kiselev and D.N. Bludov stressed how everyone was terrified of what would happen if they died [37, c.211]. The younger generation of liberals thus had high hopes for them, knowing their true views.

D.N. Bludov descended from a very old noble family. Educated at home, at the age of 15 he entered the service in the Moscow archives of the Collegium of Foreign Affairs under the outstanding archaeographer N.N. Bantysh-Kamensky, where he became one of the "archival youths", the forge of Russian liberalism. After the accession of Alexander I, Bludov moved to St. Petersburg and joined the Collegium of Foreign Affairs there. It was there he felt the influence of Alexander's ruling over the country, focusing on reformation during his early years. He carried out a number of diplomatic assignments and then worked at the Russian Embassies in Stockholm and London.

One of the heads of the Russian Ministry of Foreign Affairs, I. Kapodistrias, took him to his bosom. He was a man of liberal views unlike the other head of the Ministry, K. Nesselrode. Kapodistrias became an idol for Bludov. At the same time, Kapodistrias also saw the abilities of Bludov and called him "a pearl of Russian diplomats". Bludov completely shared Kapodistrias' views. He was an opponent of Metternich and, in general, regarded Austria as Russia's inevitable adversary. Interestingly, Bludov was also an opponent of the Holy Alliance. After 1812 he was an advocate of constitutional monarchy and recognised the need to abolish serfdom. He advocated Russian support for the Greek revolution of 1821, like Kapodistrias did, and when this support did not come, he left the Ministry of Foreign Affairs following Kapodistrias. He went on to serve in the Ministry of the Interior. Bludov was one of the most active "Arzamasians", and even this name was derived from his satirical article "Vision in Arzamas". Later he would be one of those who would judge the Decembrists and, as A.I. Koshelev who served under him recalled,

"...he yielded to the Emperor's will in this, both because of weakness of character and he hoped to soften the punishment for the guilty, making many of them less criminal, but showing their enthusiasm even if they had gone to the extremes" [38, c.58].

The time in question undoubtedly assigns D.N. Bludov to the representatives of the liberal bureaucracy, meanwhile the Encyclopaedia of Russian Liberalism didn't publish any articles about him, but the one of Russian Conservatism did. However, even there it is admitted that "according to his economic views, Bludov is rather a liberal, an absolute supporter of the principle of free trade and an opponent of protectionism". It also noted his negative attitude to serfdom and the fact that his political conservatism was combined with humanitarian liberalism, including nobility, kindness, honesty and unselfishness [39, c.64]. Nevertheless, later on, Bludov became a political conservative obviously under the influence of the Emperor. In the said period of time he started to lean towards the constitutional monarchy, or rather towards the constitution. The same Encyclopaedia of Conservatism also has an article about D.V. Dashkov<sup>57</sup>, but in the 1810s, this distinguished statesman, diplomat and highly ranked lawyer, later the Minister of Justice, was closer to liberals and became a member of the "Arzamas" circle [40].

Most liberal bureaucrats descended from the nobility, often from very noble families. But there were exceptions. Besides M.M. Speransky, a prominent statistician, professor and academic, K.I. Arseniev, came from the clerical rank. He studied at the Kostroma Theological Seminary, then at the St. Petersburg Pedagogical Institute. He then began his long teaching career. He taught in the same institute in which he had graduated from, and he continued working there after its transformation into a university until 1821. He was persecuted like a few other professors. He was saved by the personal intervention of Grand Duke Nikolai Pavlovich. He taught at the General Engineering and Artillery School, which was patronized by the Grand Duke, as well as at the Educational Centre for Noble Young Ladies and the School of Guard Sergeants and Cavalry Cadets. Along with it he was involved in the work of various government institutions including the Statistical Office of the Ministry of Police and the Commission on drafting laws. Later he was the tutor of the heir to the throne Alexander Nikolaevich and, according to those who knew him well, inspired the future Emperor Alexander II with liberal views; in any case, it is believed that Arseniev is the one who instilled in the monarch the idea of abolishing serfdom [41].

M.A. Korff, Pushkin's classmate at the Tsarskoye Selo Lyceum, joined the liberal bureaucrats in the post-war period. His father was a German from the Baltics, and his mother was Russian who had the maiden's name of Smirnova. He considered himself a Russian "by upbringing, by faith, and by service" [42, c.49]. He served in the Ministry of Justice starting from 1817, then in the Commission on drafting laws from 1819, and afterwards, he was already an official at the Ministry of Finance in 1823. He worked under the guidance of E.F. Kankrin and M.M. Speransky, was a literary man and was involved in social activities. Korff was also a member of "The Free Society of Lovers of Russian Literature" starting from 1819 [42, c.50]. In 1822, N.I. Grech wrote about Korff as the author of "many splendid

historical articles". Later he headed the Imperial Public Library, which due to his efforts became the most important library of the country. He was known as the bearer of the "Lyceum spirit" [43].

Korff, of course, was a fairly moderate liberal, a kind of transitional type from liberal to liberal conservatives. The type is by no means uncommon. Another distinguished political figure on the Russian administrative Olympus, M.A. Balugyansky, can be assigned to this type too. The drafters of the Encyclopedia of Russian Liberalism classified him as a liberal, while the authors of a generalizing monograph on 19th-century Russian conservatism classified him as a conservative. There were also liberals of other shades. For example, the diplomat P.B. Kozlovsky, about whom the Marquis de Custine wrote in his book. F. Bulgarin and N. Grech made up the "Liberal camp" at the time who soon became the promoters of "Official nationality", as well as the future Minister of National Education, A.S. Norov, and the Rumyantsev brothers, sons of the famous commander. And the list can be easily continued.

The fact that even after 1812 the liberal movement did not stop, and to some extent it even intensified, is evidenced by the activities of various circles, societies and even salons of the time. It is interesting that during the Foreign campaigns, new communities with a clearly liberal bias were forming both in Russia and beyond its borders, where Russian army units as well as Russian civilian administrations, were stationed. A very peculiar association called the "Circle of Young Military Historians" emerged in the German town of Reichenbach, at the time of the armistice in 1813. This circle included F.N. Glinka, A.I. Mikhailovsky-Danilevsky, A.A. and M.A. Shcherbinin, N.A. Starynkevich, D.I. Akhsharumov, M.A. and P.A. Gabbe and A.G. Krasnokutsky. Two of them, F.N. Glinka, an active participant of the War of 1812 and the Foreign campaigns, and M.A. Gabbe<sup>64</sup>, also a participant in those wars, would soon join the Decembrist movement. M.A. and A.A. Shcherbinin, who left their diary to his descendants, were close to the Decembrists. As early as 1811, they were members of the secret political society called "Knighthood", later he would join the Masonic lodge called the "Iron Cross". His younger brother M.A. Shcherbinin was close to Alexander Pushkin and was a member of the literary society called "Zelenaya Lampa" (or the "Green Lamp") [45, c.244].

The members of this circle first and foremost focused on the subsequent reflection of the War with Napoleon in special research works in order to leave a record of these events for posterity. The activities of this circle are considered the first serious attempt by the Decembrists to reflect on the historical experience of 1812 [46, c.216]. However, this association of young officers was not only concerned with military actions, the agenda was much wider, touching upon issues not only of an international character but also the situation in Russia itself. Inevitable comparisons and conclusions about the need for change in their own country were currently under discussion [45, c.19-20, c.312, c.349]. As for the lodge "Iron Cross", it was organized in 1813 by the Prussian army, but it was also open to Russian allies. Among them there are the following authors A.I. Mikhailovsky - Danilevsky, N.I. Turgenev, P.I. Pestel, S.G. Volkonsky, M.A. Fonvizin, P.P. Lopukhtin, A.F. Brigen, etc. [42, c.92, c.129]

Several Russian circles were formed abroad after the War. One of them was called the "Frankfurt Circle" of N.I. Turgenev, which included N.A. Starynkevich, M.A. Gabbe, P.Kh. Gabbe, N.I. Krivtsov, and M.F. Orlov. The circle, which included several future Decembrists, was distinctly political. It discussed the problems of serfdom, the future political structure of Russia, as well as the foreign policy issues of the time. Even then, plans for a more organised community were being considered within this circle, which would already take the form of a pre-Decembrist organisation such as the "Order of Russian Knights" [48, c.63-71].

Another similar community was set up in France, in the town of Maubeuge, where depot complexes of the Russian expeditionary corps commanded by M.S. Vorontsov, was stationed. This circle, formed in 1816, was initiated by one of the Turgenev brothers, Sergei. The "Political Club" is another name for this circle. The club was attended by M.S. Vorontsov, L.A. Naryshkin, L.A. Perovsky, V.A. Perovsky and V.K. Tiesenhausen. The aim was to formalise this community by making up a charter and permanent leadership, as well as establishing branches of the club in other places [48, c.74-77]. No detailed information on the activities of this club has survived, but its composition leaves no doubt as to its liberal orientation.

Another Russian Club was organized by officers of the Kinburn Dragoon Regiment, i.e. in the same units of the Russian occupation corps, but in the French town of Attigny. Fewer details have survived about it than about the club in Maubeuge [47, c.129], but the mood in Vorontsov's corps was well known, and there is no doubt that this club was engaged not only in amusement, in which the French also took part. The mood among the officers was such that it was impossible to avoid conversations on political subjects.

Meanwhile Russia continued to host not only the circles created earlier, but some new liberal-minded ones, organisations, clubs and Masonic lodges. Among the most famous was the repeatedly-mentioned "Arzamas". The ideas for its creation date back to 1813 and can be traced in a letter from P.A. Vyazemsky to A.I. Turgenev, which made a reference to the activities of Shishkov's "Besedy" (or "Small Talks"), whose members were called foolish and who "like horses, always all in the same stable", and called for the uniting of people with a different political orientation. None other than S.S. Uvarov, who, as already remarked, had been a trustee of the St. Petersburg Educational District since 1811, but then joined the "Liberals", proposing that the new circle would be called the "Circle of the Unknown Arzamas Writers", that is writers from the Arzamas town. This playful name was accepted, and the society held its first meeting in October 1815. Among the founders were V.A. Zhukovsky, S.S. Uvarov, D.V. Dashkov, A.I. Turgenev, and S.P. Zhikharev.

The jokers and straight talkers of "Arzamas" were even outwardly different from the priggish, stately members of the "Besedy". All the "Arzamas" members had nicknames, which were borrowed from Zhukovsky's ballads, and the Chairman was determined by drawing a name out of a hat. The same Zhukovsky was the Secretary of the society<sup>72</sup>. Curiously, they all called themselves "His excellency the genius of Arzamas". The number of such "geniuses" reached 25, and among them were quite a few gifted writers. Besides Zhukovsky, there were P.A.

Vyazemsky, K.N. Batyushkov, D.V. Davydov, and of course, A.S. Pushkin, who was nicknamed "Cricket" because he was still a Lyceum student and apparently had only attended a meeting of "Arzamas" once [50]. There were also D.N. Bludov, A.I. Turgenev, and N.I. Turgenev among the members of this society. The orientation of the society was predominantly liberal, although one can also see left-wingers such as N.M. Muravyov, and fairly clear-cut conservatives such as D.A. Kavelin. The brothers Alexander and Nikolai Turgenev differed in their views, the former was more moderate and explicitly mentioned this to his other brother, Sergei [23, c.161-162].

The future Decembrists M.F. Orlov, N.I. Turgenev and N.M. Muravyev were also among the members of this society. There was also a system of honorary members. N.M. Karamzin was considered the "patriarch of Arzamas", the "guide and leader", and in general, the society was pro-Karamzin in the field of literature. I. Kapodistrias was among the honorary members, one of the leaders of the Russian Foreign Policy Department, a man of liberal views and, as already mentioned, opposed to the other Head of the Country's Foreign Policy, K. Nesselrode. "The appearance of the Decembrists was a turning point in the history of Arzamas: the policy speeches of Nikolai Turgenev and Mikhail Orlov called on the merry people of Arzamas to engage in more serious public work" as N.M. Druzhinin noted [51, c.77]. That period of time was marked by a new plan to publish not only a literary journal, but also a political one, preaching ideas of freedom but those which without destroying the present, would prepare a better future.

The Decembrists influenced the drafting of the "Arzamas" statute, which defined the duties of its members and promoted the main aim of "the benefit of the fatherland, consisting in the formation of a general opinion" [51, c.77].

Arzamasians saw the great importance of public opinion and sought to shape it by creating their own journal. N.I. Turgenev tried to set it up. But the plan for the journal was never carried out, although V.A. Zhukovsky was offered to be its editor, and Bludov and Uvarov were asked to head the political, literary and critical sections. The liberal professor at St. Petersburg University, A.P. Kunitsyn was invited as co-editor. So, his tasks were clearly defined.

"The attempt to organise the propaganda of liberal ideas has failed", as academic N.M. Druzhinin pointed out. The reason for the failure of the journal can be explained by the fact that the members of this society held different socio-political and literary-aesthetic views. Although the society was predominantly liberal in its composition, the spectrum of political opinions was quite wide. Moreover, some of its members were classicists, others were romantics, and others were neither. The conservatives and even reactionaries from the "Besedy" were opposed mainly by liberals, although there were some radicals among them, the Decembrists. At the same time, society was too keen on jokes and merriment to produce anything as serious as M. Orlov was calling for. N.I. Turgenev, while paying tribute to this society, admitted that he "could not entirely come to terms with the critical and sarcastic wit of these gentlemen" [52, c.61]. The confrontation with Shishkov's supporters was not enough and "Arzamas" ceased to exist, although a few its members were active and even prolific writers. The Society was dissolved in 1818, but its

members remained and continued their literary and social activities [53, 54, 55, 56].

A more left-wing society created as if in place of "Arzamas" in 1818 and called the "Green Lamp". This was a literary and political circle, closely connected to one of the first Decembrist organisations, "The Union of Welfare". It included F.N. Glinka, S.P. Trubetskoy, Ya.N. Tolstoy, A.A. Tokarev, P.P. Kaverin, D.N. Barkov, and P.B. Mansurov. The circle also included A.S. Pushkin, A.A. Delvig, N.I. Gnedich and others. Literary men, government officials and officers prevailed in this circle. Ya.N. Tolstoy had been the Chairman of the Circle since March 1819 [44, c.176]. The society did not exist long, only until 1820. The police became interested in it, which led to its closing. This society has long attracted the attention of researchers, who assessed its activities differently. Many have noted the frivolous manners that prevailed in it during meetings of the circle members at the N.V. Vsevolozhsky's house, a young rich man of St. Petersburg.

But the members of the circle did more than just drink and arrange parties. They organised literary meetings. A.S. Pushkin dedicated the following poems "To Yuriev", "To Vsevolozhsky", and "Stanzas to Tolstoy", to his fellow members of the circle which dated from 1819 to 1820. Pushkin's short poem "Merry Feast" also belongs to that time, and contains the following lines:

"I love an evening feast,  
Where merry Chairman,  
And freedom, my idol,  
At the table, the legislator ..." [57, c.76].

So, Pushkin's idol is freedom and this freedom united quite a few members of the "Green Lamp".

They took a vow of secrecy at their meetings, but curiously enough, at the same time they kept minutes of these meetings, first of all of literary ones. Poems written in a free spirit dominated, but these were interspersed with discussions not only on literary subjects, but also on political ones. There were also house shows and card games. A statute of the circle was drawn up, whereby every member was allowed to say and write whatever he or she thought, even using obscene language, without any prohibition. The motto of the members of the "Green Lamp", who were called "lampists", was "light and hope". That allowed different interpretations of their ideas, but anyway it was an association of talented people, who due to their young age allowed themselves frivolous manners, but not barren in their creative results. The "Green Lamp" was one of the liberal associations of the time - though short-lived - and left its mark in the social movement of the 1810s [58, 59, 60].

However, there were some other circles of liberal character such as "Society of the gentlemen of the cork", which existed around 1815 - 1817, headed by I.P. Bunin, brother of the famous poetess; "The Society of Friends of Gratitude", "The Society of Loud Laughter", etc. Some of them were organised in provinces. These latter included "The Free Society of Lovers of walking" in the town of Kazan, "The French Parliament Society" in the town of Petrozavodsk, which had 32 members, "The Society of the First Consent" in the Poltava Province, which was soon replaced by "The Society of Friends of Nature", etc. [47, c.155, c.219-221]. Some

societies set up before 1812 continued to operate, for example the oldest of them "The Free Economics Society" which, as it was noted before, in the first two decades of the 19th century" revealed a certain attitude towards liberal ideas" [61, c.101-102]. In 1814, the works of this society promoted the ideas of free sale of land, free labour and even personal emancipation of serfs.

And, of course, one cannot ignore the activities of "The Free Society of Russian Literature Lovers", which was founded in 1815. The first meeting of this society was held on 17th January 1816, and from January 1818 it received the status of a free society. Sometimes this society was also called "The Society of Competitors", but as the researcher of the Society's history, V.G. Bazanov emphasized, it was proclaimed the "Scholarly Republic" in 1818 and, in his opinion, it was a literary springboard for the Decembrists and played an outstanding role in the training of Decembrists<sup>84</sup>. However, society was still marked by predominantly pro-liberal ideas at the time in question. The verse writer Yazykov, in one of his poems called "The Second Oath", uttered the words "and I, an implicit liberal". V. Bazanov concluded in this connection: "Many other members of the "Scholarly Republic" belonged to such "implicit liberals" who "took the solemn oath" at the signing of the Free Society's charter" [61, c.101-102].

"The Free Society of Russian Literature Lovers" was quite thoroughly structured. It had an institute of full and honorary members, staff members and correspondent members. Their names have been preserved and are given in the same book by V. Bazanov [62, c.405-410]. F.N. Glinka played an outstanding role in the society's activity. He became its de facto leader and attracted a number of other Decembrists to the society. D.I. Khvostov, and P.A. Shirinsky-Shikhmatov also attended this club, otherwise they clearly did not belong to the "Liberals". "The Contestant of Enlightenment and Welfare" was a paper that they had printed.

Thus, the fall of Speransky and, in general, the blow to the "Liberal" in 1812 did not mean that the liberal movement in Russia had come to a halt. But certain traces of reactive policies could be identified at the time. From 1810 to 1816, the Minister of Public Education was A.K. Razumovsky who, according to his biographer, A.A. Vasilchikov, "was one of the most outspoken opponents of Speransky and looked upon the fall of the latter as the salvation of Russia" [63, c.89]. It is worth noting that following an examination regarding the history of the Ministry of Public Education, it was identified that during the era of Razumovsky, who was close to Karamzin, "the reactionary ideas appeared in society" [64, c.42]. "The government's reactionary policy appeared in 1816, was not compatible with spirit of the times, according to the supporters of the new protective direction, they felt that Russia was not moving fast and decisively enough towards saving society and away from revolution," the biographer of Alexander I stressed [1, т.3, c.246].

Under the reactionary policy of the time first and foremost "Arakcheyevshchina" is meant. In this connection the Grand Duke Nikolai Mikhailovich emphasised: "The last four years of the reign of Alexander Pavlovich were in fact the years of Aleksei Andreevich Arakcheyev ruling" [2, c.269]. Nevertheless, the liberal movement could be seen still ongoing in the 1810s. It included new forces, both individual members of the liberal bureaucracy and public liberals. New liberal



circles and societies were being formed. The situation significantly deteriorated after 1820 and there were several reasons for this, both external and internal. But this needs to be dealt with separately.

Of course, liberalism as a social movement did not die, but it received a heavy blow. A large part of the "Liberals" joined the right-whingers, the other part joined secret but essentially revolutionary societies. There were some, as A.I. Hertsen wrote, who retreated into themselves, keeping their hearts loyal to the free-thinking sentiments of their youth. Thus, according to Hertsen, the centre of liberalism went to the provinces, to country estates. However, liberalism was not done away with in the capitals either, it was clearly nourished by an oppositional spirit, by dissatisfaction with the situation that existed at the time. Even A.N. Pypin noted several shades of liberalism at the time, "according to their strength and the seriousness of their understanding", from a moderate liberalism represented in government circles by such figures as Mordvinov, Speransky, Kochubey, including the military men, Ermolov, Kiselev, Vorontsov to the Pestel circle [19, c.463]. "Liberalism became the domain of every limited-educated person in the time between 1820 and Alexander I's death," as the Decembrist A.P. Belyaev recalled [66, c.117]. It is true that the notion of liberalism had a slightly different content than it does today.

## REFERENCES

1. Schilder N.K. Emperor Alexander the First. His Life and Reign. Vol.IV, St.Petersburg, 1905.
2. Nikolai Mikhailovich. Correspondence of the Emperor Alexander I with his Sister Grand Duchess Ekaterina Pavlovna. St.Petersburg, 1910.
3. Zak L.A. Monarchs versus Peoples. Moscow, 1966.
4. Kinyapina N.S. Russian Foreign Policy of the First Half of the XIX Century. Moscow, 1963.
5. History of Russian Foreign Policy. First Half of the XIX Century. Moscow, 1995.
6. Park Ji-Bae. Size and Significance of Russian Exports to Great Britain, 1760 - 1830. Russian History. № 4, 2016.
7. From the Letters and Testimonies of the Decembrists. St.Petersburg, 1906.
8. Meshcheryakova A.O. F.V. Rostopchin: at the Foundation of Conservatism and Nationalism in Russia. Voronezh, 2007.
9. GARF, f. 679, op. 1, d. 43, p.1; Plan of the State Reformation of the Count M.M. Speransky. Moscow, 1905.
10. Fedorov V.A. Mikhail Mikhailovich Speransky. Russian Reformers of the 19th - early 20th Centuries. Moscow, 1995.
11. Yachmenikhin K.M. Aleksey Andreevich Arakcheyev. Russian Conservatives. Moscow, 1997.
12. Zablotsky-Desyatovsky A.P. Count P.D. Kiselev and his Time. VOL.I. St.Petersburg, 1882.
13. Kornilov A. Course of the Russian History in the XIX century. Part 1. Moscow, 1912

14. Predtechensky A.V. Essays on the Social and Political History of Russia in the First Quarter of the 19th century. Moscow, 1957.
15. Timofeev D.V. European Ideas in Russia: Perception of Liberalism by the Government Elite in the First Quarter of the 19th Century. Chelyabinsk, 2006.
16. Noblemen's Programs to Solve Peasants' Problem in Russia at the End of XVIII - First Quarter of XIX Centuries. Book of reports. Lipetsk, 2003.
17. Kozodavlev O.P. Discussion on the Gradual Liberation of Peasants from Serfdom and the Ways of Using Civil Liberty that can be Safely Introduced Among Them. Noblemen's Program.
18. Mironenko S.V. Autocracy and Reforms. M., 1989.
19. Pypin A.N. Social Movement. SPb., 1871.
20. Druzhinin N.M. State Peasants and the Reform of P.D. Kiselev. Vol.I . M. - L., 1946.
21. Vishlenkova E.A. Religious Policy: Official Course and "General Opinion" of Russia during the Alexander Era. Kazan, 1997.
22. Rudnitskaya E.L. Alexander Ivanovich Turgenev. Russian Liberals. Moscow, 2001.
23. Turgenev A. Political Prose. Moscow, 1989.
24. Vyazemsky P.A. Poems. Memories. Diaries. Moscow, 1988.
25. Vishnitzer M. The Göttingen years of Nikolai Ivanovich Turgenev. The Past Years. St.Petersburg, № 4, 1908.
26. Shabunin A.N. Nikolai Ivanovich Turgenev. Moscow, 1926.
27. Tarasova V.M. Decembrist N.I. Turgenev and his Place in the History of the Social Movement in Russia in the 20-60s of the XIX Century. (Evolution of Social and Political Views). Extended abstract of Dissertation ... Doctor of Historical Sciences. L., 1966.
28. Narezhny A.I. With Thoughts on Russia: The Decembrist N.I. Turgenev in the Interior of the Age. Rostov-on-Don, 2016.
29. Turgenev N. Russia and the Russians. Moscow, 2001.
30. Parsamov V. Decembrists and Russian Society 1814-1825. Moscow, 2016.
31. Akulshin P.V. P.A. Vyazemsky. Power and Society in Pre-reform Russia. Moscow, 2001.
32. Vyazemsky P.A. Diaries. Moscow, 1963.
33. Vyazemsky P.A. Complete Works in 12 Vols. St.Petersburg, 1879. Vol.II.
34. Uvarov S.S. Orthodoxy. Autocracy. Nationality. Moscow, 2016.
35. Shevchenko M.M. Sergey Semenovich Uvarov. Russian Conservatives. Moscow, 1997.
36. Whittaker Ts.Kh. Count Sergei Semenovich Uvarov and his Time. St.Petersburg, 1999.
37. Barsukov N. Life and works of M.P. Pogodin. Book XIV. St.Petersburg, 1900, p. 211.
38. A.I. Koshelev's Drafts. Moscow, 1991.
39. Kalashnikov M.V. Bludov D.N. Russian Conservatism in the Middle of the Eighteenth and Early Twentieth Centuries. Encyclopedia. Moscow, 2010.

40. Akulshin P.V. D.V. Dashkov in the First Quarter of the XIX Century: The Formation of Social Views of Bureaucrats of the Era of Nicholas I. History of the Ryazan Region. Ryazan, 1992.
41. Pekarsky P.P. About K.I. Arseniev's life and work. St.Petersburg, 1871.
42. Ruzhitskaya I.V. M.A. Korff in the State and Cultural life of Russia. Russian History. № 2, 1998.
43. Ruzhitskaya I.V. Baron M.A. Korff, Historian. Documents from his archive. Moscow, 1996; Dolgikh E.V. Op. Cit.
44. Decembrists. Biographical Encyclopedia. M.: Nauka, 1988.
45. 1812...War Diaries. Compiled by A.G. Tartakovsky. Moscow, 1990, p. 244.
46. Tartakovsky A.G. Unsolved Barclay. Legends and True Stories of 1812. Moscow, 1996.
47. Bokova V.M. Age of Secret Societies. Russian Public Organisations of the First Third of the 19th Century. Moscow, 2003.
48. Tarasova V.M. Discussing the early pre-Decembrist organisations. N.K. Krupskaya Mari State Pedagogical Institute transactions. Vol.XV Yoshkar-Ola, 1957.
49. F.Vigel's Drafts. Moscow, 1928. Vol.II, p. 6
50. Gileson, M. I. Young Pushkin and the Arzamasian Brotherhood. Moscow, 1974.
51. Druzhinin N.M. Decembrist Nikita Muravyov. Druzhinin N.M. Selected Works. Revolutionary Movement in Russia in the 19th Century. Moscow, 1985.
52. Turgenev N.I. Russia and the Russians. Moscow, 2001.
53. Borovkova-Maykova M.S., Minutes of the Literary Club "Arzamas". L., 1926/
54. "Arzamas" and its Minutes. L., 1933.
55. Krasnokutsky V.S. "Arzamas" and its Significance in the History of Russian Literature. Extended abstract of Dissertation ... Candidate of Philological Sciences. Moscow, 1974.
56. Mayofis M.L. Appeal to Europe. Literary Society "Arzamas" and Russian Modernization Project of 1815 - 1818. Moscow, 2008.
57. Pushkin A.S. Essays. Moscow, 1949.
58. Veresaev V.V. Pushkin's Companions. Moscow, 1993, Vol.I/
59. Modzalevsky V.L.To the History of the Green Lamp. Decembrists and their Time. Ed. 1. Moscow, 1932.
60. Shchegolev P.E. Pioneers of Russian Freedom. Moscow, 1987.
61. Popov, N. Liberalism of the Nobility. 1935.
62. Bazanov V. Free Society of Russian Literature Lovers. Petrozavodsk, 1949.
63. Vasilchikov A.A. Razumovsky Family. Vol.II. St.Petersburg, 1880.
64. Rozhdestvensky S.V. Historical Review of the Ministry of Public Education. 1802 - 1902. St.Petersburg, 1902.
65. Nikolai Mikhailovich. Emperor Alexander I. Historical Research Experience. St. Petersburg, 1912, Vol.I.
66. Belyaev A.P. Decembrist's Memories of the Experienced and Over-felt. St.Petersburg, 2009.

*Белов Алексей Викторович,  
кандидат исторических наук,  
старший научный сотрудник ИРИ РАН*

## **СУДЬБА ГОРОДА И ЕГО ДУХОВНЫХ СВЯТЫНЬ, ОКАЗАВШИХСЯ НА ПУТИ АРМИИ ВТОРЖЕНИЯ: МОЖАЙСК И ЛУЖИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ В 1812 ГОДУ**

**Аннотация:** Статья посвящена эпохе наполеоновских войн и посвящена Великой Отечественной войне 1812 года и судьбам города Можайска. В исследовании обсуждается его роль и состояние в военное время. Автор также уделяет внимание святыням и объектам поклонения, в том числе Лужецкому монастырю. В документе приводится подробная оценка действий захватчиков и защитников, а также данные о потерях и повреждениях культурного наследия.

**Ключевые слова:** Великая Отечественная война 1812 года, город Можайск, объекты культа, Лужецкий монастырь, потери и повреждения.

В эпоху отечественной войны 1812 г. на пути всей Великой армии Наполеона оказался небольшой провинциальный Можайск. Город сыграл роль в ходе подготовки и проведения Бородинского сражения. На его территории велись работы по комплектованию вновь пребывавших сил российской армии. Помимо этого шла большая тыловая работа: с 22 по 26 августа здесь функционировали военные госпитали, куда прибывали раненные из-под Бородина, устраивались армейские магазины, располагались различные воинские учреждения [7, с. 472]. Монахи «подгородного» Лужицкого монастыря пожертвовали две тысячи рублей «на пользу больных и раненных русских воинов», за что получили благодарность от М. И. Кутузова [3, с. 65], а также разрешение на «свободный и беспрепятственный пропуск» по всей стране с правом «где понадобится подводы все давать безоговорочно и словом – делать все вспоможение» [3, с. 139]. В условиях острой нехватки транспорта такое распоряжение было более чем важно.

После оставления Бородинского поля русская армия тремя колоннами подошла к Можайску. Достигнув города, армейские части обошли его с двух сторон. Жители, узнав об отступлении русских войск, практически в полном составе оставляли свои дома, бросая, по сути, все имущество.

По воспоминаниям современника, проходящие через город части в основном соблюдали порядок и дисциплину. Пойманного на мелком воровстве солдата (забрал в одном из оставленных жителями домов «разные пожитки»), «остановили и дали приказ расстрелять». Но решение это, по замечанию свидетеля происшествия, было сделано «более для острастки. И казнь не была совершена» [2, с. 207].

Будучи хоть и древним, но небольшим и не особенно богатым уездным центром, Можайск представлял собой типичный русский городок. К главным функциональным качествам его (помимо обслуживания культа святителя Николы Можайского и паломников) относилась роль рядового административного центра и регионального рынка. В период же нашествия оставленный

жителями Можайск занял ключевое место в системе тыла Наполеоновской армии. Уезжая из города 31 августа, император оставил здесь части 8-го армейского корпуса Ж. А. Жюно, в обязанности которых вменялся контроль ближайших и наиболее уязвимых тылов наступающей армии, а также обеспечение работы транспортных коммуникаций. Таким образом, Можайску отводилась важнейшая роль: он объявлялся главной базой «Великой» армии близ Москвы, занимая место на дороге к Смоленску и далее к Европе.

Кроме того, город превратился в крупнейший тыловой лазарет неприятельской армии. Как отмечал очевидец, в эти дни Можайск стремительно заполнился ранеными [11, с. 252], «... офицеры и солдаты – все направились туда в поисках медицинской помощи...» [4, с. 133-134]. Другой современник тех событий капитан Франсуа писал: «Мы находим здесь громадную массу раненых, как русских, так и французов» [11, с. 252].

Когда же русские войска погнали Наполеона из России и, преследуя его, вновь вернулись в Можайск, первое, что бросилось им в глаза – полное отсутствие местного населения, разорение буквально всего оставленного обывателями имущества [12] и колоссальное количество мертвых тел («уцелевшие дома полны трупов» [11, с. 505, 520]). Еще при оставлении города русской армией в нем оставалось значительное число тяжелораненых, подавляющая часть которых не выжила, и тела их были уничтожены или свалены на окрестных полях. «Великая» армия, покидая город, также бросала здесь смертельно раненных и инвалидов, а также оставила непогребенными сотни мертвых животных и людей. В итоге, с наступлением весны, сходом снега, разрывающими неглубокие могилы тальми водами, многие останки оказались на поверхности. Причем трупы в массовом порядке вновь обнаруживались непосредственно в городе: менее чем за 1 месяц (с 28 марта по 22 апреля) в Можайске подняли 598 человеческих и 253 лошадиных тел. Их находили в прудах, погребках, сугробах, на огородах между грядами. Обеспокоенный опасностью повторения эпидемии Главнокомандующий Москвы Ф. В. Ростопчин приказал 7 апреля закончить все работы к 1 мая, что и было сделано [1, с. 261].

Отступавшие из Можайская неприятельские солдаты сжигали все, в том числе и храмы. К моменту вступления Наполеона в городе было 9 приходских церквей: 4 каменных и 3 деревянных. Отступая, его солдаты поджигали город и полностью сожгли все 3 деревянные церкви. Каменные храмы (Никольский собор; Вознесенская, Троицкая и Иоакимовская церкви) также полностью выгорели изнутри [1, с. 254]. Сгорел «вся без остатку» храм Богоматери Ахтырской, была «сожжена неприятелем» Покровская в Ямской слободе и Успенская церкви [9, с. 328].

Большой ущерб был нанесен и главному, тогда еще недостроенному, Никольскому собору, в котором сгорели иконостасы, «даже висевшие в особом отделении колокола, по случаю не достройки колокольни на каменных столбах от пожара упали, повредились». Несмотря на масштабы бедствия, икона Святителя Николая Чудотворца осталась неповрежденной. Была спасена и драгоценная утварь, заблаговременно спрятанная в особой кладовой

[5, с. 10]. В сентябре 1813 г. жена участника войны 1812 г. капитана И. П. Цвилинева передала в собор 15 предметов, украденных из его ризницы неприятелем и отбитых впоследствии русскими солдатами [6, с. 9].

После освобождения власти пыталась наладить функционирование церквей. В рапорте от 27 февраля 1813 г. благочинного городских церквей и Николаевского собора протопопа Георгия сообщалось: «Мною освещены приделы в городе Можайске в Николаевском соборе во имя Скорбящей Божей матери, градских церквях – Иоанна Предтечи, Вознесенской – Святой мученицы Параскевы, Иоакимовской – Ахтырской Божей матери» [9, с. 333]. Но особую трудность в этом деле вызывало разорение духовенства. В огне погибли дома и хозяйства церковнослужителей. По сообщению пономаря Ахтырской церкви Алексеева находящиеся при храме «священно- и церковнослужителей дома неприятелем все без остатку сожжены». В пожаре погиб фруктовый сад, принадлежавший можайскому священнику Дионисию [9, с. 328]. Сокращение числа городских жителей, делало невозможным содержать прежний состав священно- и церковнослужителей.

Особое место в духовной жизни города занимал подгородный Лужицкий монастырь. Занявшие его солдаты 8-го армейского корпуса Жюно, оценили крепостные качества обители и использовали ее как опорный и хозяйственный пункт. Для обороны неприятельскими солдатами «в стенах и ограде» было пробито «до 220 амбразур», «в которых во всех поставлены пушки» [3, с. 137]. Некоторые из них были хорошо видны в конце XIX в. [3, с. 66], а иные и сегодня [5, с. 7].

Вернувшиеся в свою обитель монахи увидели, что «монастырь весь завален мертвым скотом, который при побеге французами был расстрелян» [3, с. 137]. Территория и здания оказались «приготовлены к разрушению»: в многочисленных местах отступавшие солдаты разложили мешки с порохом и подожгли соборный храм. Уничтожение не произошло только благодаря усилиям одного «из штатных сего монастыря» Ивана Матвеева. Ему удалось избежать неприятельского плена, и по удалению французов и их союзников из обители, успеть туда до взрыва и, рискуя, оттащить мешки подальше от огня [3, с. 67].

Запалив главный Рождественский храм начала XVI в., оккупанты не смогли уничтожить каменный собор, но в огне погибли иконостас и бывшие в нем предметы, росписи на стенах и одной из глав. Буквально чудесным образом не пострадали бывшая в алтаре запрестольная икона Богоматери и запрестольный деревянный крест с резным распятием [3, с. 67].

Всего в обители находился постоянный гарнизон из предположительно четыре тысячи человек. Во Введенской церкви интервенты устроили казарму. Здесь же мелилась рожь, а в нижний этаж, кельи братии и настоятеля использовались как конюшня. Лошадей поместили также и на конный двор. Храм Ферапонта был превращен в столярную и в изобилии был забит стружкой. Оставшиеся в монастыре часть ризницы, библиотеки, подсвечники разграбили, разбили и изорвали [3, с. 66-67]. Надгробный образ Ферапонта снесли, раку, балдахин, иконостас и святые образа оказались все целы, но престол

и жертвенник пропали. Уцелел иконостас в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, но неприятельские солдаты по-видимому ради развлечения во множестве вбили в образа железные гвоздей [3, с. 137]. Стулья и мебель все были переломаны или разграблены. Вся посуда (медная, оловянная, каменная) унесена [3, с. 140].

Монастырский архив «дела писменные» наполеоновские солдаты использовали в качестве туалетной бумаги: «все по нужникам и в навозе валяются», – писал в своем докладе монастырский казначей Иоасаф. Монастырская библиотека («книгохранительница») была «разбита и вся в беспорядке изорвана». Некоторые из томов находили среди людского кала («даже и в навозе находили») [3, с. ]0140.

Радость отшельникам доставило то, что в монастыре уцелела колокольня с колоколами («все целы и не повреждена») [3, с. 140].

В 1813 г. на восстановление обители государство («от казны») выделило 10 тыс. руб. ассигнациями [3, с. 67].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болдина Е. Г. Западные уезды Московской губернии после освобождения (ноябрь 1812 – март 1813 года) // «Сей день пребудет вечным памятником». Бородино 1812-2012. Материалы Международной научной конференции, 3-7 сентября 2012 г. / Сост. А.В. Горбунов. Можайск, 2013.
2. Вяземский П. А. Воспоминания о 1812 годе // Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. Т. VII. 1855-1877 гг. СПб., 1882. С. 207.
3. Дионисий (Виноградов Д. П.), архимандрит. Краткая летопись Лужецкого второклассного монастыря с 1708 по 1892 год. М., 1892.
4. Коленкур А. де Поход Наполеона в Россию. Смоленск, 1991.
5. Куценко Е. В., Рязанов А. М., Ушаков В. К. 1812 год в Подмосковье – Альбом. М., 2002.
6. Куценко Е. В., Рязанов А. М., Ушаков В. К. Отечественная война 1812 года в Подмосковье. – Альбом. М., 2011.
7. Малышкин С. А. Можайск // Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004. С. 472.
8. Кутузов М.И. Сборник документов. Т. IV. Ч. 1 (июль – октябрь 1812 г.). М., 1954.
9. Прохоров М. Ф. Можайск после Отечественной войны 1812 года // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы XIII Всероссийской научной конференции. Бородино, 5-7 сентября 2005 г. Бородино, 2005.
10. Федоров В.Н. Можайск в Отечественную войну 1812 года // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы научной конференции «Отечественная война 1812 года». 1995-1997. Бородино, 1997.
11. Французы в России: 1812 год в воспоминаниях современников-иностранцев [сборник]: в 3 ч. Ч. 1-2. М., 2012.
12. Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 20. Оп. 2. Д. 1540. Л. 1-286.

# THE FATE OF THE CITY AND ITS SPIRITUAL SANCTUARIES IN THE PATH OF THE INVASION ARMY: MOZHAYSK AND THE LUSATIAN MONASTERY IN 1812

*Belov A.V.*

*PhD, the Russian History Department*

*Russian Academy of Sciences (RAS)*

**Abstract:** The paper addresses the era of Napoleon's wars and focuses on the Great Patriotic war of 1812 and the fates of the city of Mozhajsk. The study discusses its role and state during the wartime. The author also pays attention to the sanctuaries and objects of worship, including Luzhitsky monastery. The paper provides detailed assessment of invaders and defenders's actions as well as the data on losses and damages of cultural heritage.

**Keywords:** Great Patriotic war of 1812, city of Mozhajsk, objects of worship, Luzhitsky monastery, losses and damages.

At the time of the Patriotic War of 1812, a small provincial town named Mozhaysk found itself on the path of Napoleon's Grand Army. The city had played an important role in the preparing and fighting of the Borodino battle. On its territory, the recruitment of the newly arriving Russian army was carried out. In addition, there was a lot of logistics work. Military hospitals operated here between August 22 and 26, with wounded from near Borodin arriving, army stores were arranged, and various military establishments were located [7, p.472]. The monks of the "suburban" Lusatian monastery donated two thousand rubles "for the good of the sick and wounded Russian soldiers", for what they were thanked by M.I. Kutuzov [3, p. 65], and also a permit for "free and unhindered passage" throughout the country, with the right to "where required a lift provide unconditionally and in word - do all aids" [3, p. 139]. In circumstances of an acute shortage of transport, this order was more than crucial.

Following the abandonment of the Borodino field, the Russian army approached Mozhaysk in three columns. Upon reaching the town, the army units bypassed it from two sides. Citizens, having found out about the retreat of Russian troops, almost entirely left their homes, basically giving up all their belongings. According to the recollections of a contemporary, the units passing through the town were largely orderly and disciplined. The soldier was caught stealing (he took "various belongings" from one of the houses left by the civilians), was "stopped and given an order to be shot". But this decision, according to a witness to the incident, was made "more as a show-off. And the execution was not carried out" [2, p. 207].

Although ancient, small, and not particularly wealthy county center, Mozhaysk was a typical Russian town. Its major functional features (in addition to serving the cult of St. Nicholas of Mozhaysk and pilgrims) involved the role of an ordinary administrative center and a regional market. During the invasion, Mozhaysk, abandoned by its inhabitants, took a key spot in the system of the rear of Napoleon's army. Leaving the city on August 31, the Emperor left here the units of the 8th Army Corps of J. A. Junot, which was responsible for the control of the



nearest and most vulnerable rear of the advancing army, as well as for ensuring the operation of transport communications. Thus, Mozhaysk was assigned the most important role: it was declared the main base of the "Great" army near Moscow, occupying a place on the road to Smolensk and further to Europe.

Furthermore, the city became the largest rear infirmary of the enemy army. As noted by an eyewitness, in those days Mozhaysk was rapidly filled with wounded [11, p. 252] ... officers and soldiers, everyone went there in search of medical care ...". [4, p. 133-134]. Another contemporary of those events Captain Francois wrote: "We see here a huge mass of wounded, both Russian and French" [11, p. 252].

However, when the Russian troops drove Napoleon out of Russia and returned to Mozhaysk in pursuit of him, the first thing that caught their eye was the total absence of the local population, the devastation of literally all the property left by the inhabitants [12] and the enormous number of dead bodies ("the surviving houses are full of corpses" [11, p. 505, 520]). Even when the Russian army abandoned the city, a significant number of seriously wounded were still there, the vast majority of whom did not survive, and their bodies were destroyed or dumped in the surrounding fields. The "Great" army, leaving the city, also abandoned the mortally wounded and disabled here, as well as leaving hundreds of dead animals and people unburied. As a result, with the onset of spring, snowfall, and meltwater ripping into shallow graves, many machines were on the surface. And corpses were massively re-discovered in the city itself. In less than a month (from March 28 to April 22) 598 human and 253 horse bodies were found in Mozhaysk. They were unearthed in ponds, cellars, snowdrifts, and in gardens between ridges. The Commander-in-Chief of Moscow F.Rostopchin, concerned about the danger of recurrence of the epidemic, gave an order on 7 April to finish all the works by 1 May, whereupon was done [1, p. 261].

The enemy soldiers retreating from Mozhaysk burned everything, including churches. By the time Napoleon entered the city, there were 9 parish churches, 4 stone and 3 wooden. During the retreat, the soldiers, setting the city on fire, completely burned all 3 wooden churches. Stone churches (Nikolsky cathedral; Ascension, Trinity, and Joachimov churches) were also completely burnt from inside [1, p. 254]. The church of Our Lady of Akhtyr was burned down "without a trace", the Church of the Intercession in Yamskaya Sloboda, and the Church of the Assumption were "burnt down by the enemy" [9, p. 328].

Considerable damage was also inflicted to the main, then under-construction St. Nicholas Cathedral in which the iconostasis was burned, "even the bells which were hanging in the special compartment, because of the failure to complete the belfry on stone columns fell from the fire and were damaged". Despite the scale of the disaster, the icon of St. Nicholas the Wonderworker remained intact. The precious utensils, hidden in a special pantry in advance, were also spared [5, p. 10]. In September 1813 the wife of Captain I.P. Tsvilinev, a participant in the War of 1812, handed over to the cathedral 15 items stolen from the sacristy by the enemy and subsequently taken away by Russian soldiers [6, p. 9].

After the liberation, the authorities tried to establish the functioning of the churches. In the report from February 27, 1813, the dean of city churches and Nikolaevsky cathedral Protopop Georgiy informed: " I have consecrated aisles in the city of Mozhaysk in Nikolaevsky cathedral in the name of the Mourning mother of God, town churches - John Baptist, Ascension - Saint martyr Paraskeva, Joachimovskaya - Achtyrskaya mother of God " [9, p. 333]. However, the devastation of the clergy caused a special difficulty in this case. Houses and households of church officials perished in the fire. According to the report of the sexton of Akhtyrskaya church Alekseev, the houses of clergy and churchmen under the church "were all burned down by the enemy without a trace". The fire destroyed an orchard belonging to the priest Dionysius of Mozhaysk [9, p. 328]. The shrinking number of city dwellers made it impossible to maintain the former number of priests and clergy.

A particular role in the spiritual life of the city was held by the suburban Lusatian monastery. The soldiers of the 8th Army Corps of Junot, who occupied it, appreciated the fortress qualities of the monastery and exploited it as a stronghold and economic center. For defense by enemy soldiers "in walls and a fence" it has been broken through "to 220 embrasures", "in which in all guns have been put" [3, p. 137]. Some of them were seen at the end of the 19th century. [3, p. 66], and some of them are still there today [5, p. 7].

The monks who returned to their monastery saw that "the monastery was covered with dead cattle, which had been shot by the French during their escape" [3, p. 137]. The territory and buildings were "prepared for destruction": in numerous places, the retreating soldiers spread bags of gunpowder and set fire to the cathedral church. The destruction did not occur only due to the efforts of one "of the staff of this monastery" Ivan Matveev. He managed to avoid enemy captivity, and on the departure of the French and their allies from the monastery, managed to get there before the explosion and, risking, to drag the sacks away from the fire [3, p. 67].

When the main Nativity Church of the early 16th century was set on fire, the invaders could not destroy the stone cathedral, but the iconostasis and items that were in it, paintings on the walls, and one of the chapels were destroyed in the fire. Literally, miraculously the icon of Our Lady on the altar and the wooden cross with a carved crucifix that was in the altar did not suffer [3, p. 67].

Altogether in the monastery was a permanent garrison of presumably four thousand people. In the Vvedenskaya church, the interventionists set up a barracks. The rye was also milled here, and the lower floor, the cells of the brethren and the abbot were used as stables. Horses were also placed in the equestrian yard. Ferapont's temple was converted into a carpentry room and was abundantly stocked with shavings. The part of sacristy, library, candlesticks left in a monastery was plundered, smashed, and vandalized [3, p. 66-67]. Tomb image of Ferapont has been taken down, refectory, canopy, iconostasis, and sacred images have appeared all intact, but the altar and sacristan have disappeared. Iconostasis in the church of Entrance in the Temple of Holy Virgin has survived, but enemy soldiers apparently for the sake of entertainment have hammered into images with iron nails in plenty

[3, p. 137]. Chairs and furniture were all broken or looted. All utensils (copper, pewter, stone) were taken away [3, p. 140].

Napoleon's soldiers used the monastery's archives as toilet paper, "all in the latrines and the dung," the monastery treasurer Joasaph wrote in his report. The monastery library was "broken and all in disarray". Some of the volumes were found among human feces ("even found in the dung") [3, p. 140]

The hermits were happy that the monastery bell tower remained unharmed ("all intact and not damaged") [3, p. 140].

In 1813 the state ("from the treasury") allocated 10 thousand rubles in assignments for the restoration of the monastery [3, p. 67].

## REFERENCES

1. Boldina E. G. Western uyezds of the Moscow province after liberation (November 1812-March 1813) // "This day will remain an eternal monument". Borodino 1812-2012. Materials of the International Scientific Conference, September 3-7, 2012 / Comp. A.V. Gorbunov. Mozhaisk, 2013.
2. Vyazemsky P. A. Memories of 1812 // Vyazemsky P. A. The complete collection of works. Vol. VII. 1855-1877. St. Petersburg., 1882. p. 207.
3. Dionysius (Vinogradov D. P.), Archimandrite. A brief chronicle of the Luzhetsky second-class monastery from 1708 to 1892. Moscow, 1892.
4. Caulaincourt A. de Napoleon's campaign in Russia. Smolensk, 1991.
5. Kutsenko E. V., Ryazanov A.M., Ushakov V. K. 1812 in the Moscow region-Album. Moscow., 2002.
6. Kutsenko E. V., Ryazanov A.M., Ushakov V. K. The Patriotic War of 1812 in the Moscow region. - Album.: M., 2011.
7. Malyshkin S. A. Mozhaysk // The Patriotic War of 1812. Encyclopedia. M., 2004. p. 472.
8. Kutuzov M. I. Collection of documents. Vol. IV. Part 1 (July – October 1812). M., 1954.
9. Prokhorov M. F. Mozhaysk after the Patriotic War of 1812 // The Patriotic War of 1812. Sources. Monuments. Problems. Materials of the XIII All-Russian Scientific Conference. Borodino, September 5-7, 2005, Borodino, 2005.
10. Fedorov V. N. Mozhaysk in the Patriotic War of 1812 // The Patriotic War of 1812. Sources. Monuments. Problems. Materials of the scientific conference "The Patriotic War of 1812". 1995-1997. Borodino, 1997.
11. The French in Russia: 1812 in the memoirs of foreign contemporaries [collection]: in 3 parts 1-2. M., 2012.
12. The Central State Archive of Moscow (CGA of Moscow). F. 20. Op. 2. d. 1540. l. 1-286.

*Мельников Георгий Павлович,  
доцент кафедры славяноведения и культурологии  
Института славянской культуры РГУ имени А.Н. Косыгина  
ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН*

## **ВОЙНА И КУЛЬТУРА: ОПЫТ ЭПОХИ ГУСИТСКИХ ВОЙН**

**Аннотация:** Война активизирует определенные функции культуры, сама порождает собственную субкультуру («культура войны») и может инициировать принципиальные инновации в сфере идеологии. Очень ярко весь комплекс проблем, связанных со взаимоотношениями войны и культуры в славянском регионе, проявился в ходе Гуситских войн в Чехии, которые продолжались с 1420 по 1436 г. Инновационность Гуситских войн заключалась в том, что в политической культуре они утвердили понимание войны как вооруженной формы борьбы идеологий. Гуситские войны являются первыми в христианском мире войнами за «истинное учение Христово», а не во имя достижения территориально-династических целей. Война для гуситов — дело богоугодное, более того, необходимое для спасения души. Как во время почти каждой войны, в период Гуситских войн происходит взаимный культурный обмен. Гуситские войны наряду со всем гуситским движением стимулировали возникновение нового типа культуры в Европе, который через столетие, после возникновения учений Лютера и Кальвина, назовут протестантским.

**Ключевые слова:** средние века, Гуситские войны, гуситы, культура, Чешское королевство, социум, гражданская война, протестантизм

Как известно, в периоды войн, как внешних, так и внутренних, гражданских, обостряется противостояние военной машины, направленной на уничтожение противника, и культуры, стремящейся сохранить и транслировать дальше конкретный историко-культурный опыт. Также хорошо известно выражение «Когда грохочут пушки, музы молчат». Однако, как показывают конкретные исследования, эти утверждения далеки от реальности. Проблемы взаимоотношений войны и культуры гораздо более полиаспектны, сложны по структуре и содержанию. Война активизирует определенные функции культуры, сама порождает собственную субкультуру («культура войны») и может инициировать принципиальные инновации в сфере идеологии. Очень ярко весь комплекс проблем, связанных со взаимоотношениями войны и культуры в славянском регионе, проявился в ходе Гуситских войн в Чехии, которые продолжались с 1420 по 1436 г.

До этого в Европе в отношении войны господствовала доктрина св. Августина о справедливых (оборонительных) и несправедливых (захватнических, агрессивных и т.п.) войнах. Вооруженные действия между вассалами и сюзеренами рассматривались в плане феодальных взаимоотношений, нарушения верности и т.д. Крестовые походы и Реконкиста трактовались как вооруженная борьба христианства с агрессией ислама, т.е. как войны межрелигиозные. Войны внутри христианского мира воспринимались как войны со схизматиками (IV Крестовый поход и разгром Византии) или как подавление движений еретиков в католическом мире (Альбигойские войны и др.).

Инновационность Гуситских войн заключалась в том, что в политической культуре они утвердили понимание войны как вооруженной формы борьбы идеологий. Конфликт начался как еретическое с точки зрения католической церкви и верховной светской власти движение последователей казнённого в 1425 г. по приговору Констанцкого собора чешского проповедника Яна Гуса. Его последователи — гуситы (синонимы — утраквисты, подобои, чашники), избравшие своим символом чашу для причастия, сосредоточились на критике Римской церкви как погрязшей в грехах и обратились к практике раннего христианства, к так называемой апостольской церкви. Гусизм стал реформационным движением, причем первым в истории Европы. Гусизм сразу же приобрел политический аспект, не говоря о социальном, так как встал вопрос о соотношении королевской власти и реформации в Чешском королевстве. Неприятие Сигизмундом Люксембургом требований чешских сословий признать гуситскую конфессию как закон страны, послужило началом Гуситских войн, которые представляли собой комплекс интервенции и гражданской войны. Гусизм в целом и Гуситские войны основательно изучены чешской исторической наукой. Апогеем гуситологии стал монументальный труд Ф.Шмагеля «Гуситская революция» [7], к которому мы и отсылаем читателя. Мы же сосредоточимся на аспектах, связанных с политической, идеологической, религиозной, литературной и художественной культурой.

Собственно говоря, Гуситские войны являются первыми в христианском мире войнами за «истинное учение Христово», а не во имя достижения территориально-династических целей. От войн против еретиков (Альбигойские войны прежде всего) их отличает то, что они охватили всё государство и начались с ультимативного требования к королевской власти признать основные требования гуситов как законы страны. Таким образом религиозно-реформационный и политический аспекты объединились, что обеспечило уникальность гусизма в политической культуре Европы.

Осознание гуситами себя как истинных христиан, несущих неискаженную папским Римом правду Христову всем людям, привело к возникновению у гуситов сознания своей богоизбранности и своего мессианизма [1, с. 80]. Из этой логики следовало, что те, кто борется с гуситами, являются противниками Христа или же просто плохими христианами. Воюя с ними, гуситы вооруженным способом защищают истинную веру, поэтому их война справедлива и даже богоугодна. Таким образом происходит сакрализация войны. Это нашло прямое выражение в одной из первых и самых знаменитых гуситских песен, сочинённых в Праге в 1420 г., — «Povstaň, povstaň město veliké Pražské» («Восстань, восстань великий город Прага») [5, s. 96]. В этой песне Прага уподобляется ветхозаветному Иерусалиму, а Сигизмунд Люксембург — царю Вавилона, то есть против богоизбранного народа выступает враг, язычник, несущий религиозное и государственно-политическое порабощение.

С противоположной стороны (Сигизмунд и Римский папа) гуситы обвиняются в нарушении легитимности власти церковной и светской; восстав-

шие объявляются еретиками и бунтовщиками, поэтому, если они не покорятся, они подлежат полному уничтожению.

Формируется культура конфессионально-идеологическо-политического противостояния, в которой на первое место выходят понятия «истинной веры» и богоизбранности. Война для обеих враждующих сторон становится «войной священной», то есть войной с противниками истинного Бога, иными словами, превращается в сакральный феномен. Теологическое обоснование справедливости такой войны для гуситов находится в Ветхом Завете, в Книгах Маккавеевых, где обосновывается справедливость войны в защиту истинной веры против тирана-узурпатора.

Война для гуситов — дело богоугодное, более того, необходимое для спасения души. Отсюда происходит известный тезис, приписываемый гуситскому священнику Вацлаву Коранде: Не обagrивший меча [в крови врагов божьих — Г.М.] да не спасется!» [7, III, s. 15]. Из этого экстремистского призыва следовала крайняя нетерпимость и жестокость, проявлявшаяся в ходе Гуситских войн. Причем эту крайнюю жестокость в обращении с представителями враждебной стороны и с мирным сельским населением, находящимся на территории врага, проявляли обе стороны, боровшиеся за чистоту веры в их собственном понимании. Присущее христианству как религии осуждение насилия в Средние века вообще не воспринималось как указание для реальной жизни, поэтому жестокость гуситских и императорских войск соответствовала нравам эпохи, но всё же она принимала экстремальные формы из-за крайней религиозной идеологизации Гуситских войн. Политические компромиссы были возможны, они предлагались умеренными гуситами, но постоянно (до 1424 г.) отвергались Сигизмундом. Лишь исчерпанность сил обеих сторон, разорение страны, усилия соборного движения по сохранению единства католического мира и конфликты между гуситами умеренными (пражанами) и леворадикальными (табориты) привели к окончанию Гуситских войн на основе Базельских компактатов как к компромиссному решению религиозно-церковного и военно-политического конфликта.

В ходе Гуситских войн общественно-политическая мысль гуситов обогатилась новым направлением — национально-патриотическим. У гуситов сакральная («священная») война, в гуситской терминологии — война «за правду божью», весьма быстро под давлением военно-политических событий трансформировалась в национально-патриотическую, направленную против немцев. Чешские немцы по непонятным для современных историков причинам не приняли гусизм и солидаризировались с немцами — крестоносцами армий Сигизмунда. Это обусловило цельное восприятие немцев гуситами как нации, противостоящей чехам, являющимся истинными христианами. Этнические границы совместились с религиозными. Католик (точнее, папист), захватчик и немец — эти категории в сознании и пропаганде гуситов становились синонимичными. Первоначальный сакральный топос гусизма трансформируется в национальный, ибо, как говорил один из главных идеологов гуситов магистр Якоубек из Стршбры, «Милосердный Господь изволил открыть правду прежде всего этому чешскому народу», чтобы через него вер-

нуть весь христианский мир к истинной вере и правде [3, d. 1, s. 121]. Так идея богоизбранности становится главным идентификатором национального самосознания чехов-гуситов. Идеологема национальной богоизбранности чехов отражена во многих текстах разной жанровой принадлежности [1, с. 77-113].

Как во время почти каждой войны, в период Гуситских войн происходит взаимный культурный обмен. Межкультурная коммуникация приобретает специфическую направленность, осуществляясь по принципу заимствования полезного и привлекательного у врагов несмотря на общее враждебное отношение к их культурному багажу. Так, гуситы — первые протестанты и иконоборцы, заимствуют у чешской национально-исторической католической традиции культ чешских земских святых князя Вацлава и аббата Прокопа Сазавского, учитывая их патриотическое, а у Прокопа антинемецкое значение. Гуситская церковь, так организационно и не отмежевываясь от Римской католической церкви, создает культ своих, гуситских святых Яна Гуса и Иеронима Пражского по образу и подобию раннехристианских мучеников. Поскольку обоим лидерам гусизма были сожжены на костре с согласия императора Сигизмунда, то их смерть за «правду божью» приравнивается к подвигу христианских первомучеников, а император Сигизмунд соответственно предстает почти как языческий император — гонитель истинных христиан. Это наглядно проявилось в иконографии гусизма, подробно исследованной только в начале XXI в. [8, s. 81-174; 2, s. 99-224].

В процессе военного противостояния всех гуситов и католиков, а также пражан и таборитов, количественно резко возрастает и приобретает более агрессивное звучание полемическая литература. Из религиозно- и церковно-полемической она довольно быстро становится агитационно-пропагандистской. Появляется жанр собственно агитационной литературы и прокламации — так называемые прелестные грамоты гуситов, создававшиеся для привлечения местного населения на свою сторону во время «прелестных походов» таборитских войск в соседние страны. Также возникают антигуситские публицистические тексты католиков, как своих, чешских, так и германских. Такой войны текстов, сопровождающей войну реальную, история европейских войн еще не знала.

Впервые в истории европейской культуры появляется новый жанр — гуситские песни как синтез хорала, военно-походной песни и народного мелоса, что впервые показал в своем фундаментальном исследовании «История гуситского пения» З.Неедлы, сделавший гуситские песни достоянием мировой культуры [6]. Собственно говоря, появляется и в пражской бюргерской среде, и у таборитов новая форма гимна, соединяющая две сферы — светскую и сакральную, при этом собственно военная тема сакрализуется. В этом смысле знаменитая песня «Священная война» (стихи В.И.Лебедева-Кумача, музыка А.В.Александрова), ставшая звуковым олицетворением Великой Отечественной войны, мелодия которой еще во время Первой мировой войны, является культурно-генетическим полтомком гуситских песен.

Гуситские войны инициируют возникновение жанра «новой истории» в чешском средневековом историописании. Ставшая знаменитой «Гуситская хроника» Вавржинца (Лаврентия) из Бржезовой посвящена описанию недавних событий, интерпретируемых весьма ангажированно с позиций умеренных гуситов. Собственно, исторические хроники в это время не создаются, а «новая история» дополняется житиями Яна Гуса и Иеронима Пражского, написанных в основном по воспоминаниям современников.

Война порождает новые формы собственно военной культуры. В ходе Гуситских войн сформировалась особая тактика применения боевых воев, активно применявшаяся Яном Жижкой. Был составлен «Военный кодекс» Жижки, в котором излагались новые принципы организации войска, состоявшие в строгом единоначалии, взаимопомощи воинов во время сражения и их взаимовыручке. Также было дано четкое идеологическое обоснование целей войны. Возникло единое, без средневекового дробления на отдельные отряды со своими командирами войско «божьих воинов», сражающихся за высшую сакрально-национальную идею, определяемую как «божественный закон». Это, конечно, трансформация средневекового понимания рыцарей как «*milites Dei*», «божьих воинов», но очень существенная. Привилегированным воинством становятся все воины, ведущие борьбу за установление «божьего закона». Эти идеи наиболее концентрированно переданы в песне, ставшей гимном таборитов и олицетворением гусизма в целом, — «*Ktož jśú boží vojovníci*» («Кто есть божи воины») [5. s. 96]. Также к военным инновациям таборитов относится применение в бою крестьянских сельскохозяйственных орудий — цепов для молотбы, которыми в ходе боя воины-гуситы дробили головы рыцарей, защищенных от обычного оружия шлемами.

Война порождает экстремальные антигуманные способы уничтожения живой силы противника и даже мирного населения, проживающего на вражеской территории. Можно сказать, что именно в ходе Гуситских войн возникает феномен и понятие «ужасы (бедствия) войны», поскольку таких ужасных расправ с врагами и мирным населением, такого масштабного разорения страны европейские войны Средневековья не знали. Топос «ужасов войны» будет реактуализирован в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648), затем он займет свое место в искусстве начиная с одноименных графических циклов Ж.Калло и Ф.Гойи, особенно же в произведениях, связанных с Первой и Второй мировыми войнами. В этой связи следует напомнить, что применявшаяся немецкой армией в начале 1940-х гг. карательная тактика уничтожения населения деревни, когда людей сгоняли в сарай или амбар, а затем его поджигали с четырех концов, впервые в военной практике была применена именно в ходе Гуситских войн.

Именно Гуситские войны создали социально-политический феномен гражданской войны, расколовший социум (в данном случае чешский) по религиозно-идеологическому критерию. Уже не феодалы воюют друг с другом, стремясь захватить земли соседа, а войска объединенных гуситов воюют с войсками чешских католиков, также радикальные гуситы воюют с умеренными, уничтожая друг друга в стремлении доказать мечем свою истинность в



стремлении к политическому доминированию. Таким образом кардинально меняется политическая культура Европы, поскольку происходит совмещение идеологием власти и высшей, «божьей» правды. Произошла идеологизация войны, чего ранее в европейской политической культуре не наблюдалось.

В связи с этим в общественном сознании существенно трансформируется понимание воина. Он приобретает определенные сакральные черты как защитник истинного христианства внутри христианского мира. Этот процесс с предельной наглядностью проявился в миниатюрах знаменитого Йенского кодекса (рубеж XV-XVI вв.). На миниатюре, изображающей войско таборитов во главе с Яном Жижкой, впереди войска идет священник Ян Чапек с монстрацией как символом божьего благословения своему воинству, а под миниатюрой написан текст гимна «Кто есть божьи воины». На другой миниатюре, условно называемой «Чешский Рай», где перед Богом-Отцом предстоят святые, чехов представляет не Ян Гус, как следовало бы ожидать, а гуситский полководец, суровый воин Ян Жижка [4, d. 2, s. 97,169].

Идеологически-конфессиональное размежевание в Чехии парадоксальным образом активизировало чувство этнической общности, чего, кстати, потом не проявилось ни во время Гражданской войны между королем и парламентом в Англии XVII в., ни во время Гражданской войны в России в XX в. Чехи же в XV в., осознавая свою конфессиональную раздвоенность, сокрушались по этому поводу и после окончания Гуситских войн, особенно во время правления Йиржи из Подебрад (1452-1471) стремились ее преодолеть путем компромиссов [1, с. 107]. Авторы времен Гуситских войн первыми поняли, что народ разделен на две части, но в этническом плане сохраняет целостность. Очень характерно сетование автора знаменитой «Гуситской хроники» Вавржинца из Бржезовой по поводу павших в бою чехов-католиков: «Какой чех, кроме что неразумного, мог без тяжкого сердечного стона взирать на этих отборных и сильных воинов, молодых, кудрявых и красивых», лежавших мертвыми [9, t. 5, s. 441].

Гуситские войны наряду со всем гуситским движением стимулировали возникновение нового типа культуры в Европе, который через столетие, после возникновения учений Лютера и Кальвина, назовут протестантским. В частности, иконоборчество гуситов [8, s. 63-80] будет актуализировано лютеранами и кальвинистами в Германии, Швейцарии и Франции, как и многие элементы Гуситских войн. Особо следует отметить упадок архитектуры, так как не был выработан гуситский тип храма, под гуситскую конфессию переоборудовали католические костелы, к тому же в военное время не было ни средств, ни сил, ни возможностей нового церковного, как и светского строительства.

Гуситские войны остро поставили дилемму; что для человека важнее — «истинная» вера как религиозно-культурная инновация, маскирующаяся под возврат к старым, апостольским временам, или исторически проверенная ориентация на традиционные ценности, обряды, ритуалы и социальные институты, хотя весьма дискредитированные практикой католицизма. Другими словами, впервые в Европе возникает идеологический конфликт между но-

вым и старым, между прогрессом и консерватизмом. Эта дихотомия через 100 лет будет реактуализирована лютеранством, затем всем протестантизмом и станет главным содержанием европейской истории вплоть до современности.

Гуситские войны также были первым в Европе внутрехристианским религиозно-военным конфликтом, имевшем более широкое, чем церковное, содержание. Здесь очень важен аспект борьбы за политическую власть в стране, за перераспределение земельной собственности, за доминирование в сфере церковной идеологии и организации. Формируется новая идеологическая база, что привело к появлению того феномена, который мы называем информационной войной. В этом отношении Гуситские войны как феномен политической культуры стали прологом нового типа войны — идеологического, утвердившегося в Новейшее время.

Конечно, Гуситские войны нанесли огромный удар по сложившейся чешской культуре, но они же вызвали к жизни те культурные инновации, которые станут одной из основ новой чешской культуры, особенно в эпоху Национального возрождения, а в идеологическом аспекте — культуры общеевропейской.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельников Г.П. Этническое самосознание чехов и национальные проблемы в Чехии в гуситскую эпоху (конец XIV века — 1471 год) // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995.
2. Bartlová M. Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství. 1380-1490/ Praha, 2015.
3. Jakoubek ze Stříbra. Výklad na Zjevení sv. Jana. Praha, 1932.
4. Jenský kodex. Praha, 2009.
5. Lehár J. Doba husitská // Lehár J., Stich A., Janáčková J., Holý J. Česká literatura. Praha, 2002.
6. Nejedlý Z. Dějiny husitského zpěvu. 1- 6. Praha, 1954-1956.
7. Šmahel F. Husitská revoluce. 1-4. Praha, 1993.
8. Umění české reformace (1380-1620). Praha, 2010.
9. Vavřinec z Březové. Husitská kronika // Fontes rerum bohemicarum. T. 5. Praha, 1893.

*Melnikov Georgy Pavlovich*

*Associate Professor of the Department of Slavic Studies and Cultural Studies*

*Institute of Slavic Culture of the Kosygin Russian State University*

*Leading Researcher of the Institute of Slavic Studies*

*of the Russian Academy of Sciences*

## WAR AND CULTURE: THE EXPERIENCE OF THE HUSSITE WARS

**Abstract:** War uses to activate certain functions of culture and is itself generating a subculture of its own (“culture of war”) and is able to initiate cardinal innovations in terms of ideology.

Hussite wars that lasted from 1420 to 1436 in Czechia is a spectacular manifestation of the body of issues dealing with relationships of war and culture within Slavic region. Their innovativeness is due to the establishing of a tradition of understanding war, within political culture, as a military struggle between ideologies. Hussite wars are the first wars of the Cristian world in the name of «the true teaching of Christ» and not for territorial and dynastic ends. For Hussites the war is a righteous deed, even indispensable for salvation. Just as in case of almost any other war the Hussite wars` era witnesses cultural interchange. Hussite wars as the whole Hussite movement prompted an advent of a new culture`s type in Europe, which a century later, upon emerging of Luther`s and Calvin`s teachings, will be called Protestant

**Keywords:** Middle Ages, Hussite wars, Hussites, culture, Czech kingdom, social medium, Civil war, Protestantism

It is well known that in times of war, both external and internal, civil wars, the confrontation between the military machine, aimed at the destruction of the enemy, and culture, striving to preserve and further transmit a particular historical and cultural experience, becomes more acute. The expression "in times of war the Muses are silent" is also well known. However, as specific studies have shown, these statements are far from reality. The problems of the relationship between war and culture are much more diverse and complicated in structure and content. War activates certain functions of culture, generates its own subculture ("war culture") and may initiate principal innovations in the field of ideology. The whole set of problems connected with the relationship between war and culture in the Slavic region was very clearly manifested during the Hussite wars in Bohemia, lasting from 1420 to 1436.

Before this, St Augustine's doctrine of just (defensive) and unjust (invasive, aggressive, etc.) wars dominated in Europe regarding wars. Armed hostilities between vassals and suzerains were seen in terms of feudal relations, breach of allegiance, etc. The Crusades and Reconquista were treated as an armed struggle of Christianity against the aggression of Islam, i.e. as an inter-religious war. The wars within the Christian world were seen as wars with schismatics (the Fourth Crusade and the defeat of Byzantium) or as suppression of heretical movements in the Catholic world (the Albigensian Wars, etc.).

The novelty of the Hussite wars lay in the fact that they established in political culture an understanding of war as an armed form of ideological struggle. The conflict began as a heretical, from the point of view of the Catholic Church and the supreme secular power, movement of the followers of the Czech preacher Jan Hus, who was executed in 1425 by sentence of the Council of Constance. Its followers, the Hussites (synonymous with Utraquists, Podoboists, cup-bearers), who chose the communion cup as their symbol, focused on criticising the Roman Church as mired in sin and turned to the practice of early Christianity, the so-called apostolic church. Hussism became a reformation movement, the first in the history of Europe. Hussism immediately took on a political aspect, not to mention a social one, as the question of the relation between royal power and reformation in the Czech kingdom came up. The rejection by Sigismund Luxemburg of the demands of the Bohemian estates to recognize the Hussite faith as the law of the country triggered the Hussite wars, which were a combination of intervention and civil war. Hussit-

ism in general and the Hussite wars have been thoroughly studied by Czech historians. The monumental work of F. Schmagel, *The Hussite Revolution* [7], to which we refer the reader, is the apogee of Hussitology. We will focus on aspects related to political, ideological, religious, literary and artistic culture.

In fact, the Hussite wars are the first wars in Christendom for the "true doctrine of Christ" and not in the name of achieving territorial-dynastic goals. What distinguishes them from the wars against heretics (the Albigoy Wars in the first place) is that they embraced the whole state and began with an ultimatum to the royal authority to recognise the basic demands of the Hussites as laws of the land. In this way, the religious-reformist and political aspects came together, ensuring that Hussism was unique in European political culture.

The Hussites' realisation of themselves as true Christians, carrying the truth of Christ to all people, without being distorted by papal Rome, led to an awareness of their God-chosenness and their messianism [1, p. 80]. It follows from this logic that those who fight with the Hussites are opponents of Christ or simply bad Christians. By fighting them, the Hussites are defending the true faith in an armed way, so their war is just and even God-pleasing. Thus there is a sacralization of war. This is explicitly expressed in one of the first and most famous Hussite songs, composed in Prague in 1420, "Povstaň, povstaň město veliké Pražské" (Rise, rise great city of Prague) [5, s. 96]. In this song, Prague is likened to the Old Testament Jerusalem and Sigismund Luxemburg to the king of Babylon, i.e. the enemy, the pagan, who brings religious and state-political enslavement, stands against the God-chosen people.

On the other side (Sigismund and the Pope), the Hussites are accused of violating the legitimacy of ecclesiastical and secular authority; the rebels are declared heretics and rebels, so if they do not obey, they are to be completely destroyed.

A culture of confessional-ideological-political confrontation is taking shape, in which the notions of "true faith" and Godhood take first place. For both warring parties, the war becomes a "holy war", that is, a war against the opponents of the true God; in other words, it becomes a sacral phenomenon. The theological justification for the justification of such a war for the Hussites can be found in the Old Testament, in the Books of Maccabees, which justifies the war in defence of the true faith against the tyrant usurper.

For the Hussites, war is a God-pleasing and, moreover, necessary for the salvation of the soul. Hence comes the famous thesis attributed to the Hussite priest Václav Koranda: "He who has not stained his sword [in the blood of the enemies of God - H.M.] let him not be saved! [7, III, s. 15]. What followed from this extremist appeal was extreme intolerance and cruelty, manifested during the Hussite wars. And this extreme cruelty in the treatment of the enemy side and peaceful population in the enemy's territory was demonstrated by both sides, struggling for the purity of their own understanding of faith. The intrinsic religious condemnation of Christian violence in the Middle Ages was not perceived as a guide for real life. The inhumanity of the Hussite and imperial troops conformed to the mores of the age, but it took extreme forms due to the extreme religious ideologization of the Hussite wars. Political compromises were possible, offered by moderate Hussites,

but were constantly (until 1424) rejected by Sigismund. Only the exhaustion of both sides, the devastation of the country, the efforts of the council movement to preserve the unity of the Catholic world and the conflicts between moderate (Pražans) and left-wing (Taborites) Hussites led to the end of the Hussite Wars based on the Basel Compacts as a compromise solution to the religious-ecclesiastical and military-political conflict.

In the course of the Hussite wars, the socio-political thought of the Hussites was enriched by a new trend - national patriotism. The sacral ("holy") war, in Hussite terminology a war "for the truth of God", was quickly transformed by military and political events into a national-patriotic war against the Germans. The Czech Germans, for reasons unknown to modern historians, rejected Hussism and allied themselves with the German crusaders of Sigismund's armies. This led to the Hussite perception of the Germans as a nation in opposition to the Czechs, who were true Christians. Ethnic boundaries were combined with religious ones. Catholic (or rather, papist), invader and German - these categories became synonymous in the minds and propaganda of the Hussites. The original sacral topos of Hussitism was transformed into a national topos, because, as one of the main ideologues of the Hussites, Master Jakoubek of Stříbr, said, "The merciful Lord has deigned to reveal the truth above all to this Czech people," so that through them the whole Christian world might return to the true faith and truth [3, d. 1, p. 121]. Thus, the idea of God's choice becomes the main identifier of the Czech-Hussite national identity. The ideologeme of national Godhood of the Czechs is reflected in many texts of various genres [1, p. 77-113].

As in almost every war, mutual cultural exchange takes place during the Hussite wars. Intercultural communication takes on a specific orientation, carried out on the principle of borrowing useful and attractive things from enemies in spite of the general hostility towards their cultural baggage. Thus, the Hussites, the first Protestants and iconoclasts, borrowed the cults of the Czech land saints, Prince Wenceslas and Abbot Prokop of Sázav, from the Czech national-historical Catholic tradition, in view of their patriotic and Prokop's anti-German significance. The Hussite Church, which had never separated itself organizationally from the Roman Catholic Church, developed the cult of its own, Hussite saints Jan Hus and Jerome of Prague, modeled on the early Christian martyrs. Since both leaders of Hussiteism were burnt at the stake with the agreement of Emperor Sigismund, their deaths for "God's righteousness" are seen as equivalent to those of the Christian first martyrs, while the Emperor Sigismund is thus seen almost as a pagan emperor persecuting genuine Christians. This is evident in the iconography of Hussism, which was only explored in detail at the beginning of the 21st century. [8, s. 81-174; 2, s. 99-224].

In the course of the military confrontation between all the Hussites and Catholics, as well as the Prague and Taborites, polemical literature increased in number and took on a more aggressive tone. From religious and ecclesiastical polemical literature, it quickly transformed into propaganda literature. A genre of propaganda literature and proclamations appeared - the so-called Hussite charming letters created to attract the local population to their side during the "charming

campaigns" of Taborite troops in neighbouring countries. Anti-Hussite pamphlets are also produced by Catholics, both domestic, Czech and German. Such a war of texts accompanying a real war had never before been known in the history of European wars.

For the first time in the history of European culture, a new genre, the Hussite song, appears as a synthesis of chorale, marching song and folk melody, which was first demonstrated in his seminal study "The History of Hussite Song" by Z. Needlá, who brought the Hussite songs to the world culture [6]. In fact, a new form of hymn appears in the Prague burger milieu, as well as among the Taborites, which bridges the gap between the secular and sacred spheres, sacralizing the military theme. In this sense, the famous song, The Holy War (lyrics by V. I. Lebedev-Kumács, music by A. V. Aleksandrov), which became the sonorous embodiment of the Great Patriotic War, with a melody dating back to World War I, is a cultural and genetic half-timer of Hussite songs.

The Hussite wars initiated the emergence of the "modern history" genre in medieval Czech historiography. The famous Hussite Chronicle by Vavřinec (Lawrence) of Březová describes recent events, interpreted in a very partisan way from the perspective of moderate Hussites. No historical chronicles were written at this time, and the "modern history" is supplemented by the hagiographies of Jan Hus and Hieronymus of Prague, written mainly from the memories of his contemporaries.

War generates new forms of military culture proper. The Hussite wars saw the emergence of a particular tactic of using war wagons, which was actively used by Jan Žižka. Žižka's Military Code laid down new principles of military organization, including strict one-man command, mutual assistance of soldiers in battle and mutual aid. It also provided a clear ideological rationale for the goals of the war. A unified army of "God's warriors" emerged, without the medieval fragmentation into separate units with their own commanders, fighting for a supreme sacral-national idea defined as "divine law". This is certainly a transformation of the medieval understanding of knights as "milites Dei", "God's warriors", but a very significant one. The privileged warrior becomes all warriors fighting for the establishment of "divine law". These ideas were most concentrated in the song, which became a hymn of the Taborites and an embodiment of Hussism as a whole, "Ktož jsú boží bojovníci" ("Who are the God's soldiers") [5. s. 96]. The use of peasant farming implements in battle, the threshing chains, which the Hussite warriors used in battle to crush the heads of the knights, who were protected by helmets against conventional weapons, is also among the military innovations of the Taborites.

War generates extreme inhumane ways of destroying human enemy forces and even the civilian population living in enemy territory. It is during the Hussite wars that the phenomenon and notion of the "horrors (calamities) of war" can be said to emerge, since the European wars of the Middle Ages did not know such horrific massacres of enemies and civilians and such widespread devastation of the country. The topos of "the horrors of war" will be reactualised in the course of the Thirty Years' War (1618-1648), and then it will take its place in art, beginning with

the graphic cycles of the same name by Georges Callot and Francis Goya, and especially in works associated with the First and Second World Wars. In this connection, it should be remembered that the punitive tactic of exterminating the population of a village, where people were herded into a barn or barn and then set on fire at four ends, used by the German army in the early 1940s, was first used in military practice during the Hussite wars.

It was the Hussite wars that created the socio-political phenomenon of civil war, splitting society (in this case Czech society) along religious and ideological lines. It was no longer feudal lords fighting each other to seize their neighbour's lands, but the armies of the United Hussites fighting the armies of the Czech Catholics, as well as the radical Hussites fighting the moderates, destroying each other in a bid to prove their worth by sword in their quest for political dominance. In this way the political culture of Europe was fundamentally changed, as the ideologies of power and the higher, "divine" truth were conflated. The ideologization of war has taken place, something not previously seen in European political culture.

In this context, the understanding of the warrior in the public consciousness is considerably transformed. The warrior acquires certain sacred characteristics as a defender of true Christianity within the Christian world. This process can be clearly seen in the miniatures of the famous Jena Codex (turn of the XV-XVI centuries). In a miniature painting of an army of Taborites led by Jan Žižka, the priest Jan Čapek leads the army with a monstrance as a symbol of God's blessing on his troops, and below the miniature is the text of the hymn "Who are the God's warriors". In another miniature, tentatively titled Czech Paradise, where saints stand before God the Father, the Czechs are represented not by Jan Hus, as one would expect, but by the Hussite warlord and stern warrior Jan Žižka [4, d. 2, s. 97,169].

The ideological and confessional division in Bohemia paradoxically activated a sense of ethnic community which, incidentally, was not evident during the civil war between king and parliament in England in the 17th century or during the civil war in Russia in the 20th century. And Bohemians were deeply moved by this religious schism in the 15th century, and after the Hussite Wars, especially during the reign of George of Podebrady (1452-1471), they tried to overcome it by compromise [1, p. 107]. The authors of the Hussite wars were the first to realise that the nation was divided into two parts, but that it remained ethnically united. The author of the famous Hussite Chronicle, Vavřinec of Březová, lamented about the Catholic Czechs who had died in battle: "What Czech, except an unwise one, could look on these selected and strong soldiers, young, curly and handsome" lying dead, without a grievous groan of the heart. [9, t. 5, s. 441].

The Hussite wars, along with the whole Hussite movement, stimulated the emergence of a new type of culture in Europe, which a century later would be called Protestantism after the teachings of Luther and Calvin had emerged. In particular, the Hussite iconoclasm [8, s. 63-80] would be actualized by Lutherans and Calvinists in Germany, Switzerland and France, as would many elements of the Hussite wars. Particularly noteworthy was the decline in architecture, as the Hussite type of temple was not developed, Catholic churches were converted for the

Hussite confession, and there were no funds, no forces, and no possibilities for new church or secular construction during the wartime.

The Hussite wars brought up an acute dilemma; which is more important for the individual - the "true" faith as a religious and cultural innovation masquerading as a return to the old, apostolic times, or a historically proven orientation to traditional values, rites, rituals and social institutions, although highly discredited by Catholic practices. In other words, for the first time in Europe there is an ideological conflict between the new and the old, between progress and conservatism. This dichotomy would be reactualised after 100 years by Lutheranism, then by all Protestantism, and would become the main content of European history up to the present day.

The Hussite wars were also the first intra-Christian religious-military conflict in Europe with a broader than ecclesiastical content. Here the aspect of the struggle for political power in the country, for the redistribution of land property and for domination in the sphere of church ideology and organization is very important. A new ideological base is being formed, which has led to the emergence of what we call an information war. In this respect, the Hussite wars as a political culture phenomenon were a prologue to a new type of war - the ideological war, which established itself in the New Age.

It is true that the Hussite wars dealt a huge blow to established Czech culture, but they also triggered the cultural innovations that would become one of the foundations of the new Czech culture, especially during the National Renaissance, and in the ideological sense, the pan-European culture.

## REFERENCES

1. Melnikov G. P. Ethnic self-consciousness of the Czechs and national problems in the Czech Republic in the Hussite era (the end of the XIV century-1471) / Ethnic self-consciousness of the Slavs in the XV century. Moscow, 1995.
2. Bartlová M. Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství. 1380-1490/ Praha, 2015.
3. Jakoubek ze Stříbra. Výklad na Zjevení sv. Jana. Praha, 1932.
4. Jenský kodex. Praha, 2009.
5. Lehár J. Doba husitská // Lehár J., Stich A., Janáčková J., Holý J. Česká literatura. Praha, 2002.
6. Nejedlý Z. Dějiny husitského zpěvu. 1- 6. Praha, 1954-1956.
7. Šmahel F. Husitská revoluce. 1-4. Praha, 1993.
8. Umění české reformace (1380-1620). Praha, 2010.
9. Vavřínek z Březové. Husitská kronika // Fontes rerum bohemicarum. T. 5. Praha, 1893.



*Ковальска-Стус Ханна,  
профессор Ягеллонского университета,  
Краков (Польша)*

## **ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА**

**Аннотация:** За последнее тридцатилетие в Польше сформировалась монолитная историческая политика, в том числе относительно периода Второй мировой войны. Разделы Польши, на самом деле, эпизод в ее тысячелетней истории - стали определяющим моментом для интерпретации ее дальнейшей судьбы. Вследствие распространения идеологии романтиков Россия стала врагом номер один. Вопреки историческим фактам она обвинялась в инициировании разделов, что стало основой для антирусских восстаний и заговоров. Являются ли польские солдаты I Армии героями или коллаборантами, СССР освободил Польшу или ее покорил.

**Ключевые слова:** Польша, Вторая мировая война, Россия, раздел Польши, история, Бухенский, русофобия, национальная память.

Данное историческое событие дается нам в тысячах интерпретаций рисующих законченную картину, однако наиболее интресным кажется генезис идейного фундамента, на котором создается целесообразная картина событий прошлого. Вторая мировая война, ее предистория и эпилог, были театром для многих актеров, но после завершения спектакля оказалось, что они играли в разных вариантах пьесы. Самое интересное то, что легло в основу этих вариантов.

Образ Второй мировой войны в целом и в его отдельных аспектах создается в обществе благодаря школьной прогамме истории, отечественной кинематографии, музеям, выставкам и памятникам, а также семейной устной передаче воспоминаний об исторических событиях, актуализируется во время празднования исторических годовщин. Большинство из упомянутых аспектов относится к исторической политике и курируется государством. Бывают времена, когда историческая политика государства не созвучна с индивидуальной памятью. Это разногласие способствует мифологизации, прежде всего, памяти о событиях новейшей истории.

За последнее тридцатилетие в Польше сформировалась монолитная историческая политика, в том числе относительно периода Второй мировой войны. С другой стороны, свобода СМИ и научных публикаций создала возможность разногласной, часто противоречивой интерпретации событий Второй мировой войны. Последнее касается прежде всего оценок участия Польши в разделе Чехословакии в 1938 г., пакта Риббентроп-Молотов и аннексии восточной Польши СССР, так называемых проклятых солдат (солдат АК и других формирований, которые после освобождения не сдали оружие), выбора коалициантов до начала войны, оценки собственной подготовленности к войне и роли СССР в послевоенной истории Польши.

Но самое главное, что следует отметить, это факт, что история Второй мировой войны не рассматривается как особое историческое событие. Она включена в более чем двухсотлетнюю историю Польши, является одним из

ее этапов. Вторая мировая война вписывается в контекст истории Польши с конца 18 века. Можно даже сказать, что разделы Польши, которые на самом деле эпизод в ее тысячелетней истории, стали определяющим моментом для интерпретации ее дальнейшей судьбы. Здесь стоит упомянуть книгу известного знатока и критика польской историографии Александра Бохеньского – «История польской глупости» [1]. Он упрекает в ней польских историографов в незаинтересованности геополитикой, а также в том, что удалось им сформировать национальную психологию на фундаменте восхваления поражений и страданий, укоренить образ Польши как невинной жертвы. Бохеньский разобрал по косточкам труды всех выдающихся польских историков, начиная с Лелевеля, и обнаружил, что государственный интерес они видели в союзе Польши с Пруссией, Францией, Турцией или Австрией, но всегда против России. Вопреки этому Бохеньский доказал, что государственный интерес лежал как раз в союзе с Россией, в лояльности по отношению к Екатерине. Безумием было выступать против всех трех соседей, как это сделал Костюшко или Сейм, принявший Конституцию 3 Мая. Культ Костюшко, с политической точки зрения, был бедственным. Основоположником методики нашей историографии был летописец Ян Длугош, который утверждал, что надо писать то, что читатель должен знать, а не то что было на самом деле. Но основную историческую школу создали романтики с Иоахим Лелевелем во главе. Это была первая историческая школа (Генрык Шмитт, Маурыцы Мохнацкий), она создала восстанческий этос. Правда, в 1868 году образовалась краковская школа, представляющая противоположные взгляды, но она никогда не имела влияния на оценки поляками исторических событий. Преобладала пропаганда идеи независимости (школа варшавская, неокраковская, Шимон Аскеназы, Владыслав Конопчинский), стоявшая на страже польского патриотизма, черты которого следующие:

- неспособность рационально предсказать последствия действий;
- наивность;
- отсутствие учета соотношений сил;
- некритичное отношение к союзникам;
- апофеоз героических подвигов.

Вследствие распространения идеологии романтиков Россия стала врагом номер один. Вопреки историческим фактам она обвинялась в иницировании разделов, что стало основой для антирусских восстаний и заговоров. Мохнацкий – зачинщик восстания 1830 г., был наставником многих поколений польской молодежи, основоположником антирусской пропаганды, которой не отважились противопоставить что-либо польские историки. Это во многом отрицательно сказалось на нашем будущем. Здесь нужно подчеркнуть чрезвычайное влияние историографии на судьбу народа. Ошибка в том, что наши историки не рассматривали истории Польши во взаимосвязи с международной конъюнктурой. Такая специфика нашего исторического знания стала одновременно критерием политических действий. Это лишило нас чувства согласованности в политике, особенно в связи с менявшимися историческими условиями. В польской внешней политике отсутствует принцип

прагматизма. Примером может служить культ легионов Пилсудского, сражавшихся на стороне центральных государств в Первой мировой войне. Все это повлияло на создание антирусского психологического комплекса, источник которого ведет к четырехлетнему сейму в XVIII в. Политическое решение о начале восстаний 1830, 1863 и 1944 имело то же основание. Восстанческая пропаганда казалась более успешной, чем рациональная политика. Наши политики не имели отваги объявлять народу правду.

Примером своеобразного гибрида русофобии и «прагматизма» являются труды современного историка молодого поколения (г. р. 1980), который в книге *Риббентрон-Бек* доказывает, как поляки вместе с Гитлером могли покорить Советский Союз. На все полемические аргументы отвечает, что для будущей жертвы нет другого выхода, как вместе с убийцей идти против общего врага. Вторая книга того же автора – *Германофил. Владислав Студницкий – поляк, который хотел союза с Германией*. Студницкий родился в 1867 году в Динабурге. Основал II Пролетариат, за что был сослан в Сибирь, во время Первой мировой войны был сторонником независимой Польши в союзе с Центральными государствами, продвигал идею экспансии на восток с Немцами. В ноябре 1939 года Студницкий направил *Мемориал* к властям III Рейха, в котором предлагал восстановить польскую армию для похода вместе с немцами против СССР. Нельзя сказать, что идея сотрудничества с Немцами во время Второй мировой войны является популярным взглядом в современной Польше или, что она вписывается в историческую политику, однако реклама такого типа книг имеет место в консервативной прессе, которая не является антирусской. С другой стороны, широкий резонанс в определенных кругах имела книга Яна Энгельгарта «Проклятие генерала Деникина» [2], в которой Пилсудский показан как противник белого движения, сговоривавшийся с Дзержинским. (Между прочим надо вспомнить, что Деникин был наполовину поляком, а Пилсудский в царской России командовал террористическими организациями). Политика Пилсудского привела к поражению армии Деникина. Проклятие Деникина, доказывает Энгельгарт, сбылось в Катюни.

Здесь необходимо понять один нюанс. Если для России характерна историческая преемственность, которая, на наш взгляд, связана с пространственным мировоззрением, то Польша, которая остается под влиянием латинской традиции гегемонии истории, вычеркнула из нее послевоенный социалистический период. 1 сентября и 17 сентября считаются в равной степени началом Второй мировой войны для Польши. В сентябре начались немецкая и советская оккупация, потом наступает катынское убийство, вывод ссыльных поляков генерала Андерсом из СССР через Палестину в Италию, формирование отрядов I Армии польского войска под командой генерала Берлинга, которая вместе с Красной армией захватила Берлин. Вокруг этого события идут дискуссии: являются ли польские солдаты I Армии героями или коллаборантами, СССР освободил Польшу или ее покорил.

Выдающийся историк русской мысли Анджей Валицки в недавно изданной книге «О России по-другому» выражает удивление и сожалеет, что

невообразимый террор в годы немецкой оккупации и годы Народной Польши, занимающей привилегированное место в социалистическом лагере, а также современное возрождение России не уладили в поляках исторической нужды соперничества, которая устарела еще в XIX в. [3, с.39].

«Долгие годы я думал, что главной заботой так называемого „поколения солидарности“, несмотря на все его ошибки, было после августа 1980 г. обустройство Речи Посполитой, то есть общественно-политическая перестройка нашей страны. Однако я ошибся, потому что уже тогда были намечены более амбициозные планы. Эта главная цель бенефициаров рабочего движения названа ими во время дискуссии в конце 1980 г.: «Важнейшей задачей является отторжение России раз и навсегда от Европы» [3, с.39].

Второй военный сюжет, затронутый Валицким, касается Катыни. Он подчеркивает чаяния русских, что общие жертвы сталинизма должны соединять, а не разъединять их с поляками. В начале 90-ых состоялась в Польше дискуссия на тему постройки в Катыни памятника примирения народов. Однако потом Польша стала обвинять русских в катынском преступлении.

До сих пор не умолкает дискуссия вокруг так называемых проклятых солдат. Они не только не подчинились указу главнокомандующего Армией Краевой, но часто прибегали к террористическим актам по отношению к местным жителям. Ромуальд Райс пс. Буры (убивал православных жителей Подляся), Зыгмунт Шендзележ пс. Лупашка, Юзеф Курась пс. Огень, на их совести много убитых. Все они по стандартам современной исторической политики стали официально чтимыми героями. Нет никакого сомнения, что Ромуальд Райс был военным преступником. Расследования польской прокуратуры это подтвердили. Его преступления недостойны польского солдата, в чем несколько лет тому назад не сомневались польские историки. Тем временем публичный культ Райса, убийцы женщин и детей, белорусов на их родной земле является международной компромитацией Польши. «Польша в праве протестовать против бандеризма на Украине, лесных братьев на Литве или шаулисов Плехавичюса. Но как можем это обоснованно делать, когда сами чтим убийц? Надо лишиться шовинизма, вдохновляемого западными оккупантами. Мотивы этой операции прозрачны: воспитание янычаров для передовой линии атаки на Россию. Во-вторых, обеспечение интересов Запада в государствах восточной Европы так, чтобы лишить их геополитической альтернативы для американской доминации», – пишет Конрад Ренкас<sup>1</sup> [4].

В Институте Национальной Памяти издаются похвальные биографии «проклятых солдат», ставятся фильмы, молодежь надевает майки с их изображениями. С одной стороны, никто не скрывает темной стороны их биографий, а с другой – их культ выстраивается на восхвалении вооруженного противостояния институтам социалистической власти и союзу с СССР.

---

<sup>1</sup> Этот перевод и следующие Х. К.-С.

Противоречия накопились также вокруг Свентокшской Бригады, созданной в 1944 году и сотрудничающей с немцами против Красной Армии и польского войска под командованием ген. Берлинга. Когда немецкие войска отступали, солдат Бригады сбрасывали с самолетов в тылах Красной армии как диверсантов. Отступающие немцы взяли Бригаду на свой паек. Многие противоречия накопились вокруг варшавского восстания: решения о его вспышке и отказа в поддержке его Красной Армией. Такой же горячей темой является гибралтарская гибель главнокомандующего Польской Армии и премьер-министра в эмиграции генерала Владислава Сикорского. Исторические расследования приводят к выводу, что за убийством стоял Черчилль и его польские сподвижники, которые не хотели скандала вокруг катинских документов. Сикорский через Гибралтар возвращался со встречи с Андерсом, от которого получил эти документы. Они тогда исчезли.

Хотя вокруг этих эпизодов не умолкают разногласия, и историческая политика государства теперь однозначно стоит на стороне культа всех, кто противостоял России и особенно СССР, то самой главной проблемой кажется внушаемое полякам убеждение, что в польской истории отсутствует последовательность, в ней долгие пробелы, за которые не несем ответственности. Единственная сфера, в которой наблюдается объективная оценка истории Польши, это история экономики.

Последнее десятилетие польские власти стремились к формированию идейно единой легенды относительно Второй мировой войны. Историческая политика отразилась на произведениях культуры, в школьных учебниках, СМИ. Необходимо подчеркнуть, что понятие исторической политики в нашей статье не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием, которое должно основываться на исторической правде. Обращаем внимание на те проявления исторической политики, которые напоминают манипуляцию и мифологизацию, когда историческая память заменяется симулякрами, меняет историческое прошлое с целью нормативного формирования под единый ориентир, штамповый способ описания. Он подчиняется, с одной стороны, стандартам западного квазинаучного языка, а с другой – содержит это неизменное интерпретационное русло характерное для польской историографии с времен XIX в. Оно имеет влияние на формирование польской идентичности в оппозиции к России.

«В академической историографии всё чаще стало встречаться понятие «коллективная память», напрямую связываемое с понятием «идентичность». Такой подход, по сути, означает, что феномен социальной сплочённости скорее «изобретается», а не «обнаруживается», т. е. является сконструированным, а не объективно существующим» [5], – замечает Модест Колеров. Далее он пишет, что историческая наука, превращаясь в историческую политику, прошлое делает объектом манипуляции, чтобы управлять будущим с диахроникой и эмоциональностью. При этом надо отметить, что историческая политика создает востребованный образ прошлого данной страны и народа, но становится солидарной или противостоящей чужой исторической политике. В результате создаются враждебные блоки исповедников исторических по-

литик, которых не интересует историческая правда. В странах, где идеологический диктат невозможен, борьба за историю разделяет общество, что наблюдаем почти во всех странах бывшего советского блока. Колеров подчеркивает, что двойная интерпретация нацистского прошлого появилась уже в разделенной Германии.

В Польше государственным институтом, создающим историческую политику, является Институт национальной памяти. Он был создан Сеймом Польши 18 декабря 1998 года. Можно сказать, что в этом Институте, которого задачей является работа с архивами, ведутся исторические расследования и расследования политических «преступлений». Эти последние оцениваются согласно стандартам западной цивилизации. Интерпретация военной и послевоенной истории Институтом национальной памяти вписывается в идеологию холодной войны.

Историческая политика пользуется также идеологией довоенной организации Прометей – движения, программа которого призывала к освобождению народов СССР. Сегодня она направлена на соединение бывших советских республик с Евросоюзом и НАТО.

Характерно, что современная польская историография зачинщиками второй мировой войны считает СССР наравне с Германией и, одновременно, молчит о соучастии таких стран, как Италия, Венгрия, Болгария, Румыния, Финляндия, Испания, Словакия, Хорватия в немецкой кампании, а дружелюбно нейтральных Португалии, Швейцарии и Швеции. Сегодня формулировка «пакт Риббентроп-Молотов» является лозунгом и не нуждается в исторической рефлексии. Нет стольких же заявлений о договоре Польши с Германией от 1934 г., – так называемом Пакте Гитлера с Пилсудским, что помогло Германии выйти из политической изоляции, или о Мюнхенском соглашении, после которого наступил раздел Чехословакии, в том числе Польшей.

Годовщина конца Второй мировой войны в Польше не отмечается, так как историческая политика эту дату записала в число поражений. Союз с СССР и перемещение границ на запад не подлежат уровневенной оценке. Не принимается во внимание, что довоенная Польша была слишком велика и слаба, чтобы сохранить состояние владения. Ей нужны были союзники. И как в XVIII в. естественным союзником была Екатерина II, так в ситуации второй мировой войны – Сталин. Тогда, благодаря ему, Польша приобрела идеальные этнические границы. Витольд Модзелевски в связи с этим ставит вопрос: почему Сталин, который не переносил польско-еврейскую мафию во власти большевицкого государства, хотел возродить Польшу, вдобавок этнически сильную [6, s.131-132]? Причиной был факт, что кроме великой тройки, четвертой военной силой в этой войне были поляки. В 1944 г. на фронтах западном, восточном и итальянском сражалось 500 тыс. одетых в форму поляков.

Все, что II Речь Посполита приобрела за линией Керзона, не имело в мире поддержки, а программа полонизации русского этноса, заселявшего эти территории, не оправдалась. Витольд Модзелевски доказывает, что довоенный Союз с СССР сохранил бы шесть миллионов жизней поляков [6, s.38].

Обращает внимание также на факт, что проигравший Польшу лагерь Пилсудского в конце войны мечтал о повторении эксперимента 1916-1918 лет и создании *Polnische Wehrmacht* для борьбы с Красной армией [6, s.127]. В 1944 речь шла о вспышке революции в Германии, а «новая Германия» должна была сдержать советскую офенсиву и создать политические условия для формирования правительства из сторонников Пилсудского в Польше. Для них победа Англии, СССР и США была реализацией черного сценария. Об этом можно прочитать в документах из архива генерала Сикорского<sup>2</sup> [6, s.150]. Потому современные наследники Пилсудского в историческом нарративе употребляют фразы: «два врага» (о начале войны) и «новая оккупация» (о ее окончании).

В семидесятую годовщину начала второй мировой войны президент Путин приехал в Польшу и в связи с этим опубликовал в ежедневнике «Газета выборча» Письмо к полякам. В нем, кроме похвалы польского героизма, можно прочитать осуждение пакта Риббентроп-Молотов, что Съезд народных депутатов СССР сделал уже в 1987 г.[7]. Одновременно подчеркнул, что это был тактический маневр после подписания Англией и Францией монахийского соглашения с Гитлером, что похоронило всякие надежды на создание совместного фронта против Германии. Президент Путин выразил также благодарность за заботу и уважение, с каким поляки относятся к могилам 600 тысяч погибших советских солдат. Что, к сожалению, скоро оказалось неправдой. Поляки, как христиане, не оскверняют могил, но они были перенесены на кладбища, а памятники снесены.

В заключении напомним слова Анджея Валицкого, который сожалеет о том, что сегодня Польша является синонимом агрессивной русофобии, сожалеет не только по политическим причинам, но и по культурным: «Надо помнить, что русские являются единственным великим народом, для которого польская культура кое-что значит, где имя Мицкевича общеизвестно. В Польше всегда было русофильское течение, существовало в XVIII в., представлял его Трембецкий, всякие консервативные шляхецкие конфедерации видели возможность искреннего славянского братства. Сташиц в «Размышлениях о Равновесии политическом в Европе» (1815 г.) оправдывал союз Польши с Россией» [3, s.106]. Даже Мицкевич в своих парижских лекциях допускал возможность, что царь Николай может сыграть для Польши роль второго Наполеона.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Bocheński A., *Dzieje głupoty w Polsce*, Kraków 2020.
2. *Engelgart J.*, *Klatwa generała Denikina*. Warszawa 2011.
3. Walicki A., *O Rosji inaczej*, Warszawa 2019.
4. *Rękas K.*, *Jak „Bury” szkodzi polskiej niepodległości*, [www.konserwtyzm.pl](http://www.konserwtyzm.pl), dost. 20.03.2021.

---

<sup>2</sup> Эти архивы содержат документы свидетельствующие, что правительство Сикорского начало исследовать преступления санации II Речи Посполитой.

5. Колеров М. А., «Историческая политика» в современной России: поиск институтов и языка, «Русский Сборник» 2014 № 16, с. 445; <https://zapadrus.su/rusmir/istf/835-istoricheskaya-politika-v-sovremennoj-rossii-poisk-institutov-i-yazyka.html>, дост. 20.03.2021.
6. Modzelewski W., Polska – Rosja. Cud nad Wisłą – zwycięstwo zapowiadające katastrofę, Warszawa 2020.
7. [www.wyborcza.pl](http://www.wyborcza.pl), [https://wyborcza.pl/1,76842,6983945,List\\_Putina\\_do\\_Polakow\\_\\_\\_pelna\\_wersja.html](https://wyborcza.pl/1,76842,6983945,List_Putina_do_Polakow___pelna_wersja.html)

## WORLD WAR II. HISTORY AND HISTORICAL POLICY

*Hanna Kowalska-Stus*  
*Professor*  
*Jagiellonian University*  
*Krakow*

**Abstract:** Monolithic historical politics have developed over the last thirty years in Poland, including views on the period of the Second World War and partitions of Poland – which are actually an episode in its more than a thousand years history – came to be a crucial moment in terms of its further history interpretation. Due to wide spreading of ideology of romantics Russia has become an enemy №1. Against historical evidence Russia is charged with initiating the Partitions, that caused anti-Russian uprisings and conspirations. Other still looming issues are: are polish soldiers of the I Army heroes or collaborators? Did USSR liberate or conquered Poland?

**Key words:** Poland, Second World War, Russia, partition of Poland, history, Bochenski, Russophobia, national memory.

World War II has a plenty of interpretations that could give us an idea of past events, but the most interesting is the genesis of the ideological foundation, which is used to create a viable picture of the past events. World War II, its prehistory and epilogue, was a theater for many actors but as soon as the performance was ended it turned out that they had played in different versions of the play. The most interesting thing is to understand what formed the basis for these versions.

The image of World War II as a whole and in some of its aspects is formed in the society by history at school, national cinematography, museums, exhibitions and monuments, as well as the family oral convey of memories about historical events, and is updated during the celebration of historical anniversaries. Most of the mentioned aspects are related to the historical policy and are supervised by the state. There are times when the historical policy of the state is not in tune with the individual memory. This disagreement results in the myphologization of the recent history events, among others.

Over the past thirty years, a monolithic historical policy has been formed in Poland, including in relation to the period of World War II. At the same time, the freedom of the media and scientific publications has led to the possibility of controversial interpretations of World War II. This is true primarily about the assessment of Poland's involvement in the partition of Czechoslovakia in 1938, the Rib-



bentrop-Molotov Pact and the annexation of eastern Poland by the USSR, so-called cursed soldiers (soldiers of the anticommunist and other movements who did not turn in their weapons after the liberation of the territory), selection of coalition members before the war, assessment of their own preparedness for the war and the role of the USSR in the postwar history of Poland.

But the most important thing is that the history of World War II is not considered as a specific historic event. It is included in more than two hundred years of Poland's history and is one of its stages. World War II fits into the context of the history of Poland from the end of the 18th century, 19th century and 20th century. Even the partitions of Poland, which are actually an episode in its more than a thousand-year history, became a critical moment for the interpretation of its future. It is worth mentioning here the book of the famous expert and critic of the Polish historiography Aleksandr Bocheński *The history of stupidity in Poland* [1]. He reproaches the Polish historiographers in stupidity due to the lack of interest in geopolitics and also due to the fact that they managed to form a national psychology on the basis of praising defeats and sufferings, root the image of Poland as an innocent victim. Bocheński thoroughly analyzed the works of all the outstanding Polish historians, starting from Lelevel, and found out that they had seen a state interest in the alliance of Poland with Prussia, France, Turkey or Austria but always against Russia. In spite of this, Bochensky proved that it had been the alliance with Russia that should have been in the state interest, as well as the loyalty to Catherine. It was madness to oppose all three neighbors as did Kosciuszko or the Seim, which adopted the Constitution on May 3. The Kosciuszko cult was politically disastrous. Jan Dlugosz, a Polish chronicler and founder of the methodology of our historiography, argued that one should write what the reader should know and not what actually happened. But the main historical school was created by the romantics headed by Joachim Lelewel. It was the first historical school (Henryk Schmitt, Maurice Mokhnatsky) and it created a rebellious ethos. But in 1868 the Krakow school was formed, it represented the opposite views but never had an impact on the assessments of historical events by the Poles. The popularization of the idea of independence prevailed (Warsaw, neo-Krakow school, Szymon Askenazy, Wladyslaw Konopczyński). It supported the ideas of the Polish patriotism that can be characterized as follows:

inability to rationally predict the consequences of actions; naivety; lack of consideration of the balance of forces; non-critical faith in allies' support; apotheosis of heroic deeds.

After the spread of the ideology of romantics, Russia became enemy number one. In contradiction to the historical facts, Russia was accused of initiating partitions, which became the basis for anti-Russian rebellions and conspiracies. Mokhnatsky, the initiator of the rebellion of 1830, was the mentor of many young generations in Poland, founder of the anti-Russian propaganda, which Polish historians did not dare to oppose. This negatively affected our future in many ways. It is necessary to emphasize here the extraordinary impact of historiography on the fate of the people. The mistake was that our historians did not consider the history of Poland in connection with the international situation.

This specifics of our historical knowledge has become at the same time a criterion for political action. This has led us to a lack of coherence in policy, especially in the face of changing historical conditions. There is no principle of pragmatism in Poland's foreign policy. The cult of Pilsudski's legions who fought for the central states in World War I could be considered as an example. All this resulted in the anti-Russian prejudice, the source of which leads to the four-year Seim in the 18th century. The political decision to start the rebellion in 1830, 1863 and 1944 had the same basis. The rebellion propaganda seemed more successful than rational policy. Our politicians did not have the courage to tell their people the truth.

An example of a kind of hybrid of Russophobia and 'pragmatism' is the works of the modern historian of the younger generation (born on 1980), who, in his book by Ribbentrop-Beck, proves how the Poles together with Hitler could have conquered the Soviet Union. To all polemical arguments he answers that for the future victim there is no other way out than to go together with the murderer against the common enemy. The second book by the same author is *Germanophilus*. Vladislav Studnitsky is a Pole who wanted an alliance with Germany. Studnitsky was born in 1867 in Dinaburg. He founded the Second Proletariat and subsequently was exiled to Siberia. During World War I, he was a supporter of an independent Poland in the alliance with the Central States, promoted the idea of expansion to the east with the Germans. In November 1939, he sent the Memorial to the Third Reich Government proposing to reconstruct the Polish army for a campaign with the Germans against the USSR. Neither the idea of cooperation with the Germans during World War II is very popular in modern Poland nor it fits into the historical policy, still there is advertising of such a type of books in the conservative press, which can not be considered as anti-Russian. On the other hand, *The Curse of General Denikin* [2] by Jan Engelgart had a wide resonance in certain circles. Pilsudski was shown as an opponent of the White movement, an ally of Dzerzhinsky. (It should be noted that Denikin was half Pole and Pilsudski commanded terrorist organizations in the Tsarist Russia). Pilsudski's policy led to the defeat of Denikin's army. According to Engelgart, *The Curse of Denikin* came true in Katyn.

There is one nuance to be understood here. If Russia is characterized by historical continuity, which, in our opinion, is associated with a spatial worldview, Poland, which is affected by the Latin tradition of the hegemony of history, has erased the post-war socialist period. September 1 and September 17 are equally considered as the beginning of World War II for Poland. In September, the German and Soviet occupation began. Then comes the Katyn massacre, withdrawal of the exiled Poles by the general Anders from the USSR through Palestine to Italy, formation of the detachments of the First Army of Poland headed by Berling, which conquered Berlin together with the Red Army. There are discussions in relation to this event whether the Polish soldiers of the First Army are heroes or collaborators and whether the USSR liberated or conquered Poland.

The outstanding historian of Russian thought Andrzej Walicki, in his recently published book *About Russia in a Different Way*, expresses surprise and regrets that the unthinkable terror of the German occupation and the years of People's Polish Republic with its privileged place in the socialist camp, as well as the mod-

ern revival of Russia, did not suppress the historical need for rivalry among the Poles, which was outdated in the XIX century [3, p.39].

“For many years I have thought that after August 1980 the main concern of the so-called 'Generations of solidarity' - despite all its mistakes - was the reconstruction of the the Polish-Lithuanian Commonwealth, that is the social and political restructuring of our country. However, I was mistaken, because even then more ambitious plans were outlined. This main goal of the beneficiaries of the labor movement was announced during the discussion at the end of 1980: “The most important task is to seize Russia once and for all from Europe.” [3, p.39]

The second military plot mentioned by Walicki concerns Katyn. He highlights the Russian aspirations and says that the common victims of Stalinism should stand together and should not be separated from the Poles. In the early 90s, a discussion took place in Poland on the construction of a monument to the reconciliation of peoples in Katyn. However, then Poland began to accuse the Russians of the Katyn crime.

There are still discussions around the so-called cursed soldiers. They not only disobeyed the order of the commanders-in-chief of the Home Army (Armia Krajowa) but often committed terrorist acts against the local people. Romuald Rajs (Bury) killed Orthodox residents of Podlyas, Zygmunt Szendzielarz (Lupaszk), Józef Kuras (Fire) killed a lot of people. According to the standards of the modern historical policy, all of them have become officially honored heroes.

There is no doubt that Romuald Rajs was a military criminal, which is confirmed by the Polish prosecutor's office research. His crimes are unworthy of a Polish soldier, Polish historians did not doubt this several years ago. Meanwhile, the public cult of Rajs, the murderer of women and children, Belarusians in their native land, discredits Poland at the international scale.

“Poland has the right to protest against Banderism in Ukraine, forest brothers in Lithuania or Plekhavichius Saulis. But how can we do this reasonably when we ourselves honor the murderers? We must get rid of the chauvinism inspired by the Western invaders. The motives for this operation are transparent: the education of the military forces for the front line of attack on Russia. The second reason is to ensure the interests of the West in the states of Eastern Europe in order to deprive them of a geopolitical alternative for American domination,” Konrad Renkas says<sup>3</sup> [4].

The Institute of National Remembrance publishes laudatory biographies of the ‘cursed soldiers’, movies are released, and young people wear T-shirts with their images. On the one hand, no one hides the dark side of their biographies, and on the other hand, their cult is built on the praise of weapons-based opposition to the socialist institutions and alliance with the USSR.

There are also contradictions around the Swietokrzysk Brigade that was created in 1944, cooperated with the Germans against the Red Army and the Polish army under the command of general Berling. When the German troops retreated,

---

<sup>3</sup> This translation and other Kh. K.-S.

the soldiers of the Brigade were dropped from aircraft as saboteurs in the rear of the Red Army. The retreating Germans took the Brigade for their rations.

There are many controversies in relation to the Warsaw rebellion: the decision to outbreak it and the refusal to support it by the Red Army. The same hot topic is the death of the commander-in-chief of the Polish Army and the prime minister in exile the general Wladyslaw Sikorski. According to the historical researches, Churchill and his Polish associates, who did not want a scandal over the Katyn documents, are responsible for the murder of Sikorski. The latter was coming back through Gibraltar from a meeting with Anders who had given him these documents. Then they disappeared.

Although disagreements around these episodes do not cease and now the historical policy of the state is fully based on the cult of those who opposed Russia and especially the USSR, the most important issue seems to be the belief that the Polish history has no consistency. That there are long gaps in the history and we are not responsible for them. The only area in which there is an objective assessment of the history of Poland is the history of economics.

Over the past decade, the Polish authorities have been striving to form an ideologically unified legend about World War II. The historical policy affected many productions in the field of culture, school textbooks, the media. It must be emphasized that the concept of historical policy in our article has nothing to do with the patriotic education, which should be based on the historical truth. We draw attention to those manifestations of the historical policy that resemble manipulation and mythologization, when the historical memory is replaced by simulacra, changes the historical past with the aim of normative formation under a single reference point, a cliché method of description.

On the one hand, it goes in line with the standards of the Western quasi-scientific language, and on the other hand, it contains this unchanging interpretive channel that has been typical for the Polish historiography since the 19th century. It has an impact on the formation of the Polish identity in opposition to Russia.

“In the academic historiography, the concept of 'collective memory', which is directly related to the concept of 'identity', has become increasingly popular. Such an approach, in fact, means that the phenomenon of social cohesion is rather being ‘invented’ rather than ‘discovered’, i.e. it is constructed rather than objectively existing,” Modest Kolerov notes [5, p.445].

He further writes that by turning into the historical policy the historical science makes the past an object of manipulation for the purposes of control over the future with diachronicity and emotionality. At the same time, it should be noted that the historical policy creates a demanded image of the past of the country and people but becomes sympathetic or opposed to foreign historical policy. As a result, hostile blocs of the historical policy followers are created and they are not interested in the historical truth. In the countries where ideological dictate is impossible, the fight for the history leads to the division of the society, as we can observe in almost all countries of the former Soviet bloc. Kolerov emphasizes that the double interpretation of the Nazi past already appeared in the divided Germany.

In Poland, the historical policy is created by the Institute of National Remembrance. It was founded by the Seim of Poland on December 18, 1998. The Institute with its main goal to work with archives is also engaged in historical researches and investigations of political 'crimes'. These latter are assessed according to the standards of the Western civilization. The interpretation of the military and post-war history by the Institute of National Remembrance fits into the ideology of the Cold War.

The historical policy also uses the ideology of the pre-war organization Prometheus, which called for the liberation of the people of the USSR. Today it aims to connect the former Soviet republics with the European Union and NATO.

The modern Polish historiography considers the USSR as the initiator of World War II on a par with Germany and at the same time keeps silence about the participation of such countries as Italy, Hungary, Bulgaria, Romania, Finland, Spain, Slovakia, Croatia in the German campaign and neutral countries such as Portugal, Switzerland and Sweden. Today the wording - the Ribbentrop-Molotov Pact - is a slogan and does not need historical reflection. There are not many statements about the treaty between Poland and Germany of 1934 - the so-called Hitler's pact with Pilsudski, which helped Germany to get out of political isolation or the Munich Agreement, which laid the foundation for the partition of Czechoslovakia, including by Poland.

The anniversary of the end of World War II is not celebrated in Poland, since the historical policy considers this date as a defeat. The Union with the USSR and the changes of borders to the west are not subject to an objective assessment. It is not taken into account that pre-war Poland was too large and weak to maintain its possession. She needed allies. And similarly to the XVIII century when Catherine II was Poland's natural ally, in the situation with the World War II Poland's ally was Stalin. Then, thanks to him, Poland acquired ideal ethnic borders. In this connection, Witold Modzelewski asks the question: why Stalin, who did not tolerate the Polish and Jewish mafia in the power of the Bolshevik state, wanted to revive Poland, moreover he wanted to revive an ethnically strong Poland [6, p.131-132]? The reason was that in addition to the three great states the Poles were the fourth military force in this war. In 1944, 500,000 Polish soldiers fought on the western, eastern and Italian fronts.

Everything that Polish-Lithuanian Commonwealth II acquired behind the Curzon line had no support in the world, and the program of the polonization of the Russian ethnos inhabiting these territories was not justified. Witold Modzelewski argues that a pre-war Union with the USSR would have saved six million Polish people [6, p.138]. It also draws attention to the fact that Pilsudski's camp, which lost Poland at the end of the war, dreamed of repeating the experiment of 1916-1918 and creating the Polnische Wehrmacht to fight the Red Army (p. 127).

In 1944, Germany was at the point of revolution, and the new Germany was supposed to withstand the Soviet offence and create political conditions to form the government of Pilsudski's supporters in Poland. For them, the victory of Britain, the USSR and the United States was the realization of a black scenario. One can

read about this in the documents from Sikorski's archive<sup>4</sup> [6, p.150]. Therefore, in the historical narrative the modern heirs of Pilsudski use the phrases: "two enemies" (about the beginning of the war) and "new occupation" (about its end).

On the seventieth anniversary of the outbreak of World War II, President Putin came to Poland and published a Letter to the Poles in the newspaper *Gazeta Wyborcza*. In addition to praising the Polish heroism, one can find a condemnation of the Ribbentrop-Molotov Pact in it, which the Congress of People's Deputies of the USSR already did in 1987 [7]. At the same time he emphasized that this was a tactical maneuver after the signing of agreement with Hitler by Britain and France, which buried all hopes for the joint front against Germany. President Putin also expressed gratitude for the care and respect the Poles treat the graves of 600 thousand Soviet soldiers with. Which, unfortunately, soon turned out to be untrue. Being Christians, the Poles do not desecrate the graves, but they transferred them to the cemeteries and the monuments were demolished.

In conclusion, let us recall the words of Andrzej Walicki, who regrets that today Poland is a synonym to aggressive Russophobia. These regrets relate not only to the political reasons but also to the cultural ones:

"One should remember that the Russians are the only great people with high appraisal for the Polish culture and good knowledge of the name of Mickiewicz. There has always been a Russophile movement in Poland, it existed in the 18th century and was represented by Trembecki. Different conservative noble confederations saw the possibility of a sincere Slavic brotherhood. Staszitz in his *Reflections on the Political Equilibrium in Europe* (1815) justified the alliance of Poland with Russia [3, p.106].

## REFERENCES

1. Bocheński A., *Dzieje głupoty w Polsce*, Kraków 2020.
2. *Engelgart J.*, *Klatwa generała Denikina*. Warszawa 2011
3. Walicki A., *O Rosji inaczej*, Warszawa 2019
4. *Rękas K.*, Jak „Bury” szkodzi polskiej niepodległości, [www.konserwtyzm.pl](http://www.konserwtyzm.pl), dost. 20.03.2021.
5. *Kolerov M. A.*, *Historical Politics in Modern Russian: Search for the Institutes and Language*, Russian Compilation, 2014, No. 16; <https://zapadrus.su/rusmir/istf/835-istoricheskaya-politika-v-sovremennoj-rossii-poisk-institutov-i-yazyka.html>, 20.03.2021
6. *Modzelewski W.*, *Polska – Rosja. Cud nad Wisłą – zwycięstwo zapowiadające katastrofę*, Warszawa 2020.
7. [www.wyborcza.pl](http://www.wyborcza.pl), [https://wyborcza.pl/1,76842,6983945,List\\_Putina\\_do\\_Polakow\\_\\_\\_pelna\\_wersja](https://wyborcza.pl/1,76842,6983945,List_Putina_do_Polakow___pelna_wersja).

---

<sup>4</sup> These archives contain documents testifying that Sikorski's government began to investigate the crimes of the reorganization of Polish-Lithuanian Commonwealth II.

**Манойлович Негош**  
кандидат политических наук, доцент  
кафедры общей и славянской филологии  
Института славянской культуры  
РГУ им.А.Н. Носыгина

## **ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ НА ФОНЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕРНОГОРСКИХ СЕРБОВ**

*Аннотация:* Двусторонние отношения Сербии и Черногории обременены тем фактом, что для обозначения одного и тот же самого сербского народа в Черногории используются два названия – традиционное название «сербы», а также «черногорцы» - гибридный вариант, являющийся продуктом относительно недавнего национально-культурного инжиниринга. Этому способствует, не на столько уход части черногорской политической элиты от сербского национально-культурного сознания, на сколько дпящееся внешнее вмешательство, которое способствует разъединению славянских народов и их государств, а также не позволяет предать забвению вооруженные конфликты, как в качестве термина в политическом дискурсе, так и в виде реальной геополитической угрозы. Вместе с тем, маловероятно, что под влиянием атлантического, как основного внешнеполитического вектора Черногории, название сербы в качестве этнонима, в силу традиционно сербской и православной национально-культурной идентичности подавляющей части народа в стране, будет полностью вытеснено альтернативным названием черногорцы.

*Ключевые слова:* Сербия; Черногория, сербы, черногорцы, самобытность, культура, двусторонние отношения Сербии и Черногории, Балканы, расширение НАТО.

### **Сербия и постюгославские государства**

Особое место в региональной политике Сербии занимают отношения Сербии с постюгославскими славянскими государствами, так называемыми «новыми соседями», которые окрашены, с одной стороны, целым рядом разногласий, унаследованных со времен гражданской войны и крушения общего государства, а с другой стороны, важным объединяющим эти страны фактором - общей европейской перспективой. [1]

Связи с этими государствами для Сербии имеют стратегическое значение, что обусловлено как историческими особенностями, так и тем, что в постюгославских государствах проживает многочисленная сербская община, интересы которой небезразличны для Белграда. Сербия, оказавшиеся вне Сербии в 90-е гг. прошлого века, в новых государствах нередко чувствуют, что их гражданские права ущемлены. Сербия, как государство «сербского народа и всех своих граждан» [2], активно пытается улучшить их положение, что не всегда доброжелательно оценивается соседями, на почве чего возникают политические разногласия.

### **Специфика сербского национально-культурного самосознания в Черногории в исторической перспективе и современности**

Двусторонние отношения с Черногорией имеют особое значение для Сербии. В отличие от других бывших югославских республик, после распада

СФРЮ до 2006 г. две республики продолжали составлять единое государство - Союзную Республику Югославию (1992-2003) и Государственный союз Сербии и Черногории (2003-2006), так как на первом референдуме о независимости (1992 г.) граждане Черногории подавляющим большинством в 95,65% высказались за сохранение сербско-черногорского политического единства.

К тому же, с момента получения независимости в 1878 г. подавляющее большинство жителей Черногории, включая население, правителей, политиков и ведущих интеллектуалов, относили себя к сербам. Это и не удивительно, так как речь идет о едином народе, который, освобождаясь от многовековой власти иноземных захватчиков, сформировал не одно, а два государства. Определяя себя к сербам, народ в Черногории отталкивался от святосавской православной идентичности. Главная заслуга в этом принадлежит Растко Неманичу - Святому Савве, который помог сербам, делая их церковь и государство независимыми в сложных исторических условиях 13-го века, основать прочные основы языка, народного духа, самобытности и культуры, которые оказались жизненно важной силой и незаменимым фактором сохранения сербов как славянского народа, его языка и культуры на протяжении многих веков.

Также, неизмеримое значение для идентитета черногорских сербов продолжает иметь Петар II Петрович Негош, которое заключается в том, что, как духовный и светский правитель небольшого славянского и сербского государства Черногория, он сумел сохранить свой народ в сложный 19-й век, а также его государственное и духовное пространство и вдохновить последующие поколения сербов на воспитание в духе лучших народных традиций, языка и культуры.

У православных сербов в Черногории двойственность в национальном определении возникла только в двадцатом веке, по итогам окончания гражданской войны, в которой победителями вышли коммунисты. Тогда «Милован Джилас, второй человек в Коммунистической партии Югославии (КПЮ), родом из Черногории, был идейным творцом концепции «черногорской нации», в соответствии с которой в ходе первой после Второй мировой войны переписи населения все православные, проживающие в Черногории, директивно были провозглашены «этническими» черногорцами.» [3, с.66] Поэтому определенное количество этнических сербов в Черногории сегодня называют себя черногорцами, но не с точки зрения региональных условий, как, например, герцеговинец, шумадиец или далматин, а с точки зрения национальности.

На почве гражданской войны, дезинтеграции национально-культурной идентичности сербов и произведенного над ними этнического инжиниринга на протяжении второй половины XX века была построена прочная база для развития нового самосознания среди сербского населения в Черногории. Что привело к стремлению части элиты к строению независимого от Белграда государства.

Так, в мае 2006 г. 55% граждан Черногории при поддержке ЕС высказа-



лись за отделение от Сербии на втором референдуме о независимости [4].

После получения независимости гражданские и национальные права черногорских сербов, тех, которые причисляют себя к сербам, резко ущемляются.

В Черногории на фоне проведения «проекта» по фальсификации истории страны под прицел поставлены сербская идентичность, сербский язык, Сербская православная церковь, сербские национальные символы. Черногорские сербы при переписи населения, в 2001 г. и 2011 г. столкнулись с такими реалиями, как давление на них, мешающее им свободно идентифицировать себя как сербов, говорящих на сербском языке, принуждение идентифицировать себя как «черногорцев», говорящих на «черногорском языке» [5].

Если в исторической перспективе черногорское национальное самосознание навязывалось сербам в Черногории изнутри югославскими коммунистическими аппаратчиками, то в современном периоде, оно по большому счету навязывается извне. Это обусловлено тем фактом, что Черногория в этом процессе «отхода от своей традиционной исторической идентичности при навязывании извне какой-то новой идентичности» [6] расположена в регионе Балкан, которые продолжают иметь важное стратегическое значение для важнейших геополитических игроков в регионе, в первую очередь для НАТО.

### **Длющаяся дезинтеграция сербского национально-культурного сознания в контексте расширения НАТО**

В этих условиях не удивительно, что национально-культурная дезинтеграция сопровождается и на политическом и государственном пространстве, чему способствует взятый Черногорией курс на полную интеграцию в Североатлантический альянс. К тому же, не смотря на заявленную цель по региональной стабилизации на Балканах, столь «пропитанных» влиянием НАТО, «балканизация» сохраняет свою актуальность. То есть, процесс расширения западного военно-политического блока на Балканах сопровождается распадом государств на новые неполноценные государства, которые, в свою очередь продолжают дробиться на другие, конфликтующие между собой части. Чаще всего - на почве спорных территорий и их разделения между различными этническими группами или внутри одного этноса. Этим самым регион становится легко контролируемым, а также Балканы остаются «удобным плацдармом для размещения военных баз НАТО в целях контроля Малой Азии и сдерживания «непредсказуемого постсоветского пространства» [7, с.190].

Современная военно-политическая картина на Балканах показывает, что Сербия остается единственной страной на Балканах, провозгласившая политику военного нейтралитета и не стремящаяся стать членом НАТО. Этот факт не может не осложнять отношения Сербии с ее соседями, в том числе с Черногорией, которая с 2017 г. как и почти все ее соседи, уже находится в

НАТО.<sup>5</sup>

Ко времени вступления Черногории в НАТО в качестве 29 присоединенного государства, история сербского народа была переписана. Дезинтеграция национально-культурной идентичности современных сербов в Черногории должна была быть осуществлена в первой фазе ударом по символическому идентитету, языковому самосознанию, и по религиозной составляющей. Теперь, когда первая фаза провалилась по итогам состоявшейся смене правительства в Черногории в 2020 г, уже наступила вторая дезинтеграционная фаза, в которой появилась реальная угроза осуществления самого трагического сценария выхода из политического кризиса в стране, а именно разжигания гражданской войны [8].

Все же, по итогам реализации первой фазы, черногорским сербам фактически запретили использование красно-сине-белого флага, который до получения независимости в 2006 году являлся исторически несменяемым государственным флагом Черногории. Забрали сербский язык и присвоили ему новое имя черногорский, который в начале, для отвода глаз называли не сербским, а родным. Сербскую православную церковь, которая являлась де-факто 1.000 лет и де-юре 800 лет духовным центром православного народа в Черногории, обозначили как некий форпост, идущий вперед Великой Сербии, в качестве основной политической угрозы проекта под названием независимая Черногория. Про СПЦ говорят, что это генератор нестабильности в Черногории, политический «зонтик» для многочисленных экстремистских политических групп. Конечно, этот выдуманный дискурс, играет важную роль в дискредитации Сербии, которая якобы имеет политических претензий на территории, которые сербский национализм считает своими, а именно Черногорию, Боснию и Герцеговину, отчасти Хорватию и Македонию.

Последним ударом против сербов должно было стать применение спорного закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» принятого 27 декабря 2019 года, целью которого являлась утрата исконной веры, храмов и церковной собственности. В названии закона содержатся слова о свободе вероисповедания, но если разобраться по своей сути данный закон, являлся инструментом легализации рейдерского захвата церковных земель.

Попытка представить рейдерский захват церковных земель в Черногории как очередное противостояние российскому «злокачественному» влиянию на Балканах, и сербскому шовинизму не удалась. Чувствуя, что их прижали к стене, на этот раз сербы не стали молчать. Поле боя выбрано – это были массовые акции протеста, которые ежедневно проводились в Черногории, Сербии и Республики Сербской. В городах Черногории проходили массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого закона. Десятки тысяч верующих собирались на крест-

---

<sup>5</sup> Так, Румыния и Болгария стали членами НАТО в 2004 г., Албания - в 2009 г., Хорватия вошла в НАТО в 2009 г., Македония в 2020 г. Босния и Герцеговина стала официальным кандидатом на вступление в НАТО в апреле 2010 г., но из-за позиции Республики Сербской пока не может добиться единой позиции по этому вопросу.

ные ходы по всей стране с девизом «Не отдадим святыни!»<sup>6</sup>. В результате народного возмущения Джуканович и его Демократическая партия социалистов проиграли парламентские выборы и перешли в оппозицию. Парламент Черногории принял 29 декабря 2020 г. поправки к спорному закону. Новый премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич назвал поправки «победой правового государства и народа» [9].

Несмотря на победу оппозиции, в кабинете президента Черногории еще пару лет должен остаться Мило Джуканович, который еще в своей инаугурационной речи в 2018 году назвал церковную проблему православных верующих «наиболее опасным фактором разрушения в процессе укрепления черногорской национальной и религиозной самобытности» [10], тем самым и окончательно объявил войну Сербской православной церкви.

По удивительному совпадению эти слова появились через пару месяцев после того, как Командующий Силами НАТО в Европе генерал Куртис Скапароти дал показания перед Комитетом вооруженных сил Сената США о том, что в Европе усилилось влияние России и что самой большой проблемой на Западных Балканах, является то, что Сербия и сербский народ имеют явные исторические связи и чувство принадлежности к русским - тем самым существует лучшая возможность для российского влияния [11].

После бомбардировки Сербии и Черногории в 1999 году США пытаются представить себя в качестве гарантии стабильности на Балканах, а Россия была помечена как тот, кто пытается заблокировать евроатлантический путь отдельных стран в регионе. Конечно, сербы - в качестве славянского народа, который, помимо этнического родства, связан с русскими духовной близостью, из-за этого испытывают сильное давление. В этом контексте религиозный и политический кризис в Черногории можно рассматривать лишь частью более широкого проекта, направленного на подавление, как западные партнеры говорят, российского «злокачественного» влияния, через продолжающееся ослабление позиции Сербии и сербского народа на Балканах. Главная цель – любой ценой не допустить геополитическое и экономическое возвращение в Балканы России, чья утрата влияния в регионе означала бы «окончательное выдавливание ее из Европы и лишение последних союзников» [7, с.190].

На самом деле и Сербия и Россия, «всегда являлись военно-политической и экономической опорой для Черногории. Поэтому черногорцам вбрасываются фальшивки, о том, что Белград или Москва якобы провоцируют беспорядки в этой стране», а подобные действия можно считать «следствием давней политики Запада по разъединению славянских народов и государств, включающей провоцирование конфликтов между ними» [12]. В гибридной войне с Россией, Черногория для Вашингтона просто еще одно поле битвы.

Джуканович, несмотря на то, что возглавляемая им политическая партия проиграла, не потерял полностью политическую мощь. Он находится в дан-

---

<sup>6</sup> По сербский: «Не дамо светиње!».

ном моменте в кохабитации, своеобразном политическом «сосуществовании» в качестве президента Черногории, принадлежавшего к другой политической партии, чем парламентское большинство. Но и этот факт не останавливает его. Наоборот, оставаясь на позиции президента страны, продолжает утверждать, что «Сербия нападает на Черногорию» с целью осуществления «сербизации Черногории» [13]. По его словам, «Сербия готовится к «косовской битве» и хочет представить Черногорию как «государство с сербской идентичностью» [13]. Также, обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране, а людей близких к СПЦ считает негодными идти по евроатлантическому пути [13]. Оттуда объясняется его стремление получить автокефалию для «черногорской церкви» по примеру Украины. При чем самое страшное то, что на этом пути, он не исключает возможность наступления гражданской войны [14]. Хотя, вооружённый конфликт подобия того, который произошел на востоке Украины, на территории Черногории маловероятен, а если и случится, то боевые действия будут вестись внутри каждого дома и семьи, ведь в Черногории, не редки случаи, что внутри одной семьи встречаются два разных толкования народного идентитета.

Тем не менее, в Сербии и в Черногории - части славянского мира, которую относительно недавно сотрясали гражданские войны и межславянские вооруженные конфликты, остаются многие нерешенные внутренние проблемы. В этой связи в регионе продолжает сохраняться высокий уровень конфликтного потенциала, а «Балканские народы и государства переходят в XXI в. с целым рядом нерешенных международных проблем и неурегулированных противоречий и конфликтов... Кроме того, многие проблемы Балкан не находят решения из-за того, что внешние силы, традиционно претендующие на соучастие (точнее, патерналистскую политику) в балканских делах, не могут и/или не хотят увидеть в балканских народах и государствах равнозначного им субъекта международных отношений» [15, с.404].

Поэтому, предстоящие дни, к сожалению, приносят неуверенность и страх.

### **Рефлексией дезинтеграции национально-культурного идентитета сербов в Черногории и их влияние на характер двусторонних отношений**

Несмотря на то, что отношения Сербии и Черногории характеризуются интенсивным политическим диалогом на высоком уровне и регулярными встречами между официальными лицами и, что процесс европейской интеграции, а также сотрудничество в торгово-экономической сфере являются общими приоритетными задачами для обеих стран, на пути построения полноценных политических отношений между Белградом и Подгорицей, стоят, кроме вопроса о статусе сербов в Черногории, следующие проблемы, которые являются неминуемой рефлексией дезинтеграции национально-культурного идентитета сербов в Черногории – вопрос использования так называемого «черногорского языка» в Сербии и регистрация канонически непризнанной, так называемой «Черногорской православной церкви» [16], а

на самом деле «шовинистической антицерковной секте, в которую входят люди, давно лишенные духовного сана» [17, с.66]. Отношения осложнены и признанием независимости Косово властями в Подгорице. Ведутся также и сложные переговоры о двойном гражданстве.

Дезинтеграция национально-культурной идентичности современных черногорских сербов этим самым продолжает отрицательно влиять на улучшение двусторонних отношений Сербии и Черногории в будущем. Также, частично раскрывает почему не сложились, не только представление о единой сербской идентичности среди этнических сербов в Балканах, но и общие для всех Балкан представления о так называемой «региональной идентичности», которые могли бы объединить эти страны между собой. Как правильно замечает сербский дипломат М. Йовичевич «географическая близость, общая языковая основа для большинства людей и культурное наследие, семейные традиции, народная культура, сходные политические и социальные модели, - все это не стало достаточным основанием для создания чувства общности на Балканах» [18]. Наоборот, в Балканах, особенно в его славянской части, которую в недавнее время сотрясали гражданские войны, вооруженные конфликты ведущиеся в целях сохранения национальной идентичности и государственной экзистенции продолжают иметь место не только в политическом дискурсе, а и в качестве реальной геополитической угрозы. При этом, особо настораживает тот факт, что эти конфликты, в том числе и межславянские, чаще всего не имеют характер защитной функции от иностранной и внешней агрессии, а в этой сложной антитезе «мы-они», эти конфликты направлены на решение домашних и внутренних несогласий.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Dragojlović N., Sretenović S. i Đukanović D., ur, Spoljna politika Srbije - Strategije i dokumenta, Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2010. P.: 37-52.
2. Конституция Республики Сербии 2006 г. Режим доступа: <https://worldconstitutions.ru/?p=369> (дата обращения 06.02.2021).
3. Koprivitsa C. D. Who is Montenegrin? (translated by V. Ryapukhina) //Сетевой журнал «Научный результат». Серия «Социальные и гуманитарные исследования». Т.2, No1(7), 2016.
4. Режим доступа: [http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2006/05/060522\\_montenegro\\_referendum\\_official.shtml](http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2006/05/060522_montenegro_referendum_official.shtml) (дата обращения 06.02.2021).
5. Черногория: сербский язык, идентичность и Сербская православная церковь под прицелом. Интервью экс-кандидата в президенты Черногории. IAREX, 26 сентября 2013 г. Режим доступа: <http://www.iarex.ru/interviews/41582.html> (дата обращения 06.02.2021).
6. Бульчук, Николай. Главная цель запада – это, конечно, Россия! Посол Сербии в России Славенко Терзич о России, Сербии, Византии и корнях современной русофобии. Режим доступа: <http://www.pravoslavie.ru/78801.html> (дата обращения 06.02.2021).
7. Пономарева, Е.Г., Рудов, Г.А. "Принцип домино". Мировая политика на рубеже веков. Монография / Е.Г. Пономарева, Г.А. Рудов. М.: Издательство

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2016.

8. Президент Черногории: за страну мы готовы сражаться даже из леса. Регнум, 18.09.2020 г. Режим доступа: <https://regnum.ru/news/polit/3067969.html> (дата обращения 06.02.2021).

9. Парламент Черногории принял поправки к закону о свободе вероисповедания. ТАСС, 29.12.2020 г. Режим доступа: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10374995> (дата обращения 06.02.2021).

10. Inauguracioni govor Predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. DPS Crne Gore, 20.05.2018 г. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=4X-gE7FvFBo> (дата обращения 06.02.2021).

11. Live: В Конгрессе обсуждают вызовы безопасности в Европе. Голос Америки, 15.03.2018г. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=bxWcAc8Hp1Y> (дата обращения 07.02.2021).

12. Балиев, Алексей, Сербия–Россия: шаг за шагом, 20.01.2016 г. Столетие. Режим доступа: [http://www.stoletie.ru/slavyanskoe\\_pole/serbijarossija\\_shag\\_za\\_shagom\\_152.htm](http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/serbijarossija_shag_za_shagom_152.htm) (дата обращения 06.02.2021).

13. Президент Черногории: за страну мы готовы сражаться даже из леса. Регнум, 18.09.2020 г. Режим доступа: <https://regnum.ru/news/polit/3067969.html> (дата обращения 06.02.2021).

14. Борщев, К.: Президент Черногории снова обвиняет Белград в «попытках сербизации» страны. Балканист, 06.02.2021 Режим доступа: <https://balkanist.ru/prezident-chernogorii-snova-obvinyayet-belgrad-v-popytkah-serbizatsii-strany/> (дата обращения 07.02.2021).

15. Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. М.: Вече, 2000.

16. Đukanović, Dragan, „Identitetska pitanja" i linije unutrašnjih podela u Crnoj Gori, в журнале: Medjunarodni problemi 2014, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014, str. 395-422.

17. Копривитса С. D. Who is Montenegrin? (translated by V. Ryapukhina) // Сетевой журнал «Научный результат». Серия «Социальные и гуманитарные исследования». Т.2, No1 (7), 2016.

18. Jovićević, Marina, Regionalna saradnja na Balkanu, od devedesetih do danas - uticaj Evropske unije в журнале: Medjunarodni problemi 2015, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2015.

## **BILATERAL RELATIONS OF SERBIA AND MONTENEGRO IN THE CONTEXT OF THE DISINTEGRATION IN THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY OF MONTENEGRIN SERBS**

**N. Manojlovic**

PhD in International Relations,  
Associate Professor, Institute of Slavic Culture  
of the The Kosygin State University of Russia, Moscow, Russian Federation

**Abstract:** Bilateral relations between Serbia and Montenegro are burdened by the fact that two names are used to designate the same Serbian people in Montenegro - the traditional name

“Serbs”, as well as “Montenegrins” - a hybrid variant that is a product of a relatively recent national-cultural engineering. This is facilitated not so much by the departure of a part of the Montenegrin political elite from the Serbian national-cultural consciousness, but by the continuing external intervention, which contributes to the separation of the Slavic peoples and their states, and does not allow consignment to oblivion in the history of armed conflicts, not only from political discourse, but and as a real geopolitical threat. At the same time, it is unlikely that under the influence of the foreign policy vector of Montenegro, the name Serbs as an ethnonym, due to the traditionally Serbian and Orthodox national-cultural identity of the overwhelming part of the people in the country, will be completely supplanted by the alternative name Montenegrins.

**Keywords:** Serbia; Montenegro, Serbs, Montenegrins, identity, culture, bilateral relations between Serbia and Montenegro, the Balkans, NATO expansion.

### **Serbia and the former Yugoslav states**

Serbia's political relations with the former Yugoslav Slavic states, the so-called «new neighbors», stand out in Serbia's regional policy and are characterized, on the one hand, by a number of differences inherited from the civil war and the collapse of the common state, and, on the other, by the European perspective [1] that unites these countries.

For Serbia, ties with these states are of strategic importance due to both historical characteristics and the fact that the former Yugoslav states are inhabited by a large Serbian community whose interests are not neglected by Belgrade. Serbs who were expelled from Serbia in the 1990s quite often feel disenfranchised in the new states. Serbia, as the state of «the Serbian people and all its citizens» [2], is actively trying to improve the situation although this is not always seen favorably by its neighbors, which has led to political disagreements.

### **The Specifics of Serbian National and Cultural Identity in Montenegro from Historical and Contemporary Perspective**

Bilateral relations with Montenegro are of particular importance to Serbia. Unlike other former Yugoslav republics, after the collapse of SFRY until 2006, the two republics continued to represent a single state - the Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003) and the State Union of Serbia and Montenegro (2003-2006), since at the first referendum on independence (1992) citizens of Montenegro by an overwhelming majority of 95.65% voted for the preservation of the Serbian-Montenegrin political unity.

Moreover, since the independence of Montenegro in 1878, the vast majority of Montenegrins, including the population, rulers, politicians, and leading intellectuals, identified themselves as Serbs. This is not surprising, since we are talking about a single nation, which, freeing itself from centuries of power of foreign invaders, has formed not one but two states. When defining itself as a Serb, the people of Montenegro proceeded from the Sviatoslav Orthodox identity. Primary credit for this belongs to Rastko Nemanjic - St. Sava, who helped the Serbs, making their church and state independent in the difficult historical conditions of the 13th century, to establish strong foundations of language, national spirit, identity, and culture that proved to be a vital force and indispensable factor in the preservation of Serbs as a Slavic people, its language and culture for many centuries. Also, the

immeasurable significance for the identity of Montenegrin Serbs continues to be Petar II Petrovic Njegos, who, as the spiritual and secular ruler of the small Slavic and the Serbian state of Montenegro, was able to preserve his people in the difficult 19th century, as well as its state and spiritual space and inspire subsequent generations of Serbs to bring forth in the ethos of best national traditions, language, and culture.

For Orthodox Serbs in Montenegro, the duality in national definition emerged only in the twentieth century, at the end of the civil war, which was won by the Communists. At that time, «Milovan Djilas, the second figure in the League of Communist of Yugoslavia (SKJ), originally from Montenegro, was the ideological creator of the Montenegrin nation concept, according to which in the first after World War II census all Orthodox Serbs living in Montenegro were decreed as 'ethnic' Montenegrins» [3, p.66 ]. Therefore, a certain number of ethnic Serbs in Montenegro today call themselves Montenegrins, but not in terms of regional conditions, such as Herzegovinian, Sumadijan, or Dalmatian, but in terms of nationality.

Through the civil war, the disintegration of the national-cultural identity of Serbs, and the ethnic engineering that was done over them during the second half of the twentieth century, a solid base for the development of a new identity among the Serbian population in Montenegro was built. This resulted in the aspiration of part of the elite to build a state independent from Belgrade. Thus, in May 2006, 55% of Montenegrin citizens, with EU support, voted for separation from Serbia in a second independence referendum [4].

After independence, the civil and national rights of Montenegrin Serbs, those who identify themselves as Serbs, have been sharply curtailed. In Montenegro, the Serbian identity, the Serbian language, the Serbian Orthodox Church, and Serbian national symbols have been targeted in the context of a «project» to falsify the country's history. Montenegrin Serbs faced realities in the 2001 and 2011 censuses, such as pressure on them to identify themselves freely as Serbs who speak Serbian, forcing them to identify themselves as «Montenegrins» who speak Montenegrin» [5].

While in historical perspective the Montenegrin national identity was imposed on Serbs in Montenegro from within by Yugoslav communist apparatuses, in the modern period, it is largely imposed from the outside. This is due to the fact that Montenegro in this process of «moving away from its traditional historical identity with the imposition of some new identity from the outside» [6] is located in the Balkans region, which continues to have an essential strategic value for the most important geopolitical players in the region, primarily for NATO.

### **The Ongoing Disintegration of Serbian National and Cultural Consciousness in the Context of NATO Enlargement**

In these circumstances, it is not surprising that national-cultural disintegration is accompanied in the political and state environment, facilitated by Montenegro's course of full integration into the North Atlantic Treaty Organization. Moreover, despite the declared goal of regional stabilization in the Balkans, so «impreg-



nated» with the influence of NATO, «Balkanization» retains its relevance. That is, the process of expansion of the Western military and political block in the Balkans is accompanied by the disintegration of states into new incomplete states, which, in turn, continue to fragment into other, conflicting parts. Most often on the basis of disputed territories and their division between different ethnic groups or within one ethnic group. This makes the region easily controllable, and the Balkans remain «a convenient springboard for the deployment of NATO military bases to control Asia Minor and to contain the «unpredictable former Soviet area» [7, p.190].

The current military-political situation in the Balkans shows that Serbia remains the only country in the Balkans that has declared a policy of military neutrality and is not seeking NATO membership. This fact cannot but complicate Serbia's relations with its neighbors, including Montenegro, which since 2017, as almost all of its neighbors, is now a member of NATO.<sup>7</sup>

At the time Montenegro joined NATO as an annexed state, the history of the Serbian people had been rewritten. The disintegration of the national and cultural identity of modern Serbs in Montenegro had to be accomplished in the first phase by striking at the symbolic identity, the linguistic identity, and the religious component. Now, when the first phase failed as a result of the change of government in Montenegro in 2020, the second disintegration phase has already started, in which there is a real threat of the most tragic scene of the political crisis in the country, namely the outbreak of civil war [8].

Still, as a result of the first phase, Montenegrin Serbs have banned the use of the red-blue-white flag, which had been the historically tenable state flag of Montenegro until its independence in 2006. They took away the Serbian language and gave it a new name - Montenegrin, which in the beginning was called not Serbian, but native. The Serbian Orthodox Church, which has been the de facto spiritual center of the Orthodox people in Montenegro for 1.000 years and de jure for 800 years, was designated as a kind of outpost of Greater Serbia, as the main political threat to the project called independent Montenegro. It is said that this is a generator of instability in Montenegro, a political «parasol» for numerous extremist political groups. Of course, this fictional discourse plays an important role in discrediting Serbia, which allegedly has political claims to territories that Serbian nationalism considers its own, namely Montenegro, Bosnia, and Herzegovina, partly Croatia and Macedonia.

The final blow against the Serbs should have been the application of the controversial law «On Freedom of Religion and Belief and the Legal Status of Religious Communities» adopted on December 27, 2019, which was aimed at losing the original faith, churches, and church property. The name of the law implies words about freedom of religion, but if you analyze the content of this law, it was a tool to legalize the seizure of church land.

---

<sup>7</sup> Romania and Bulgaria became NATO members in 2004, Albania in 2009, Croatia joined NATO in 2009 and Macedonia in 2020. Bosnia and Herzegovina became an official candidate for NATO membership in April 2010, but due to the position of Republika Srpska, it is still unable to achieve a unified position on the issue.

The attempt to portray the seizure of church land in Montenegro as another confrontation with Russian «malignant» influence in the Balkans and Serbian chauvinism failed. Sensing that they were pinned against the wall, this time the Serbs were not silent. The battleground chosen was the mass protests that took place daily in Montenegro, Serbia, and Republika Srpska. Mass peaceful marches and prayers were held in the cities of Montenegro in defense of the rights of the Serbian Orthodox Church against the adopted law. Tens of thousands of believers gathered in processions across the country with the slogan «We will not give up the sanctities! »<sup>8</sup>. As a result of the popular outcry, Djukanovic and his Democratic Party of Socialists lost the parliamentary elections and went into opposition. The Montenegrin parliament passed amendments to the controversial law on December 29, 2020. Montenegro's new prime minister, Zdravko Krivokapic, called the amendments «a victory for the rule of law and the people» [9].

Despite the victory of the opposition, Milo Djukanovic, who in his inaugural speech in 2018 called the church problem of Orthodox believers «the most dangerous factor of destruction in the process of strengthening the Montenegrin national and religious identity» [10], is expected to remain in the Montenegrin presidential office for another couple of years, thereby finally declared war on the Serbian Orthodox Church.

These words, by a surprising coincidence, came a couple of months after General Curtis Scaparoti, commander of NATO forces in Europe, testified before the US Senate Armed Services Committee that Russian influence has increased in Europe and that the biggest problem in the Western Balkans, is that Serbia and the Serbian people have clear historical ties and a sense of belonging to the Russians - thus there is a better opportunity for Russian influence [11].

The U.S. has been trying to present itself as a guarantee of stability in the Balkans after the bombing of Serbia and Montenegro in 1999, and Russia has been labeled as the one trying to block the Euro-Atlantic path of certain countries in the region. Of course, the Serbs - as Slavic people who, in addition to their ethnic kinship, are bound to the Russians by spiritual affinity - are under intense pressure. In this context, the religious and political crisis in Montenegro can only be seen as part of a broader project aimed at suppressing, as Western counterparts say, Russian «malignant» influence, through the continued weakening of Serbia and the Serbian people in the Balkans. The main goal is to prevent at all costs the geopolitical and economic return of Russia to the Balkans, whose loss of influence in the region would mean «the final squeezing out of Europe and depriving it of its last allies» [7, p.190].

However, both Serbia and Russia «have always been a military-political and economic support for Montenegro. That is why falsifications are spread among Montenegrins that Belgrade or Moscow allegedly provoke unrest in this country» and such actions can be considered «a consequence of the long-standing policy of the West to divide Slavic peoples and states, which includes provoking conflicts

---

<sup>8</sup> In Serbian: «Не дамо светинње!».

between them» [12]. In the hybrid war with Russia, Montenegro is just another battlefield for Washington.

Djukanovic, despite the fact that the political party he leads lost, has not completely lost political power. He is at this point in cohabitation, a kind of political «coexistence» as president of Montenegro, belonging to a political party other than the parliamentary majority. But this fact does not stop him either. On the contrary, remaining in the position of the country's president, he continues to claim that «Serbia is attacking Montenegro» in order to carry out the «Serbization of Montenegro» [13]. According to him, «Serbia is preparing for the «Kosovo battle» and wants to present Montenegro as a «state with Serbian identity» [13]. Also, he accuses the Serbian Orthodox Church of an attempt to preserve the religious monopoly in the country, and he considers the people close to the orthodox Church unfit to follow the Euro-Atlantic path [13]. This explains his desire to obtain autocephaly for the «Montenegrin Church», following the example of Ukraine. The worst thing is that along this path, he does not rule out the possibility of a civil war [14]. Although, an armed conflict similar to the one that took place in eastern Ukraine is unlikely in Montenegro, and even if it comes true, the hostilities will be fought within each house and family, because in Montenegro, it is not rare to find two different interpretations of the national identity within one family.

Nevertheless, in Serbia and Montenegro, parts of the Slavic world that have been shaken relatively recently by civil wars and inter-Slavic armed conflicts, many unresolved internal problems remain. In this regard, the region continues to have a high level of conflict potential, and «the Balkan peoples and states are entering the twenty-first century with a number of unresolved international problems and unresolved contradictions and conflicts... Moreover, many problems of the Balkans do not find a solution due to the fact that external forces, traditionally claiming complicity (or rather, paternalistic policy) in Balkan affairs, cannot and/or do not want to see the Balkan peoples and states as an equal subject of international relations» [15, p.404]. Therefore, the coming days, unfortunately, bring uncertainty and fear.

### **Reflection on the Disintegration of the National and Cultural Identity of Serbs in Montenegro and its Impact on the Nature of Bilateral Relations**

Despite the fact that relations between Serbia and Montenegro are characterized by intensive political dialogue at a high level and regular meetings between officials and that the process of European integration, as well as cooperation in the trade and economic sphere, are common priorities for both countries. In the way of building comprehensive political relations between Belgrade and Podgorica, in addition to the question of the status of Serbs in Montenegro, are the following problems, which are an inevitable reflection of the disintegration of the national and cultural identity of Serbs in Montenegro. The issue of the use of the so-called «Montenegrin language» in Serbia and the registration of the canonically unrecognized, supposedly «Montenegrin Orthodox Church» [16] and in fact «a chauvinistic anti-clerical sect, which includes people long deprived of their spiritual ministry» [17, p.66]. Relations are also complicated by the recognition of Kosovo's in-

dependence by the authorities in Podgorica. There are also difficult negotiations about dual citizenship.

The disintegration of the national and cultural identity of modern Montenegrin Serbs thus continues to have a negative impact on the improvement of bilateral relations between Serbia and Montenegro in the future. Also, partly reveals why not only the idea of a unified Serbian identity among ethnic Serbs in the Balkans but also common to all Balkans ideas of the so-called «regional identity», which could unite these countries among themselves, have not taken shape. As the Serbian diplomat M. Jovicevic correctly notes, «geographic proximity, common linguistic basis for most people and cultural heritage, family traditions, folk culture, similar political and social models - all this was not a sufficient basis for creating a sense of community in the Balkans»[18]. On the contrary, in the Balkans, especially in its Slavic part, which has recently been rattled by civil wars, armed conflicts in order to preserve national identity and state existences continue not only in political discourse but also as a real geopolitical threat. At the same time, it is particularly alarming that these conflicts, including inter-Slavic conflicts, most often do not have a protective function against foreign and external aggression, and in this complex antithesis of «us and them», these conflicts are aimed at resolving domestic and internal disagreements.

#### **REFERENCES:**

1. Dragojlović N., Sretenović S. i Đukanović D., ur, Spoljna politika Srbije - Strategije i dokumenta, Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2010. p.: 37-52.
2. Constitution of the Republic of Serbia 2006. Available at: <https://worldconstitutions.ru/?p=369> (06.02.2021)
3. Koprivitsa C. D. Who is Montenegrin? (translated by V. Ryapukhina) // Web-journal «Scientific result». Series «Social and Humanitarian Studies». Vol. 2, No1 (7), 2016.
4. Available at: [http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2006/05/060522\\_montenegro\\_referendum\\_official.shtml](http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2006/05/060522_montenegro_referendum_official.shtml) (06.02.2021)
5. Montenegro: Serbian Language, Identity, and Serbian Orthodox Church Under the Gun: Interview with former Montenegrin presidential candidate. IAREX, September 26, 2013. Available at: <http://www.iarex.ru/interviews/41582.html> (06.02.2021)
6. Bulchuk Nikolai: The main goal of the West is, of course, Russia! Serbian Ambassador to Russia Slavenko Terzic on Russia, Serbia, Byzantium and the roots of modern Russophobia. Available at: <http://www.pravoslavie.ru/78801.html> (06.02.2021).
7. Ponomareva E.G., Rudov G.A. The Domino Principle. World Politics at the Turn of the Century. Monograph / E.G. Ponomareva, G.A. Rudov. M.: Publishing house «Canon+» ROOI «Rehabilitation», 2016. p.190.
8. President of Montenegro: We are ready to fight for our country even from the woods. Regnum, 18.09.2020. Available at: <https://regnum.ru/news/polit/3067969.html> (06.02.2021)

9. The Montenegrin Parliament adopted amendments to the law on religious freedom. TASS, 29.12.2020. Available at: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10374995> (06.02.2021)
10. Inauguracioni govor Predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. DPS Crne Gore, 20.05.2018 g. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=4X-gE7FvFBo> (06.02.2021).
11. Live: Congress discusses security challenges in Europe. Voice of America, 15.03.2018. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=bxWcAc8Hp1Y> (07.02.2021)
12. Baliev, Alexei, Serbia-Russia: Step by Step, 20.01.2016. Centenary. Available at: [http://www.stoletie.ru/slavyanskoe\\_pole/serbijarossija\\_shag\\_za\\_shagom\\_152.htm](http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/serbijarossija_shag_za_shagom_152.htm) (06.02.2021)
13. President of Montenegro: we are ready to fight for our country even from the woods. Regnum, 18.09.2020. Available at: <https://regnum.ru/news/polit/3067969.html> (06.02.2021).
14. Borshev K.: Montenegrin President Accuses Belgrade Again of «Attempts to Serbize» the Country. Balkanist, 06.02.2021 Available at: <https://balkanist.ru/prezident-chernogorii-snova-obvinyaet-belgrad-v-popytkah-serbizatsii-strany/> (07.02.2021).
15. Zadokhin A. G., Nizovsky A.U. The Gunpowder Cellar of Europe. - Moscow: Veche, 2000. p. 404.
16. Đukanović, Dragan, „Identitetska pitanja» i linije unutrašnjih podela u Crnoj Gori, Magazine: Medjunarodni problemi 2014, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014., str. 395-422.
17. Koprivitsa C. D. Who is Montenegrin? (translated by V. Ryapukhina) // Web-journal «Scientific result». Series «Social and Humanitarian Studies». Vol. 2, No1 (7), 2016.
18. Jovićević, Marina, Regionalna saradnja na Balkanu, od devedesetih do danas - uticaj Evropske unije in: Medjunarodni problemi 2015, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2015

*Адельгейм Ирина Евгеньевна,  
доктор филологических наук  
ведущий научный сотрудник  
Института славяноведения РАН*

## **ГРОТЕСК VS ТРАГЕДИЯ. ТЕМА ХОЛОКОСТА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ В ТЕКСТАХ С. ХУТНИК, И. ОСТАХОВИЧА, А.ТУРГЕНЕВА**

**Аннотация:** Статья посвящена анализу текстов польских авторов И. Остаховича и С. Хутник и российского писателя Андрея Тургенева (псевдоним В. Курицына), порожденных перспективой пост-памяти, которая рано или поздно выявляет и заполняет «белые

пятна», ощущением, что адекватный дискурс не выработан или имеющийся дискурс «не работает». Они обращаются к той части исторической травмы, которая не была (вовсе или достаточно) проработана, замалчивалась по причине своего постыдного или, во всяком случае, негероического характера, препятствующего включению данного опыта в большой нарратив. В статье сделана попытка ответить на вопрос: какова психологически-художественная причина использования при обращении к темам, сакрализованным самим масштабом человеческой трагедии, – опыту Холокоста и Ленинградской блокады, – гротеска, сарказма, черного юмора.

**Ключевые слова:** историческая травма, пост-память, большой нарратив, Холокост, Ленинградская блокада, гротеск, деконструкция, иронически-провокационная терапия Ф. Фарелли.

В циркуляцию пост-памяти об исторической травме включены и те, кто не связан с ней «генетически» [14. S.243]. Д. Лакапра называет травму «заразной» – она распространяется даже не только через непосредственное общение со свидетелями, но и посредством научных и научно-популярных исследований, художественной рефлексии, СМИ, включается в процесс самоидентификации как проекция [9. S.108].

Это опыт, например, десятилетиями вытеснявшейся травмы, связанной с (со)участием поляков в Холокосте. Опыт стыда вообще «с трудом включается в багаж памяти, поскольку не создает позитивного образа себя или социума» [1. S.51]: любое национальное государство «тщательно конструирует общее историческое наследие и делает все возможное, чтобы дискредитировать или подавить память о событиях, нарушающих декларируемую общность национальной традиции» [17. С.94]. Поэтому такого рода опыт долго не находит символического выражения. Именно здесь – в обновлении коллективной памяти, особенно когда речь идет о проработке постыдных воспоминаний [17. С.16], – важнейшую роль играет смена поколений. Чувство стыда и страха, потребность прервать «культуру молчания» [15. S.98], сознательно проработать прошлое ощущается в мировосприятии младшей генерации польских писателей.

Применительно к Тургеневу/Курицыну и не только (современная русская литература 2000-2010-х гг. сосредоточивает внимание на теме блокады Ленинграда, причем место текстов, посвященных блокаде, ощущается и понимается литературным сообществом (а в ряде случаев и «общественностью» в целом) как системно важное [19]) – это попытка освободиться от смыслов, навязанных советским победным нарративом, и найти свой язык для повествования о Ленинградской блокаде. Победа в Великой Отечественной войне остается в коллективном сознании единственным моментом в прошлом, ценность которого не была девальвирована в постсоветский период и потому оказывается единым ценностным ориентиром для оценки настоящего и коллективной идентичности постсоветского человека.

Здесь мы также имеем дело – хотя и иным в смысле отношений субъекта/объекта, палача/жертвы/свидетеля – с негибкостью, ригидностью позитивного самоотождествления с героическим прошлым, что парадоксальным образом провоцирует на то, чтобы демонстративно выйти за рамки присущих

этому сознанию стереотипов. И блокада Ленинграда оказывается событием, предельно проблематизирующим самые неудобные вопросы, связанные как раз с ценой войны и с теми жертвами, которые, в формулировке официальной позднесоветской риторики, были «принесены на алтарь Победы». Мемориализация блокады была направлена на установление причинно-следственной связи между массовой гибелью людей и героической мартирологией (потому и началась далеко не сразу и с чудовищными аберрациями). В коллективной памяти сформировался своего рода «блокадный миф», оправдывающий массовую гибель людей как «добровольную» и «героическую» жертву – сработал своего рода защитный механизм.

Тексты Остаховича и Хутник – яркое воплощение ощущения как личной травмы «запятнанности» Польши сотворенным на ее территории, на глазах у поляков и при их участии Злом (здесь «каждый атом обогрен кровью. [...] Если мир полон руды зла, то именно здесь, у нас, стояли плавильные печи. Крупномасштабное производство чистейшего зла...»; «зло – элемент радиоактивный, все здесь заражено, все – активное зло...»; это место «терзают – от глубоких подземных вод сквозь песок, глину, бетон и кирпичи, корни [...] угрызения совести и болезненный опыт» [11. S.205]. Неслучайно самое название книги Остаховича отсылает к фильму Дж. Ромеро «Ночь живых мертвецов» (1968), снятому в стиле *gorno*, предполагающем не появление зла извне, но нахождение его источника *внутри* изображаемого мира).

Варшава описывается молодыми авторами как город, стоящий в буквальном смысле *на трупах, на крови, на костях* (город-«кладбище» [11. S.205], «[...] мы дышим воздухом, насыщенным сожженным городом»; «В этом неустанно несуществующем месте сначала жили евреи, потом теснились евреи, и в конце концов погибли евреи»; «Мурановские духи жили в этом щебне-бетоне, который сгребли, раздавили, а потом снова размолотили и в кирпич превратили. И из которого жилой Муранов выстроили, кирпич за кирпичом. А в кирпиче кости, просто-таки размолотые трупы» [4. S. 120, 123, 133]). Здесь после войны на руинах и из руин (действительно зачастую вперемешку с костями – из производившегося прямо на месте пустотелого кирпича типа «Муранов») сожженного гетто был выстроен социалистический район-утопия Муранов, представлявший собой воплощенное забвение – на протяжении десятилетий ничто в нем не напоминало о бывших обитателях. Еврейский слой варшавского «палимпсеста» был стерт, территория осваивалась как чистый лист: «Ездили здесь бульдозеры, потом строители, возникли многоквартирные дома, столько лет коммунизма, обитали тут не слишком хлебосольные жители народной Польши, пьянки, вестерны после вечерних новостей, нехитрый секс и недепилированные ноги, спокойный сон пенсионеров, обеды без приправ, белье на балконах»; «Мы не предаемся воспоминаниям» [11. S.11-12, 76]. Характерно, что местом действия значительной части романа Остаховича является ТЦ «Аркадия», пространство, представляющее собой наглядное столкновение двух миров – иллюзии вечного счастья потребительства и вытесненной на потребу глянцевому благополучию памя-

ти о Холокосте (торговый центр выстроен на месте депо, из которого шли эшелоны в концлагерь).

Еврейское прошлое города воспринимается авторами как непосредственно соприкасающееся с сегодняшней мирной жизнью подполье. И эта проза действительно исследует локус подвала – как пространства, связанного с inferнальной областью, пространства смерти: «Но спуститься в подвал нельзя, потому что он засыпан и завален щебнем с остатками тел бывших жителей, которые теперь шатаются по комнатам и пугают»; «Подвал, из него самые большие страхи сочлились уже многие годы» [4. S. 124, 132]; «мы слышим их все отчетливее, это уже не царапанье, а хруст распрямляемых костей»; «Ты себе не представляешь, что там делается, в этом нашем подвале, это какой-то некрополь, столица трупов» [4. S. 34, 35, 80]. Спуск в подвальное пространство живых и выход оттуда мертвых ассоциируется с нарушением границы между жизнью и смертью, с погребением заживо, посмертным блужданием неуспокоенной души и одновременно с глубинами памяти (из дыры в подвале доносится «шум, как из раковины, если ее приложить к уху» [4. S.54]: в раковине, как мы знаем, шумит не море, а наша собственная кровь – так и здесь шумят не мертвые, а память и совесть живых).

Район Муранов, по сути, воплощает топос «проклятого дома», населенного призраками: «Муранооо, повесть о несуществующем городе в центре города, о духах эта повесть, о шептухах»; «Муранов – это духи, падающие кирпичи, призраки по ночам, какие-то рассказы, сочащиеся из уст лестничной клетки»; «Варшавские духи, с которыми ты сидишь за круглым столом, накрытым зеленой плюшевой скатертью»; «ночью бабушка просыпалась, обмирая от страха, глядь – а на ее одеяле какой-то раввин молится» [4. S.120-123, 136]; «трупы, шляющиеся под городом» [11. S.63]. Одновременно он осмысливается и как своего рода огромный «подвал» Польши, вытесняемое в подсознание болезненное прошлое: «Знаете, это такой кусочек засохший на карте. Струп на карте, не желающий отваливаться, крепко держащийся. Мы его сдираем, под ним блестит сукровица и выплескивается при каждом движении»; «Да, кто-то шепчет, кто-то нам тайные знаки подает из самого темного угла, из развалин дома»; неслучайно спустившиеся в подвал польские дети чувствовали, «как их постепенно засасывает эта подвальная история, скользкая повесть, блуждающая вдоль стен и шепчущая все громче: “Муранооо”» [4. S.122, 135].

«Возвращение» души-призрака всегда аномально и свидетельствует о некоей нерешенной вовремя проблеме. В данном случае – не пережитый варшавянами траур по еврейским соседям (что, по определению Р. Сендыки, является общей чертой «не-мест памяти» [13]), – неслучайно З. Бауман называет мир после Холокоста «полным призраков» [3]: «здесь, на Муранове, то и дело какую-нибудь семью навещали [...] таинственные фигуры. Все потому, что обряда погребения не было, что в руинах лежали пригвожденные человеческие души, за которые даже молиться неизвестно как, потому что неизвестно, что и как» [4. S.136]; «Они никак не могут взять себя в руки, кто-то обижен на Бога, не хочет дальше и шагу ступить, у всех по-разному, кто-



то боится, что, о ужас, всё поймет, или, хуже того, будет вынужден всё простить» [11. S.87]. Жертвы Холокоста противопоставлены польским жертвам оккупации, многократно оплаканным, т.е. возникает образ вытеснения из памяти чужих страданий в пользу польской национальной мартирологии: «Ты хочешь знать, почему поляки не вылезают из могил? [...] Вылезают только те, о ком никто не помнит, те, у кого нет родственников, о ком никто не грустит над могилой. Человек после смерти нуждается в тепле, интересе, особенно после трагической смерти. Ну вот. А если все родственники, от мамы до самых дальних кузенов, в земле, все знакомые в земле, что ж, как тут лежать спокойно [...]. А поляки досыта накормлены лампадками, цветами, молитвами, воспоминаниями» [11. S.203].

Чувство стыда сублимируется в мотивы страха и возмездия – умершие напоминают о себе – шепчут, шумят, угрожают, умоляют, убаюкивают, будят и т.д.: «Му-ра-нооо. Как какое-то угрызение совести или заклятие, которое невозможно расшифровать. До утра клубилось между ушами, взывало, шумело, сеяло беспокойство»; «что это за жизнь – когда вынужден постоянно вынюхивать заговор призраков»; «В этом городе невозможно заснуть, душно-беспокойно. В ушах свистит чей-то шепот, кто-то приближает свои дрожащие губы и тихонько напевает: „Муранооо, Муранооо“»; «Представь себе, что ты в таком доме должен жить, а дом не твой, он принадлежит этим мертвецам»; «Они здесь, снились бабушке в эту ночь, нашептывали ей на ухо странные предсказания. Закопай нас, просили они, убей нас, умоляли, тогда мы не убьем тебя, обещали»; «духи, которые якобы во сне трясут ее за плечо и шепчут хрипло на ухо: Муранооо, помнишь меня, Муранооо»; «Евреи сидят на своих пожитках и стерегут их, вдруг они нам что-нибудь сделают, вдруг нас живьем закопают, помогите. Евреи, словно драконы, покрытые чешуей, хрипло дышат и машут хвостами. А заклятие вы знаете? Блин, не знаем мы никакого заклятия» [4. S. 133, 120, 121, 124, 132, 133, 135-136]; «я представил себе, как по всей стране они начинают вылезать из придорожных канав, из-под железнодорожных насыпей и отправляются в близлежащие городки – рассказать о своих страданиях и чайку попить [...]. Боюсь, что живые к этому не готовы» [11. S.184].

Рассказ Хутник представляет собой помесь сказки в духе братьев Гримм и детской «страшилки» с ее абсурдом, развернутый эпизод черного юмора, совмещающий в себе элементы комического и ужасного. Здесь причудливо сочетаются «гриммовская» простота и жестокость логики («Когда бабушку стали по ночам пугать привидения, у нее возник план: приготовить из детей мацу, покрошить в подвале, и пускай эти крошки превратятся в золотые камешки. Евреи бросятся их подбирать и потравятся, поскольку есть человеческое тело вредно для здоровья – наукой доказано»; «Дети вдруг вспомнили об идее с мацой, приготовленной из их тел. Начали поспешно крошить свои пальцы, руки, носы. Рассыпать крошки вокруг себя и звать, словно курят: “Цып-цып-цып, евреей, евреей! Муранооо!” Послышались шорохи, какое-то чавканье, крошки полетели во все стороны.

Голодые призраки с большим аппетитом поедали детей»; «Из угла доносится только шум и свист, и это “Муранооо”, проникающее в самое сердце. А дети крошили уже все, что у них было. Теперь оставалось только тихонько просить духов смилостивиться над ними») с доведенными до абсурда, но узнаваемыми польскими стереотипами («Потому что евреи ленились. Им попросту не хотелось убегать. Поляки то и дело высывались из-за забора и кричали им: “Эй!” А те: “Да ладно”. Тогда поляки снова: “Эй! Мы вам ковер-самолет дадим, сядете на него да и улетите из этого гетто”. Из-за стены в ответ, что, мол, ковры грязные. Тогда польская армия – давай пылесосы сбрасывать. Без мешков! Энергосберегающие пылесосы в гетто кидали, чтобы эти неженки задницы себе не запачкали. А они – ноль реакции, передумали, мол. Капризничают: “Не-ет. Нам неохота. Нам и тут хорошо, в нашем маленьком городе Муранооо” [...]. Вот и говори с ними после этого. Объясняешь, помогаешь – а они свое. Только головами мотают да ногой притоптывают»; «Самое главное, что на территории этого города, которого уже нет, теперь есть сокровища. Многие люди свои стеклянные глаза, золотые зубы, кольца и цепочки закопали. Я столько раз говорила, чтобы вы вниз спустились и яму выкопали»; «А внизу сидят духи и сокровища сторожат» [4. S. 125-126, 136, 137, 123, 128-129]). Брат с сестрой, подстрекаемые бабушкой-людоедкой («На самом деле, когда дети родились, бабушка сразу хотела их съесть. Говорила: хорошие дети, вкусные, законсервируем их, когда настанет большой голод, будет в самый раз [...]. Это не каннибализм, не стоит преувеличивать и поднимать крик. Ведь в гетто всегда было столько прекрасных рецептов блюд из ничего, даже жалко такой шанс упускать»), наконец спускаются в подвал: «В доме жили брат с сестрой, которые хотели раскрыть волнующую тайну, о которой постоянно твердила бабушка: вот увидите, в подвале закопаны еврейские сокровища» [4. S.124]. На время связь с обычной жизнью прерывается («Вдруг все потемнело, грохнуло и дети оказались в самом центре подвального королевства, а дверь в нормальный мир завалило»), а из щельки появляется пресловутый еврейский призрак или дракон (его «драконий хвост то и дело цепляется за торчащую из щельки арматуру. Чешуя брызгает во все стороны, словно конфетти»): «что-то зашевелилось. Что-то стало проявляться из бетона, словно странное существо какое-то забытое и снова воскрешенное. Призрак! Все же призрак! Какое там! Выполз маленький мальчик» [4. S.136-138]. Вместо сокровищ брат с сестрой находят потерянную маленьким погибшим мальчиком машинку – как символ его утраченного, не прожитого детства [4. S.138]. Стыд маскируется гротеском, страх – черным юмором, однако проблема присутствующего в коллективном подсознании чувства вины так и не решена: «Все варшавские призраки закопались еще глубже и ждут-пождут» [4. S.140].

Неожиданное появление жертв Холокоста на пороге квартиры современного «чистокровного поляка» в тексте Остаховича также воплощает страх перед вытесненным, неоплаканным еврейским прошлым Польши. В романе, по сути, реализуются слова знаменитого эссе Я. Блоньского «Бедные поляки

смотрят на гетто», эхо которых звучит в реплике главного героя: «Лето, улица Анелевича, трепещущие листочками липы, их медовый запах. [...] каждый бы у виска покрутил, услышав, что зло не засыплешь щебнем и землей, что страдание нужно уважить и рассчитаться за него, а кровь, если ее вовремя не смыть и позволить спокойно впитаться в землю, смешавшись с глиной, выберется когда-нибудь наружу ордой големов, [...] поломанные кости и оскверненные тела облачатся в те остатки тряпок, которые у них не украли, превратятся [...] в двуногих призраков, не знающих ничего, кроме боли, и понесут эту боль [...] к порогам наших безмятежных квартир» [11. S.14].

Здесь можно увидеть аллюзию к «Бесславному ублюдкам» (2009) К. Тарантино и идее «справедливого Холокоста» [6], мести: «Они жаждут отправить на переработку того, кого они не любят. Они видели, как посылали тех, кого они когда-то любили, так что теперь хотят увидеть, как туда пойдут те, кого они не любят» [11. S.88].

Роман основан на игре с поп-культурой, отсылает к эстетике комикса, компьютерных игр, триллеру, представляет собой гротескное смешение кодов, жанров, цитат. Так, здесь есть характерный эвримен, из обывателя волею судьбы превращающийся в благородного Супермена («Я сделаю что смогу» [11. S.153]). Есть антагонист, враги, наставник, верная подруга, случайно попавший в руки героя артефакт («Серебряное сердце – это безнаказанность и власть»; «Это артефакт, защищавший евреев от преследований») и борьба за него, кульминационное событие – заглавная Ночь живых евреев, в которую герою ценой собственной жизни удается достичь цели («Великолепная победа, я победил себя, дьявола, немцев и собственный народ» [11. S. 95, 157, 250]).

Остахович применяет карнавальное освоение табуированной темы – вытесняемого зла, присутствующего в польском прошлом: «Что делает дьявол на нашем диване? [...] Мы стоим, обнявшись, смотрим на краснокожее, рогатое существо, которое уже ничем не притворяется, а просто имеет откровенно жуткий вид. Как случилось, что в нашем доме присутствует столь мерзкое зло? – спрашиваем мы себя» [11. S.135]. В романе все реально и наглядно – и зло (живой дьявол в обычном польском доме), и вытесненное из коллективной памяти, неоплаканное прошлое (еврейские трупы-призраки), и маниакальный страх перед этим прошлым (борьба варшавян с трупами). Антагонист-антисемит превращается в настоящего дьявола с хвостом, копытами, раздвоенным языком, огнедышащей пастью («Его плохое содержание начало приобретать адекватную форму» [11. S.125]). Призраки выходят на улицы: «В разном состоянии [...] некоторые сильно потрепанные временем, несколько вполне хорошо сохранившихся, все перепачканы землей»; «Варшавская улица выглядит, надо сказать, жутковато. [...] Мимо нас шло больше мертвых, чем живых. Ситуация со вчерашнего дня изменилась, и теперь живым было не по себе, они поспешно проскальзывали [...], стараясь не смотреть по сторонам и как можно быстрее добраться до работы или домой, то есть до тех мест, где можно перевести дух среди живых» [11. S. 117, 176-177]. Современные варшавяне бросаются на героическую борьбу с «еврей-

скими трупами, угрожающими живым полякам», развязывается масштабная антисемитская компания, отсылающая к реалиям нацизма и оккупации – объявлено о грядущем «окончательном решении вопроса празднующихся трупов», повторяется Большая операция, как в 1943 году, при ликвидации варшавского гетто: «Хватают на улицах, обыскивают подвалы» [11. S.179, 230, 232]. Миссия же героя, воплощающаяся в спасении еврейских трупов в Ночь живых евреев («когда мы действительно живы [...]. Эта ночь включает в себе большую опасность, потому что раз мы живы, нас можно убить. На этот раз навсегда. Если в эту ночь труп будет убит, он исчезнет из мира в прошлом, будущем и настоящем» [11. S.228-229]), символизирует необходимость противостоять забвению, вытеснению постыдных фрагментов польского прошлого, необходимость солидаризироваться с теми, кого некому оплакать.

Не менее провокационен роман одного из главных теоретиков и критиков отечественного постмодернизма Вячеслава Курицына, изданный под псевдонимом Андрей Тургенев.

В силу возраста также имея возможность работать с травматическим опытом только с позиции пост-памяти, писатель в значительной степени опирается на два текстовых материала разной степени опосредованности – свидетельства и главный текст советского «победного нарратива» – эпопею А. Чаковского «Блокада» (1968–1975).

Тургенев привлекает большой массив документов и свидетельств, фрагменты некоторых включены в текст романа в виде скрытых цитат, а в целом они в значительной степени составляют плоть изображаемой реальности, в том числе эмоциональной, блокадного города (ср., например: «Прошлым летом он просыпался иначе – всегда в шесть утра, от звука репродуктора, для общего пользования установленного в коридоре. Потом, уже по привычке, он стал просыпаться за десять-пятнадцать минут и лежал, прислушиваясь. Минуты за три, не утерпев, он в пижаме выходил в коридор. Там стояли уже соседи, полуодетые, с жадно-напряженными лицами» [20. С.266] и «В начале войны было по-другому. Генриетта Давыдовна сама просыпалась за четверть часа до шестичасового писка черной тарелки. Ждала-ожидала, прислушивалась. За минуту-другую Александр Павлович не вытерпел, снарядившись кое-как выскакивал в коридор...» [25. Глава 159]; «Оказалось, например, что телу вовсе не свойственно вертикальное положение; сознательная воля должна была держать тело в руках, иначе оно, выскальзывая, срывалось, как с обрыва. Воля должна была поднимать его и усаживать или вести от предмета к предмету», «Это тело выскользнуло из рук и хочет упасть пустым мешком в непонятную глубину», «Странно – эта вода [...] легко взбегаёт по трубам. [...] Закинув голову, человек мерит предстоящую ему высоту. В далекой глубине потолок с какой-то алебастровой блямбой. Блямба приходится как раз посередине прямоугольного висящего зигзага лестницы» [20. С.272-273, 279] и «Голову задерешь, в центре проема на потолке гипсовая загогулина с таким хвостом влево, а потом, пока поднимаешься и если снова вверх глянуть – загогулина смещается. Обходишь ее как

вокруг. Вот загогулина вправо: это, значит, прошла полпути. Сил уже никаких, но не жить же на лестнице! – идешь, пока загогулина не установится в прежнем положении. Тело словно выскользывает из рук, надо поддерживать его перилами, стенами. [...] То ли дело, когда вода сама вскарабкивается по трубам!» [25. Глава 198]; «Кое-кто наклеивал полосы довольно замысловатым узором» [20. С.292] и «Арька с Варькой резвились, заклеивая окна в квартире, когда налеты пошли. На одном окне у Варьки изобразили узоры с обезьянами-пальмами» [25. Глава 14]; «А.Ф. говорил, что хочет только одного – вечно пить сладкий чай с булкой, намазанной маслом» [20. С.336] и «Чижик неуклюже варила ремень и думала, как здорово было бы всю жизнь сидеть и пить настоящий чай со свежей булкой, намазанной маслом от коров, и обошлась бы без любой другой еды» [25. Глава 175]; «Если хлеб не хватать руками со сковородки, а есть с помощью вилки и ножа, – тогда получалось блюдо» [20. С.336] и «А такая, дура, что это будет уже не жратва, а блюдо! Совсем другое ощущение!» [25. Глава 203] и пр.

В романе можно выделить три пласта.

Во-первых, это реконструкция объективной реальности блокадного города, а также советского сознания его жителей (с серьезной поправкой на то, о чем мы знаем сегодня – антисоветские и пронемецкие настроения, людоедство) – основанное на свидетельствах и документах воспроизведение реалий, типажей, моделей ситуаций, поведения, чувствования. Это, условно говоря, «простые ленинградцы» в пограничной ситуации и одновременно проекции бытующих в массовом сознании представлений о ленинградском блокадном прошлом.

Вторую группу героев и второй пласт действительности, в описании которых преобладает уже карикатурно-шаржированный образно-мотивный ряд постмодерна – партийная верхушка. Портрет «хозяина города» Марата Кирова, обстановка его кабинета, застолья, окружение написаны с элементами поистине раблезианской, гоголевской, сорокинской гиперболизации: «Марат Киров, хозяин Ленинграда, могучий секретарь обкома, сидел за огромным – чуть меньше Марсова поля – столом в своем домашнем кабинете на Петроградской стороне»; «Еще полстакана. Хватит. Тарелку гурьевскую взял – Кутузов изображен, глаз, кобыла – двумя руками, крякнул, пополам переломил: кобыла отдельно, полководец отдельно, о глазе и речи нет»; «Икра, масло, осетрина, овощи без приправ, соленья, язык, хлеб, хрен. Марат Киров уважал простую пищу, без наворотов. Без всех этих глупостей!»; «Арбузов оказался квадратным. Роста маленького, а ширины плеч чрезвычайной, ровно как раз в рост. Голова такая же, то есть еще лучше – просто кубом, и прическа ежиком с прямыми углами. Посреди лица подкрученные эдак так по-кавказски, похожие на знак интеграла черные усы. Вместе с большим и кругло-рыхлым Здренко, который тоже находился здесь, они походили на методический материал к безумному геометрическому учению»; «Это рассказал, подхехекивая, Здренко, ровно засовывая в рот кусок эскалопа»; «В столовой на третьем этаже, где обедала белая кость, человек сильно меньше ста, ничего пока не менялось. Разве что какой-то день не было черной икры,

так Рацкевич так взвился, что Здренко еле его уговорил не расстреливать администратора»; «Этот соблазн Киров в себе придушил, зато ударился в обжорство. [...] Забросать зияющую пропасть котлетами, засыпать туманные рвы салатами, залить пустоту коньяком. Припорщить черную беспроглядную неизвестность згами жареной картошки и соленых грибов. А то, что вокруг, в радиусе пусть не вытянутой руки, но пистолетного выстрела тысячи земляков умирали от голода, придавало жратве пикантную мифологичность, остроту ритуального танца на самом краешке света, земного диска, человечье бытия. Ел, как убивал, как палач казнит, кровавые брызги летели. Урчал, рыгал, перемалывал мощными челюстями мозговые кости. Соратники в Смольном этаж его обходили, когда ел, дома жена с кухаркой прятались, как мыши, на черной лестнице»; «Рацкевич набрался сверх всяких зюзь, сшибал столы и сотрудников, палил в окно»; «Тени соратников – жирнее день ото дня. Вот как устроен человек: когда вокруг голод, а у тебя все есть, хочется сожрать больше, больше. То ли впрок, то ли от страха, что потом не будет, а то ли так – в качестве утверждения своего особого положения. Не хочу, а буду жрать» [25. Глава 5, 28, 40, 55, 85, 137, 185].

Наконец, третий пласт – плоскость уже откровенного абсурда, бреда, фантазмагии, связанная с образом Максима, полковника НКВД, который командирован в Ленинград из Москвы. Он – связующее звено между блокадниками и властью, легко перемещается из коммунальных квартир и вымирающих улиц в закрытые кабинеты Большого дома, помощник и убийца, спаситель и провокатор, одновременно (соц)реалистичен как образ полковника и таинственно-мистичен как образ «Джокера», «Четырехпалого», бросающего в Неву бутылки с письмами Гитлеру (здесь можно увидеть аллюзию на героя романа Аксенова «Москва ква-ква» Моккинаки, тайного шпиона): «Четырехпалый (он все же состорожничал, подписался Джокером) вздохнул, свернул лист в трубку, засунул в бутылку» [25. Глава 33]. И если образы «простых ленинградцев» преимущественно окрашены в положительные тона, а «верхушка», вся без исключения, изображается как сборище нравственных уродов и убийц, обжор и похотливых подонков, то Максим противоречив и загадочен даже для себя самого. Неслучайно в письмах к Гитлеру он одинаково страстно то настаивает на уничтожении города, то просит о его сохранении («Мой фюрер, Ленинград следует стереть с лица земли»; «Мой фюрер! Представляется насущным пересмотреть концепцию относительно дальнейшей судьбы северной столицы необъятного государства российского»), верит и не верит в реальность своей «переписки» с фюрером: «подумал, что давно не сочинял в бутылках. Гитлер соскучился, поди. Бегает по берегу, злобствует, усики закусуывает: где бутылка, где бутылка?»; «Максим понимал, то есть, что не доплыла бутылка до Гитлероса Адольфыча: и времени мало прошло, и в принципе сие невозможно. Но ведь и медиумические всякие связи – не совсем пустой звук. Просочилась информация сквозь воду, сквозь алхимию тонких слоев: и словил ее Гитлер»; «Действительно уж хочется, чтобы до Гитлера доплыло» [25. Глава 33, 119, 162, 202]

Во второй половине романа бред, фантазмагория, гротеск нарастают, как снежный ком. Просьбы Гитлеру странным образом сбываются «Максим торжествовал. Последняя бутылка достигла цели: и про радий послушался фюрер, и про карточки» [25. Глава 162]. Максим носится с идеей поставить в декорациях блокадного города якобы принадлежащую Вагнеру оперу «Вечный лед» (пародийно-безумное либретто которой включено в текст). Вместе с разочаровавшимся в советской действительности мальчиком и бывшей спортсменкой-альпинисткой, а также духом-глоссоалом («Я готов, Максим Александрович... Кирову ножом в самое сердце. Вот так!»); «— А товарищ Киров пусть, значит, дальше воздух коптит? — возмутился Викентий. — Ты, по ходу, забыл, что я дух и при том — здешней местности? — Лично я своим долгом перед отцом считаю, — строго сказал Ким, — товарища Кирова уничтожить. И жизни своей я на это благое дело не пожалею, а не трусливо в эвакуацию») Максим замышляет и осуществляет не удавшееся покушение на Марата Кирова, до поры до времени ловко избегает подозрений со стороны ленинградских НКВДшников, хулиганит, безумствует («Вспоминал про карточки-радий, хохотал, как ловко он все уделал, руками махал, подпрыгивал, да еще и в форме вышел в тот день, кобура болтается, встречные не знали куда и шарахнуть. Так надо призраков, призраков пускать по городу, чего Викентий Порфирьевич сидит-простаивает, нарядить с черепом-смертью — и на улицы: шарахать, пугать!») [25. Глава 168, 197, 162] и т.д.

Прецедентный текст Чаковского с его «непротиворечивой гладкой картинкой, однородной и в обобщениях, и в частностях, независимо от масштаба рассмотрения» [19] Тургенев использует для деконструкции советского блокадного мифа, разнообразно соотнося ряд своих персонажей с героями эпопеи — типичными представителями советских ленинградцев.

Текст Чаковского, как и свидетельства, иногда используется Тургеневым как материал для лепки плоти романа, однако с сознанием автором художественно-идеологической опосредованности этого материала (например, он вводится в виде фотографии), но прежде всего — пародийно остраниется.

Так, сознание главной героини Тургенева Вари соотносится с представлениями идеальной комсомолки Веры Чаковского (в том числе, очень последовательно, в моментах, связанных с эмоционально-чувственной жизнью), а любовный треугольник в «Спать и верить» восходит к треугольнику в романе «Блокада». Варя-Вера должна сделать выбор между женихом, ушедшим на фронт, и кадровым офицером, который находит и спасает ее среди блокадной действительности. Однако если у Чаковского «спасителем» выступает фронтовой офицер Звягинцев, то у Тургенева им становится гротескный и неоднозначный персонаж Максим, а НКВД — в соответствии с исторической реальностью — показан в романе как инстанция репрессивная и нравственно выродившаяся. Если у Чаковского ушедший на фронт жених — антипод Звягинцева, предатель, то у Тургенева предательство — также в соответствии с неоднозначной исторической реальностью — переосмыслено: жених Вари *объявлен* предателем за то, что *якобы* сдался в

плен. Таким образом, действительность, которая окружает героиню, стилизованную под комсомолку, верящую в советские идеалы, перестает быть «гладкой» и беспроблемной героической действительностью Чаковского – она невнятна для Вари и одновременно легко понимаема постсоветским читателем, а главное, все менее может быть передана стилизованным под дискурс Чаковского внутренним языком героини, от которого остаются все более обрывочные фрагменты и который все больше становится языком переработанных Тургеневым свидетельств.

Второй элемент деконструкции «плоского мира» Чаковского – откровенная идеологическая пародия. В романе Тургенева, как и в «Блокаде», сюжетная линия партийной верхушки – также одна из основных, однако подвергается травестии, карнавализации и десакрализации – словно бы потому, что ее иначе нельзя изобразить, настолько эта реальность оторвана от блокадной жизни. Партаппаратчики здесь – не мудрая демиургическая сила, но циничные балаганные персонажи, а главной эмоцией изображается неизбывный еще более, чем голод у простых горожан, страх попасть в опалу («Сталин, приехав однажды в гости, остроумно пошутил: – А если бы ты, Маратик, покончил с собой, то в последней комнате могла быть твоя чучела. Самая большая!»); «А если бы ты, Маратик, покончил с собой шампуром в глаз, – так еще пошутил раздухарившийся после третьей бутылки вина Сталин, – то партия имела бы в активе чучелу Цыклопа!»; «Чучелу из меня сделать», – криво усмехнулся Киров»; «Почуял, что и по самому капкан стынет»; «Чучелу захотела партия! Еще повоюем!»; «Ощущение скорой пули не проходило уже ни на миг, не оставляло ни за работой, ни за едой. Или не пули: даже шкура медведя в родном кабинете на Петроградке таила, казалось, зубастую угрозу: воспрянет, ринется и перегрызет. У официантки в Смольном, что совсем уж нелепо, мог таиться под передником узкий кавказский кинжал. Основной версией оставалось, что заказал его Сталин, давно решил заполучить из Кирова главную чучелу страны, выставлять ее во все щели на Всероссийской выставке во всю мощь азиатского кремлевского коварства»; «Сталин Сталиным, а чудился Марату Кирову в ленинградском воздухе какой-то иной охотник»; «Кирову снилась его чучела [...] И во лбу дыра: дескать, первоисточник чучелы застрелился» [25. Глава 5, 7, 11, 26, 85, 176, 190].

Третий – реальность, отсылающая к эпосе Чаковского, наполняется не свершившимися фактами героической гибели, а непрерывно тянущимся мотивом зависшей над городом смерти, мучительного умирания: «Городские люди внутри себя убывали в режиме как рыба вмерзает в лед, отличали себя от мертвых только в порядке инстинкта» [25. Глава 189]. Неслучайно маме Вари кажется, что они уже давно мертвы, причем это чувство описывается изнутри, как смерть-я: «...– Все обмирает внутри, доча, будто уже убили. Глаза закроешь, глаза раскроешь: живая! А потом еще другой летит и свистит. Сви-истит, позвоночник высасывает. И будто опять убил. И другой. Будто несколько раз в день убивают!»; «Варенькина мама говорила на кухне странное, будто их всех убило в начале войны одной невидимой бомбой, а



что происходит – так это посмертные грезы и воспоминания мечт»; «– Я, Варвара, когда в кресле качаюсь, то так хорошо, все исчезает, а я будто одна остаюсь и в пустоте качаюсь, в пустоте. А потом смотрю: и сама уже исчезла. И меня не-етуу... Страшно, Варвара, страшно» [25. Глава 20, 58, 110].

Однако город осмысляется как пространство смерти не только за счет реалий блокадной жизни. Миф блокадный (в который включена идея грядущего возрождения) накладывается на эсхатологический петербургский миф (о гибельности города и его грядущем неминуемом крахе), который обживает/переживает Максим, называющий себя «зрителем» или «пациентом Петербурга» [25. Глава 106]. Максим одержим чувством мести за утраченный во время строительства канала от Невы к Смольному палец: «Город-обезьяна должен быть уничтожен!»; «В общем и целом, о мести людям-ленинградцам Максим не помышлял. [...] Другое дело – месть городу, который проглотил, пережулькал, выплюнул и не поперхнулся. Холодный, расчисленный, бездушный, скептический [...] вреден этот город [...] Пока его грела хитрая, замысловатая причастность к делу уничтожения Петербурга» [25. Глава 33, 93]. В его видении (которое композиционно удерживает всю романную конструкцию) город страшен в своей антропоморфности и зооморфности, искусственен, искривлен, гнил, жесток, мертв: «Окна позаклеены однообразными бумажными иксами, словно город хочет грозно выругаться, но в силу преувеличенной интеллигентности осекается на первой букве. Нимфа на крыше, одетая по-пляжному, если не сказать – для райского сада, съежилась на ветру»; «Мелкая морось вилась как мошкара. Гофрированная Нева текла куда-то [...] Петропавловская крепость под низким небом вкрадчиво, по-пластунски прижалась к земле. Покрашенный безвольно-коричнево, сливался с небом шпиль, башни мечети и далекие Ростральные колонны тоже как будто съежились, чувствуя свою неуместность в этом плоском пространстве. Васильевский остров оторвался словно бы только что и медленно уплывает в морось, а город еще долго будет думать, спасать ли его, прикнопивать якорями к болотистому краю света, или пусть ну его в море. Все сыро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно...»; «Пахнуло воздухом: болотным, ядовитым. Луна круглая вылупилась преувеличенно. Дома-сундуки неуютно громоздились, сколько хватало взгляда, неуместные, мешающие болоту вольно чавкать себе и бултыхать пузырями»; «Холодная рука города выставила перед ним марионеток, сам Ленинград бросает ему таинственный вызов, продолжая игру, прерванную в прошлый визит. Или, скорее, город отвечает на вызов Максима [...] сидит себе ждет, бессердечный, распластавшись скользкой вычурной жабой под мелким дождем. Готов высвистнуть длинный язык и слизнуть в свои болота любого зазевавшегося»; «на гнущем канале [...] и он носился с моста на мост по этому кривому куску города»; «Дворцовая начала смыкаться, крыло Генерального штаба вытягивалось и ползло к Неве: медленно, но настойчиво-вязко, а навстречу ему проем затягивался ряской ажурной решетки. Максим испугался, что ловушка схлопнется, метнулся к Адмиралтейству. Прошел по бульвару мимо бивака аэростатов, тревожно дремавших, как большие сторожевые звери»; «Максиму снился Невский проспект, застав-

ленный виселицами. Тысячи виселиц, кривых, как осины, нет, прямых, как кресты, вдоль всего проспекта пунктирами. На каждой повешенный, синхронно болтается на ветру. Знаков отличия не разглядеть. Какая-то армия победила и другую развесила, как белье во дворе» [25. Глава 15, 25, 45, 174, 184, 190].

Мистика, всегда сопутствовавшая «панхроническому» петербургскому тексту, превращается в пародийную реальность. Отсюда образ неожиданного соратника Максима глоссолала, представляющегося духом города, имеющим целью освободить наконец это уставшее от людей и принадлежащее нечистой силе пространство: «– А людей пугать. – Зачем же? – А чтоб убирались отсюда. Тут не ихнее место. Тут наше. [...] Наше – не людей, значит, не ваше. Духово место. [...] А Сталин [...] дух ихний. – Чей ихний? – Ну ваш. Человечий... – А вы? – А я духов человек. От них вроде как здесь представлять. И Сталин главный. Главный уйдет – прочие пужанутся»; «Места эти, господин офицер, это такая зона смерти. Смерть тут... ну, на манер полезного ископаемого. Хранится на непредвиденный случай, если в какой другой зоне Земли вдруг не достанет. [...] Мало ли как повернется. Запас, как говорится, карман не тянет. И здесь, значит, пестуем мы ее и бережем. А что вы пришли, да сначала тыщи жизней на стройку угрохали, а теперь миллионы на войну – оно нам на руку. Пропитывается земля смертями! – Удобряете вроде как? – Вроде того. [...] – Но и меру знать нужно. Знать, то есть, невозможно ее, в цифрах не исчисляется, но по всему – подзадержались вы тут. Четверть тысячелетия, пора и честь знать. Смерти – ей ведь не только пища, ей и пустота иногда нужна. Чтобы настоялась, знаешь, на пустоте, как водка на травах... – То есть желаете вы, граждане духи, чтобы люди исчезли, чтобы ушел город в болото, а над седыми камышами только памятник бы высился Медленному всаднику? Как в пророчестве. Оставьте памятник-то? [...] – Против города-то мы особо ничего не имеем, – пожал плечами Викентий Порфирьевич. – Город-призрак – вполне подходяще. Смерти нравится, полагаем. Пусть будет, только без вас» [25. Глава 102, 114]. Милиция всерьез гоняется по блокадному городу за привидением: «В белом саване и на голове череп. Подходит, молча ухаёт и это... щелбан гражданину или гражданке. Болезненный. – Так поймать к чертям!!! – Улетучивается, товарищ Киров. Таёт в снежной пелене»; «Тем же вечером привидение так охамело, что у самого Московского вокзала закатило щелбан постовому милиционеру и еще гыкнуло, сволочь, прежде чем скрыться в белой пелене. И лупили ведь из двух пистолетов, две обоймы высадили: ушло!» [25. Глава 172, 177]. В доме ученых «призрак свой водится, и тайный ход, и чего только нет...» [25. Глава 142]. На мистику Петербурга-Ленинграда накладывается известная, но также альтернативно домысленная история вскрытия-осквернения могилы Тамерлана, придавая размах картине влияния инфернальных сил.

Максим все больше видит не реальный город, а словно бы осуществление старого пророчества царицы о «пустом городе», и сам себя начинает ощущать орудием этого проклятия: «На Марсовом поле [...] вечный огонь оказался не вечен, затух на войну. Жерло его было как пуп площади. Если

армия наша отступит, то всосутся полки под алыми звездами через пуп в недра, в расплавленную геенну. Немецкие полчища войдут торжествовать, но тоже всосутся, только свастика застрянет, зацепится углом, да и она – струхлявится и ссыпется в пуп»; «уносились в никуда дворцы и мосты, в Грибном канале дрожала белая пена, словно бы он вскипел. Был в этом какой-то надрывный восторг, смертельное движение»; «Повернулся, глянул через реку, а там пусто, только белая вата тумана, там уже нет ничего. Город сам исчезает, не дожидаясь, пока подтолкнут окончательно»; «Похоже, прав Глоссолал Порфирьевич. Людей убрать, а город хороший. Как гулко будет выть ветер в пустых дворах-колодцах, метель свистеть по оставленным площадям! Бронзовое зеленеть, каменное трескаться, наводняющее – беспрепятственно наводнять. Духи – шелестеть и кружить, а вспугнутые ангелы – хлопать сверху большими глазами»; «Кого-то вывезти, другие умрут, немцы в марсов пуп всосутся, а пустой город – пусть»; «ходил по комнате, рисовал в воображении диковинные картины. На Дворцовой, допустим, можно построить лабиринт. Такой, чтобы из группы запущенных посетителей один точно сгинул. Пожранный чудищем-монстром. Нет, чудища не надо, город будет пустой, туристы только на вертолетах. Ловушка. Разверзается булыжник в одном месте вдруг под тобой, и бздык»; «Мертвый город – вот декорация для „ледяных существей”»; «жалко-то как, какие декорации пропадают! Лучшие декорации в мире!» [25. Глава 15, 92, 106, 123, 137, 162, 226].

Таким образом, Максим стремится не просто прочитать и дописать «петербургский текст» (его бред и провокации порой повторяют слова и действия героев Пушкина, Гоголя, Достоевского, Белого: «В нелепой декорации куковал Первый Петр, как раз и измысливший город-обезьяну. – Спрятался! – погрозил Максим Медленному. – Ужо горожане доски на печки растащат, задницу твою самодержавную оголят! Сколько душ при стройке положил, сколько? Тварей божьих сколько в болото зарыл, порфиносец? Божьих, а? Тварей?! [...] – Молчишь, истукан! Десятки тысяч положил мужичков, угробил во имя города-обезьяны! Вознесся их кровью, окно процарапал, доволен? Ужо! А мы в эту войну миллион тут уроем, два, три! Снилось тебе такое, призрачный царь? Да что тебе, истукан, вообще могло сниться...») [25. Глава 184] и пр.), но инсценировать его в грандиозных театральных декорациях замерзшего города: литературный образ-текст Петербурга перевоплощается в объемную театральную площадку, становясь из плоскостного трехмерным, насыщая образ Петербурга чертами современного перформанса.

Роман сталкивает явь и сон, документальную реальность и обрывки дискурсов, четкость и однозначность стилистики изображаемого времени с расплывчатостью современного сознания, веры сталинской эпохи – с неверием последующих, соединяет легенды блокадного времени со штампами шпионского романа и любовной мелодрамы, использует пародийные аллюзии на самые различные тексты (в том числе в военную реальность последовательно вводятся и послевоенные тексты), от романов Сорокина до «Карлсона», «Снежной королевы», «Волшебника Изумрудного города» или «Золотого ключика», от А.Тарковского до В.Утки-Отки, современная лексика.

Откуда эта художественно-психологическая потребность авторов, обращающихся сегодня к столь болезненным темам, в использовании гротеска? «Перефразируя известную народную максиму, можно сказать, что о блокаде всегда было принято говорить „либо хорошо, либо ничего”. [...] В литературе эпохи постмодерна – литературе игровой, абсурдистской, несерьезной, – кажется, странно представить себе реализацию темы блокады» [18]. То же можно сказать и об опыте Холокоста.

Представляется, что здесь есть параллель с иронично-парадоксальным провокационным методом, разработанный американским психотерапевтом Фрэнком Фарелли [16. С.508]. Используемый, в частности, для лечения депрессии и нервно-психических перенапряжений, он направлен на формирование у клиента – при помощи преувеличения, передразнивания, высмеивания, искажения, сарказма, иронии, доведения до абсурда, черного юмора и пр. – комического сознания.

Комическое в свою очередь тесно связано с защитно-приспособительными возможностями личности и социума, может служить «механизмом безопасности, придающим человеку равновесие, перспективу и оптимальную психологическую дистанцию в его многообразной жизни» [27]. Ирония и сарказм, являясь эмоциональной трансформацией, жестким высмеиванием эмоциогенного события, поиском в нем абсурдного, нелепого, смешного, служат вербальной разрядке эмоций. Неслучайно лингвист Д. Хайман называет его наиболее приемлемым дискурсом современности [5]. Очевидные защитные функции имеет и черный юмор, направленный на те сферы человеческой жизни, которые, с точки зрения общепринятой морали, в той или иной степени табуированы для осмеяния. Отсылая к идеям Э. Фромма, В.И. Жельвис именуется «лучиком света, отразившимся от черноты адского зазеркалья», «хрупкой надеждой биофила [...], тем более слабой, что в попытке сохранить ее утопающий хватается за протянутую руку некрофила» [22]. Н.А. Масленкова проводит параллель между черным юмором и первобытным обрядом, видя их сходство именно в терапевтическом эффекте: его порождает «ситуация, в которую попадает смеющийся: архаический смех, “носитель и даритель жизни”, является магическим средством преодоления смерти, преодоления страха и разрушения. Черный смех фактически делает то же самое, но не так, как это было в первобытном обряде. Маркируя границу между смертью (или угрозой смерти, жестокостью, страшным и пр.) и жизнью, подобный смех отделяет пространство смеющегося от изображаемого» [24. С.147]. Значительным защитно-адаптивным потенциалом обладает и гротеск, способствующий эмоциональной разрядке, отстранению от обыденной реальности или отстранению от себя объекта и защите личных границ, карнавальному сопротивлению давлению извне и сохранению самооценки, а также высвобождению вытесненных переживаний и парадоксальной интеграции личности.

Именно такой, гротескный, отсылающий к масс-культуре сюжет, позволяющий жертвам Холокоста *буквально и зримо* постучаться в польскую дверь, заставляет молодого героя-повествователя Остаховича – имевшего

прежде достаточно туманные представления о Холокосте обывателя – пройти своего рода «ускоренный курс» эмпатии и сострадания. Это словно бы иллюстрация к словам Д.Лакапры о том, что реакция на травматические события даже у свидетеля второй степени связана с эмпатическим беспокойством, которое оказывается «необходимым, аффективным измерением» исследования прошлого и «играет важную роль в попытках понять травматические события и жертв травмы» [10. S.100].

«Запутанная польская память о евреях [...] по-прежнему нуждается в потрясении, – утверждает польская исследовательница Б. Пшимушала. – Нуждается порой даже и в триллере, чтобы увидеть собственную чудовищность» [12. S.182]. Созвучны ее мысли размышления актера А. Жмиевского: «Есть в Варшаве [...] памятник, на улице Ставки, там, где была Умшлагплац. Белый куб с написанными на двух языках – польском и иврите – именами; вокруг черная каменная полоса. Как-то я слушал радиопередачу об истории этого места. Журналистка опрашивала студентов экономического института, вплотную к зданию которого стоит памятник, знают ли они, где была Умшлагплац и где находится памятник жертвам Холокоста. Люди, дважды в день проходившие мимо этого места, не знали, где находится памятник, не знали, что такое Умшлагплац. Не знали, что в здании их института была еврейская больница на Умшлагплац. [...] Я подумал, что нам в Польше все-таки нужны другие памятники – не белые кубики, а наглядные истории с фигурами, как в комиксе. [...] эстетический императив мы не воспринимаем, а вот цветные комиксы – пожалуйста» [8. S.90].

Представляется, что визуализация ужаса памяти и беспамятства, национальных стереотипов необходима для его диссоциации, для того, чтобы ужас мог стать предметом анализа, а перспектива гротеска, деконструкция клише массовой культуры призвана действовать в качестве своего рода обезболивающего, «кавычек». Черный юмор в случае Хутник и карнавальное обыгрывание кодов масс-культуры у Остаховича способствуют, таким образом, помимо эмоциональной разрядки в ситуации вытесненного чувства вины и порожденного им страха, психологической интеграции – содействуют «трансформации ранее отчужденных аспектов “я” в полноправные аспекты целостной личности, “избегая при этом откровенной идентификации с ними”» [7].

Подобно тому, как у Остаховича и Хутник, чтобы пережить непережитое – траур по уничтоженным и подвергшимся забвению еврейским соседям – необходимо сперва «оживить» их, дать право голоса и действия, «реализовать» в тексте и пугающее своей вечной нереализованностью возмездие, и возможность исправить ошибки предков, повести себя принципиально иначе, защитить – у Тургенева, чтобы преодолеть не охватывающий весь массив травматического опыта одноплановый победный нарратив, его нужно «оживить», опробовать самому, убедиться в его неадекватности. Ни то, ни другое невозможно в чисто реалистической парадигме.

Чудовищность, но и абсурдность поведения власти в блокадном городе, являющаяся реальным (уже обжитым сознанием современного читателя) ис-

торическим слоем, словно бы «придавливается» введением уже откровенного абсурда, элементов фантасмагории, но, в сущности, с точки зрения человеческой морали и нормальной логики, они ничем не отличаются (однако на фоне наращивания бреда первый остранивается как условно «нормальный»). Так, например, якобы арестованному по заведомо ложному обвинению директору Эрмитажа, затем выпущенному для того, чтобы зарыть обратно Гамерлана с его проклятием, предлагают в качестве особого одолжения лечь к тому в могилу: «Просто есть такая возможность. В виде признания заслуг и особой чести. Мне поручено вам о том сообщить. – А... Я не влезу. Саркофаг на одного предназначен. – Сверху. На Тимура. Попрать супостата» [25. Глава 211] и директор всерьез задумывается и азартно соглашается. Кроме того, если единственная реальная точка соприкосновения двух пластов жизни – блокадников и партийной верхушки – это репрессии, то единственное человеческое/человечное звено, соединяющее их, – может быть только гротескным. Гротескные эпизоды, направленные на табуированные объекты национального дискурса, погружают авторов в особую инвективную атмосферу [23]: как в любой карнавальной ситуации, табу взламывается, а психологический аспект этого феномена заключается в желании говорящего достичь сразу двух противоположных целей – избежать соприкосновения с табуированными понятиями и одновременно этого соприкосновения добиться. Таким образом, достигается своего рода катартический выход эмоций.

Роман таким образом оказывается «весьма сильной по воздействию на читателя попыткой создания нетоталитарного текста» [21. С.117-118]. Название «Спать и верить» отсылает, очевидно, к цитате из «Блокады» Чаковского – «молчать и слушать». В этом «спать и верить» одновременно - блокада как событие и блокада как нарратив. Физиология блокадного жителя, частная и официальная его идеология, предательство по отношению к нему со стороны власти (остается только спать и верить, что дождешься), спящая вера в рождение и разрешение сверху и снизу на бытование адекватного чудовищному опыту языка.

Рассматривая литературу как одну из инстанций конструирования травмы, Д. Александер говорит, что ее роль в этом процессе – подготовка отождествления с жертвой. В случае с новой литературой о блокаде и Холокосте такая подготовка невозможна «без существенной трансформации субъективных структур и изобразительных стратегий, без «прорыва к опыту» [19]. По замечанию Урицкого, смысловые пласты романа «Спать и верить», «сталкиваясь, порождают дикую какофонию, сопровождаемую шумом стилистических экспериментов, но на выходе дающую, как ни странно, ощущение художественной и человеческой значимости, парадоксально соединенное с тревожащей внутренней пустотой» [26. С.340].

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. *Assmann A.* Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa, 2013.
2. *Bauman Z.* Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa, 1995.

3. *Bauman Z.* Świat nawiedzony // *Więź*, 2007, №9.
4. *Chutnik S.* W krainie czarów. Kraków, 2014.
5. *Haiman J.* Talk is Cheap: Sarcasm, Alienation, and the Evolution of Language. Oxford&New York, 1998.
6. *Hoberman J.* Quentin Tarantino's Inglourious Basterds Makes Holocaust Revisionism Fun // *Village Voice*. 2009, August 18. URL: [www.villagevoice.com/film/quentin-tarantinos-inglourious-basterds-makes-holocaust-revisionism-fun-6391999](http://www.villagevoice.com/film/quentin-tarantinos-inglourious-basterds-makes-holocaust-revisionism-fun-6391999) Дата обращения: 01.02.2021.
7. *Jakab I.* Humor and psychoanalysis // *L'Humor. Histoire, culture et psychologie*. Paris, 1998. P. 17-18. Цит. по: *Копытин А.И.* Юмор в искусстве и арт-терапии: феноменология, диагностика, защитно-адаптивные возможности. // *Медицинская психология в России*, 2012, №4 (15) URL: [http://medpsy.ru/mprj/archiv\\_global/2012\\_4\\_15/nomer/nomer02.php](http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_4_15/nomer/nomer02.php) Дата обращения: 01.02.2021
8. *Janicka E.* Festung Warschau. Warszawa, 2011.
9. *La Capra D.* Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Kraków, 2009.
10. *LaCapra D.* Trauma, nieobecność, utrata // *Antologia studiów nad traumą*. Kraków, 2015.
11. *Ostachowicz I.* Noc żywych Żydów. Warszawa, 2012.
12. *Przymuszała B.* Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci. Poznań, 2016.
13. *Sendyka R.* Pryzma. Zrozumieć nie-miejsce pamięci // *Teksty Drugie*. 2013. №1/2.
14. *Szczepan A.* Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec Holokaustu i tożsamości żydowskiej // *Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze*. Kraków, 2011.
15. *Tokarska-Bakir J.* Historia jako fetysz // *Tokarska-Bakir J.* Rzeczy mgliste. Sejny, 2004.
16. *Адельгейм И.Е.* Психология поэтики. Аутопсихотерапевтические функции художественного текста. М., 2018.
17. *Ассман А.* Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014.
18. *Богданова О.* «Спать и верить» Андрея Тургенева, или «Блокадный роман» Вячеслава Курицына. URL: <https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=1031> Дата обращения: 01.02.2021
19. *Воробьева (Вежлян) Е.* Прорвать заграждение: блокада Ленинграда как символ и опыт // *НЛО*, 2016, №1 URL: [https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe\\_literaturnoe\\_obozrenie/137\\_nlo\\_1\\_2016/article/11801/](https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/137_nlo_1_2016/article/11801/) Дата обращения: 01.02.2021
20. *Гинзбург Л.* Записки блокадного человека. Избранная проза. СПб, 2014.
21. *Гликман К.В.* Рецензия на «Спать и верить» А.Тургенева // *Вопросы литературы*. 2009. Май-июнь.

22. Жельвис В.И. «Черный юмор: анатомия человеческой деструктивности» URL: [www.usru.yau.ru](http://www.usru.yau.ru) Дата обращения: 01.02.2021
23. Жельвис В.И. Некоторые эмоциогенные особенности инвективного общения // Язык и эмоции. Волгоград, 1995.
24. Масленкова Н.А. (Не)культурный формат «черного юмора» // *Studia Culturae*. Выпуск 12.
25. Тургенев Андрей. Спать и верить: Блокадный роман. М., 2007. URL: [https://royallib.com/read/turgenev\\_andrey/spat\\_i\\_veritblokadniy\\_roman.html#0](https://royallib.com/read/turgenev_andrey/spat_i_veritblokadniy_roman.html#0) Дата обращения: 01.02.2021.
26. Урицкий А. Такая странная (страшная?) игра ... [Рецензия на книгу: Тургенев А. Спать и верить: Блокадный роман. М., 2007] // Новое литературное обозрение. 2008. № 3.
27. Фарелли Ф. Провокационная терапия. Екатеринбург, 1996. URL: [http://royallib.com/book/farrelli\\_frenk/provokatsionnaya\\_terapiya.html](http://royallib.com/book/farrelli_frenk/provokatsionnaya_terapiya.html) Дата обращения: 01.02.2021

**GROTESQUE VS TRAGEDY. THE TOPIC OF THE HOLOCAUST AND  
THE SIEGE OF LENINGRAD IN THE TEXTS OF S. HUTNIK,  
I. OSTAKHOVICH, A. TURGENEV**

*Adelheim I. E.*  
*DSc in Philology*  
*Institute of Slavic Studies*  
*of the Russian Academy of Sciences*

**Abstract:** The article focuses on the analysis of the texts of such Polish authors as I. Ostakhovich and S. Khutnik and the Russian writer Andrey Turgenev (pseudonym of V. Kuritsyn), generated by the perspective of post-memory, which sooner or later reveals and fills in some “blind spots”, and by the feeling that an adequate discourse has not been developed or the existing one “does not work”. They turn to the part of the historical trauma that was not (at all or sufficiently) worked out, was hushed up because of its shameful or at least non-heroic nature, which prevented the inclusion of this experience in a large narrative. The article attempts to answer the following question: what is the psychological and artistic reason for using grotesque, sarcasm, and black humor when addressing topics that are sacralized by the magnitude of the human tragedy that is the experience of the Holocaust and the Siege of Leningrad.

**Keywords:** historical trauma, post-memory, big narrative, the Holocaust, the Leningrad blockade, grotesque, deconstruction, ironic-provocative therapy F. Farrelly

The circulation of the post-memory about this historical trauma also includes those that are not “genetically related” to it [14. S.243]. D. LaCapra calls the trauma “contagious” as it spreads not only through direct communication with witnesses, but also through scientific and popular scientific research, artistic reflection, the mass media, and is included in the process of self-identification as a projection [9. S.108].

For instance, this is the experience of decades of repressed trauma associated with the Polish involvement in the Holocaust. The experience of shame “is hardly



included in the memory baggage since it does not create a positive image of itself or society” in general [1. S.51]: any national state “carefully constructs a common historical heritage and does everything possible to discredit or suppress the memory of events that violate the declared commonality of the national tradition” [17. S.94]. Therefore, this kind of experience does not find a symbolic expression for a long time. Here, it is the generational change that plays the most important role in the renewal of collective memory, especially when it comes to the elaboration of shameful memories [17. P.16]. In the mindset of the younger generation of Polish writers, one can easily sense shame and fear and their need to break the “culture of silence” [15. P.98].

Regarding Turgenev/Kuritsyn and others (modern Russian literature of the 2000s-2010s focuses on the topic of the siege of Leningrad; what is more, the place of texts dedicated to the siege is felt and understood by the literary community (and in some cases by the “public” in general) as a systemically important thing [19]), it was an attempt to get rid of the meanings imposed by the Soviet victory narrative and find a language for the narrative of the siege of Leningrad. The victory in the Great Patriotic War remains in the collective consciousness the only moment in the past, the value of which was not devalued in the post-Soviet period, and therefore it turns out to be a united frame of reference for assessing the present and collective identity of a post-Soviet person.

Here we are also dealing, although in a different way in the sense of the relations of the subject/object, the executioner/victim/witness, with the inflexibility, rigidity of positive self-identification with the heroic past, which paradoxically provokes us to defiantly go beyond the stereotypes inherent in this consciousness. And the siege of Leningrad turns out to be an event that extremely problematizes the most inconvenient issues related to the price of the war and to those victims who, in the wording of official late-Soviet rhetoric, were “sacrificed on the altar of Victory”. The memorialization of the siege aimed to establish a causal link between the massive loss of human life and the heroic martyrology (these were also the reasons why it took quite some time to start the process, which was accompanied by horrific aberrations). A kind of the “siege myth” was formed in the collective memory, justifying the mass death of people as a “voluntary” and “heroic” sacrifice, and became some kind of defense mechanism.

The texts of Ostakhovich and Hutnik are a vivid embodiment of the feeling of a personal trauma of the “dirtiness” of Poland created on its territory, in front of the Poles and with their involvement with Evil (here “every atom is stained with blood. [...] If the world is full of evil ore, then it is here where the smelting furnaces are. Large-scale production of the purest evil...”; “evil is a radioactive element, and everything here is infected, everything is active evil...”; this place is “tormented - from deep underground waters through sand, clay, concrete and bricks, the roots of [...] remorse and painful experience” [11. S.205]. It is no coincidence that the very title of Ostakhovich’s book refers to J. Romero’s film “Night of the Living Dead” (1968), filmed in the gorno style which does not imply the appearance of evil from the outside, but the finding of its source *within* the depicted world.

The young authors describe Warsaw as a city literally standing *on* corpses, *on* blood, and *on* bones (the city is a “cemetery” [11. S.205], “[...] we breathe the air saturated with the burned city”); “In this relentlessly non-existent place, the Jews first lived, then the Jews squeezed, and in the end, the Jews died”; “Muranovsky spirits lived in this rubble-concrete, which was raked, crushed, and then again ground and turned into a brick. And from which the residential Muranov was built, brick by brick. And in the brick, there were bones and crushed corpses” [4. S. 120, 123, 133]). Here, after the war, on the ruins and from the ruins (indeed, often mixed with bones – from the hollow bricks of the “Muranov” type, and produced right on the spot) of the burned ghetto, a socialist utopian Muranov district was built, which was the embodiment of oblivion – for decades there was nothing in it that reminded of the former inhabitants. The Jewish layer of the Warsaw “palimpsest” was erased; the territory was being developed like a blank space: “bulldozers drove here, and then the builders; apartment blocks appeared, and for so many years of communism, not too hospitable residents of People’s Poland lived here along with drunkenness, westerns after the evening news, simple sex and non-depilated legs, peaceful sleep of pensioners, lunches without spices, and underwear on balconies”; “We do not indulge in memories” [11. S.11-12, 76]. Notably, the place of action of a significant part of Ostakhovich’s novel is the Arcadia shopping center, a space that represents a visual collision of two worlds – the illusion of eternal happiness of consumerism and the memory of the Holocaust displaced for the needs of glossy well-being (the shopping center is built on the site of the depot from which trains went to concentration camps).

The authors perceive the Jewish past of the city as an underground that is directly in contact with today’s peaceful life. And this prose really explores the locus of the basement – as a space associated with the infernal region, the space of death: “But it is impossible to go down to the basement because it is filled up and littered with rubble with the remains of the bodies of former residents who are now wandering through the rooms and scaring”; “The basement, the biggest fears have been oozing out of it for many years now” [4. S. 124, 132]; “we hear them more and more clearly, it is no longer scratching but the crunch of straightening bones”; “You have no idea what is going on there, in this basement of ours, it is some kind of necropolis, the capital of corpses” [4. S. 34, 35, 80]. The feeling that the livings go into the basement, and the dead come out of it is associated with the violation of the boundary between life and death, with burial alive, the postmortem wandering of the restless soul and at the same time with the depths of memory (from a hole in the basement there comes “a noise like from a shell if you hold it up to your ear” [4. S.54]: in the sink, as we know, it is not the sea that makes noise but our own blood – so in this case, not the dead but the memory and conscience of the living make noise).

In fact, the Muranov district embodies the topos of a “haunted house” populated by ghosts: “Murannooo, the story of a non-existent city in the center of the city; this story is about spirits, about whisperers”; “Muranov is spirits, falling bricks, ghosts at night, and some stories oozing from the mouth of the staircases”; “Warsaw spirits with whom you sit at a round table covered with a green plush ta-

blecloth”; “at night grandma would wake up scared to death, and suddenly there was a rabbi praying on her blanket” [4. S.120–123, 136]; “corpses were wandering under the city” [11. S.63]. At the same time, it is also understood as a kind of huge “basement” of Poland - the painful past being pushed into the subconscious: “You know, this is such a dried up piece on the map. It is a scab on the map that doesn’t want to fall off and holds on tightly. We tear it off, the ichor glitters under it and splashes out with every movement”; “Yes, someone whispers, someone gives us secret signs from the darkest corner, from the ruins of the house”; it is no coincidence that Polish children who went down to the basement felt “how they were gradually sucked in by this basement story, a slippery story that wandered along the walls and whispered louder and louder: ‘Muranooo’” [4. S.122, 135].

The “return” of the ghost is always abnormal and indicates a problem that was not resolved in time. In this case, the mourning for their Jewish neighbors that the Warsaw residents did not experience (which, according to R. Sendyka, is a common feature of “non-places of memory” [13]), it is no coincidence that Z. Bauman calls the post-Holocaust world “full of ghosts” [3]: “here, on Muranov, mysterious figures [...] visited some family every now and then. All because there was no burial ceremony, because there were nailed human souls lying in the ruins, for which it was not even known how to pray, because it was not known what was what” [4. S.136]; “They simply can’t get a grip, someone has a grudge against God and doesn’t want to take a step further, it depends on the person, someone is afraid that, oh dear, he will understand everything, or worse, he will be forced to forgive everything” [11. S.87]. The Holocaust victims are opposed to the repeatedly mourned Polish victims of the occupation; therefore there occurs an image of the displacement of other people’s suffering from memory in favor of the Polish national martyrology: “Do you want to know why the Poles do not get out of their graves? [...] Only those whom no one remembers, those who have no relatives, for whom no one will grieve over the grave, get out. A person after death needs warmth and interest, especially after a tragic death. Well, and if all the relatives, from mother to the most distant cousins, are six feet under, all the acquaintances are six feet under, well, how can one lie quietly [...]. And the Poles are fed up with lamps, flowers, prayers, and memories” [11. S.203].

The sense of shame is sublimated into motives of fear and vengeance – the dead remind people of themselves – they whisper, make some noise, threaten, beg, lull, wake up, etc.: “Mu-ra-nooo. Like some kind of remorse or a spell that cannot be deciphered. Until morning, it swirled between the ears, called out, made noise, spread anxiety”; “what kind of life is it when one has to constantly sniff out a conspiracy of ghosts”; “It is impossible to sleep in this city, it is stifling and restless. Someone whispers in the ears, someone brings his trembling lips closer and softly sings: ‘Muranooo, Muranooo’”; “Imagine that you have to live in such a house, and the house is not yours, it belongs to these dead people”; “They are here, grandma dreamed about them last night, they whispered strange predictions in her ear. Bury us, they asked, kill us, they begged, then we will not kill you, they promised”; “the spirits who allegedly shake her shoulder in a dream and whisper hoarsely in her ear: Muranooo, do you remember me, Muranooo”; “The Jews are sitting

on their belongings and guarding them, but what if they do something to us, what if they bury us alive, we need help. The Jews, like dragons covered with scales, breathe hoarsely and wave their tails. But do you know the spell? Damn, we don't know any spell" [4. S. 133, 120, 121, 124, 132, 133, 135-136]; "I imagined how they begin to get out of roadside ditches all over the country, and from under railway embankments, and go to nearby towns to tell about their sufferings and drink tea [...]. I'm afraid that the livings are not ready for this" [11. S.184].

The story of Khutnik is a cross between a fairy tale in the vein of the Brothers Grimm and a horror story for children with its nonsense, a detailed episode of black humor that combines elements of the comic and the terrifying. Here, the Grimm simplicity and cruelty of logic are bizarrely combined ("When this grandma began to feel frightened by ghosts at night, she came up with a plan: to cook matzo from children, crumble it in the basement, and let these crumbs turn into golden stones. The Jews would rush to pick them up and would be poisoned because eating a human body was not healthy - it had been proven by science"; "The children suddenly remembered the idea of matzo made from their bodies. They hurriedly began to crumble their fingers, hands, and noses. They sprinkled crumbs around themselves and called as if they were calling chicks: "Chuck-chuck-chuck, a Jew, a Jew! Muranooo!" There were rustles, some kind of champing, and crumbs flew in all directions. Hungry ghosts ate children with a great appetite"; "There is only noise and whistling coming from the corner, and this is "Muranooo", penetrating the very heart. And the children have already crumbled everything they had. Now they only needed to quietly ask the spirits to have mercy on them") with absurd but recognizable Polish stereotypes ("Because the Jews were lazy. They simply did not want to run away. The Poles kept leaning out from behind the fence and shouting to them: "Hey!" And those: "Come on." Then the Poles again: "Hey! We will give you a magic carpet, you will sit on it and fly away from this ghetto." And in response, from behind the wall, they would say that the carpets were dirty. Then the Polish army would throw the vacuum cleaners. Sins bags! Energy-saving vacuum cleaners were thrown into the ghetto so that those sissies would not get their asses dirty. But there was no reaction from them; changed their mind, they would say. They would get fussy: "No, no. We don't feel like it. We are happy here, in our small town of Muranooo" [...]. And what was the point of talking to them after that? You would explain, you would help, but they had already made up their mind. They would only shake their heads and stamp their feet"; "The most important thing is that on the territory of this city, which does not exist anymore, there are treasures instead. A lot of people have buried their glass eyes, gold teeth, rings, and chains. I have told you so many times to go down and dig a hole"; "And the spirits are sitting underground and guarding the treasures" [4. S. 125-126, 136, 137, 123, 128-129]). Brother and sister, incited by their cannibal grandmother ("In fact, when the children were born, their grandma immediately wanted to eat them. She said: good children, delicious, we will can them, and when there is a big famine, it will hit the spot [...]. This is not cannibalism, do not exaggerate and yell. After all, there have always been so many wonderful recipes for dishes from nothing in the ghetto, it's even a pity to miss

such a chance”), finally go down to the basement: “Brother and sister lived in the house, who wanted to unravel an exciting mystery about which their grandmother used to talk all the time: you’ll see, Jewish treasures are buried in the basement” [4. S.124]. For a while, the connection with ordinary life is interrupted (“Suddenly everything went dark, there was a crash and the children found themselves in the very center of the basement kingdom, and the door to the normal world was blocked”), and the notorious Jewish ghost or dragon appears from the rubble (its “dragon tail would constantly cling to the rebar sticking out of the rubble. The scales were splashing in all directions, like confetti”): “something started moving. Something began to appear out of the concrete, like a strange creature that had been forgotten and resurrected again. A ghost! It was a ghost! You wish! A little boy crawled out” [4. S.136-138]. Instead of treasures, the brother and sister find a typewriter that this small dead boy once lost; it is a symbol of his lost, not lived childhood [4. S.138]. Shame is masked by grotesque, fear is masked by black humor, but the problem of guilt present in the collective subconscious has not been solved: “All the Warsaw ghosts have dug even deeper and are waiting and waiting” [4. S.140].

In Ostakhovich’s text, the unexpected appearance of Holocaust victims on the doorstep of the apartment of a modern “pure-blooded Pole” also embodies the fear of Poland’s repressed Jewish past that has not been mourned. In fact, the novel implements the words from the famous essay by J. Blonsky “Poor Poles look at the ghetto” that echo in the main character’s remark: “Summer, Anielewicz Street, lime trees fluttering with leaves, their honey smell. [...] everyone would have thought he was crazy hearing that evil could not be covered with rubble and earth, that suffering must be respected and paid for, and blood, if it was not washed off in time and allowed to quietly soak into the ground, mixed with clay, would someday get out by a horde of golems, [...] broken bones and desecrated bodies would be clothed in those remnants of rags that were not stolen from them, would turn [...] into two-legged ghosts who knew nothing but pain, and would carry this pain [...] to the thresholds of our serene apartments” [11. S.14].

Here it is possible to see an allusion to the “Inglorious Bastards” (2009) by K. Tarantino and the idea of a “fair Holocaust” [6] and revenge: “They are eager to send someone they do not like for recycling. They have seen how they sent those whom they once loved, so now they want to see how those whom they do not love will go there” [11. S.88].

The novel is based on a game that is connected with pop culture and refers to the aesthetics of a comic book, computer games, or a thriller, and it is a grotesque mixture of codes, genres, and quotes. So, there is a characteristic everyman who, as fate would have it, turns from a philistine into a noble Superman (“I will do my best” [11. S.153]). There is an antagonist, enemies, a mentor, a faithful friend, and an artifact that accidentally fell into the hands of the main character (“The Silver Heart is impunity and power”; “This is the artifact that protected Jews from persecution”) and the fight for it; the culminating event is the Night of the living Jews when the hero manages to achieve the goal at the cost of his own life (“A

magnificent victory, I defeated myself, the devil, the Germans, and my own people” [11. S. 95, 157, 250]).

Ostakhovich applies a carnival mastering of a taboo topic – the repressed evil present in the Polish past: “What is the devil doing on our couch? [...] We are standing, hugging, looking at a red-skinned, horned creature that no longer pretends to be anything but simply has a frankly creepy look. How did it happen that such vile evil is present in our house? – we ask ourselves” [11. S.135]. In the novel, everything is real and vivid, this includes evil (a living devil in an ordinary Polish house), and the unremembered past that has been displaced from the collective memory (Jewish ghost corpses), and the manic fear of this past (the struggle of Warsaw residents with corpses). The anti-Semitic antagonist turns into a real devil with a tail, hooves, a forked tongue, and a fire-breathing mouth (“His poor content has begun to take an adequate form” [11. S.125]). Ghosts are taking over the streets: “In different conditions [...] some are badly battered by time, a few are quite well-preserved, all are soiled with earth”; “A Warsaw street looks, I must say, creepy. [...] There are more dead people walking past us than alive. The situation has changed since yesterday, and now the livings were not at ease, they hurriedly slipped [...], trying not to look around and get to work or home as quickly as possible, that is, to those places where they can catch their breath among the livings” [11. S. 117, 176-177]. Modern Warsaw residents rush to a heroic fight with “Jewish corpses threatening the living Poles”, a large-scale anti-Semitic campaign is unleashed and refers to the realities of Nazism and occupation – the upcoming “final solution to the issue of loitering corpses” has been announced, the Warsaw Ghetto Uprising is repeated as in 1943 during the liquidation of those people: “They are being caught in the streets, and basements are being searched” [11. S.179, 230, 232]. The main character’s mission, which is embodied in the rescue of Jewish corpses on the Night of the living Jews (“when we are truly alive [...]. This night contains a great danger because once we are alive, we can be killed. This time for good. If a corpse is killed that night, it will disappear from the world in the past, future and present” [11. S.228-229]), symbolizes the need to resist oblivion, the displacement of shameful fragments of the Polish past, and the need to associate with those who have no one to mourn.

No less provocative is the novel by Vyacheslav Kuritsyn, one of the main theorists and critics of Russian postmodernism, who was published under the pseudonym Andrey Turgenev.

Due to his age, and having the opportunity to work with traumatic experience only from the position of post-memory, the writer relies heavily on two textual materials of varying degrees of mediation that are testimonies and the main text of the Soviet “victory narrative” that is A. Chakovsky’s novel “The Siege” (1968-1975).

Turgenev attracts a large array of documents and testimonies, some fragments of which are included in the text of the novel in the form of hidden quotations, and in general, they largely make up the flesh of the depicted reality of the besieged city, including the emotional one (cf., for example: “Last summer, he woke up differently – always at six in the morning, from the sound of a

loudspeaker installed in the corridor for general use. Then, out of habit, he would wake up ten or fifteen minutes earlier and lie listening. In three minutes, unable to resist, he would go out into the corridor in his pajamas. There were already neighbors standing there, half-dressed, with greedily tense faces” [20. P.266] and “It was different at the beginning of the war. Henrietta Davydovna would wake up a quarter of an hour before the six o’clock squeak of the black plate. She would wait, and wait, and listen. A minute or two before six o’clock, Alexander Pavlovich could not wait any more, and having somehow gotten dressed, he would jump out into the corridor...” [25. Chapter 159]; “It turned out, for example, that the body was not characterized by an upright position at all; the conscious will had to get a grip of the body, otherwise it slipped out and fell off as if from a cliff. The will had to lift it up and sit it down or lead it from object to object”, “This body has slipped out of hands and wants to fall like an empty bag into an incomprehensible depth”, “It’s strange; this water [...] easily runs up the pipes. [...] Throwing his head back, a person measures the height ahead of him. In the distant depths, there is a ceiling with some kind of alabaster gob. The gob is right in the middle of a rectangular hanging zigzag of the stairs” [20. P.272-273, 279] and “You lift your head, and in the center of the opening on the ceiling, there is a plaster squiggle with such a tail to the left, and then, while you are climbing and if you look up again, the squiggle shifts. It seems that you are walking around it. If the squiggle is on the right, it means that you are halfway through. You obviously don’t have any strength anymore, but you can’t live on the stairs! – so you go until the squiggle is established in the previous position. The body seems to slip out of your hands, you need to support it with railings, walls. [...] But think of the water itself climbing up the pipes!” [25. Chapter 198]; “Some people plastered stripes with a rather intricate pattern” [20. P.292] and “Arka and Varka were frolicking, taping the windows in the apartment when the raids began. On one of Varka’s windows, they depicted patterns with palms and monkeys” [25. Chapter 14]; “A.F. said that he wanted only one thing that was to always drink sweet tea with a buttered bun” [20. P.336] and “Chizhik clumsily cooked a belt and thought how great it would be to sit and drink real tea with a fresh buttered bun all her life, and that she would not need any other food” [25. Chapter 175]; “If you do not grab bread with your hands from a frying pan but eat it with a fork and a knife, then you have a proper meal” [20. P.336] and “There is, you fool, because it will no longer be grub but a meal! A completely different feeling!” [25. Chapter 203], etc.

There are three layers in the novel.

First of all, there is a reconstruction of the objective reality of the besieged city, as well as of the Soviet consciousness of its inhabitants (with a serious correction for what we know today – anti-Soviet and pro-German sentiments, cannibalism) which is a reproduction of realities, types, models of situations, behavior, and feelings based on evidence and documents. These are, relatively speaking, “ordinary Leningraders” in a border situation and, at the same time, projections of the ideas that exist in the mass consciousness about the Leningrad besieged past.

The party leaders are the second group of characters and the second layer of reality, in the description of which the caricatured figurative-motivic series of postmodernism prevails. The portrait of Marat Kirov who was the “master of the city”, the furniture of his office, the feast and the environment are written with elements of that type of hyperbolization that can be observed in the works of F. Rabelais, N. Gogol, V. Sorokin: “Marat Kirov, the master of Leningrad, the mighty secretary of the regional committee, was sitting at a huge table – slightly smaller than the Field of Mars – in his home office on the Petrograd side”; “Another half glass. That’s enough. He took the Guryev plate, on which Kutuzov, an eye, and a mare were depicted, and with both hands, grunted, broke it in two: the mare was separated, the commander was separated, and there was no question of the eye”; “Caviar, butter, sturgeon, vegetables without spices, pickles, tongue, bread, and horseradish. Marat Kirov respected simple, no-frills food. Without all that nonsense!”; “Arbuzov was square. He was short but with extraordinary broad shoulders, exactly just in height. The head was the same, meaning even better – just a cube, with a brush haircut with right angles. In the middle of the face, he had a black mustache, twisted in a Caucasian way, similar to the integral sign. Together with the big and round-doughy Zdrenko, who was also here, they looked like methodological material for crazy geometric teaching”; “Zdrenko told this, giggling, smoothly shoving a piece of escalope into his mouth”; “In the dining room on the third floor, where the white bone dined, there were much less than a hundred people, nothing had changed yet. But one day there was no black caviar, and Ratskevich got so mad that Zdrenko barely calmed him down not to shoot the manager”; “Kirov strangled this temptation in himself, but he fell into gluttony. [...] Pelt the yawning abyss with cutlets, fill the foggy moats with salads, and pour the void with cognac. Sprinkle the black, unknown darkness with fried potatoes and salted mushrooms. And the fact that thousands of fellow countrymen were dying of hunger around, within the radius of a pistol shot, even if not at arm’s length, gave the grub a piquant mythological character, the sharpness of a ritual dance at the very edge of the world, the earth’s sphere, and human existence. He ate as he killed, as the executioner did his job, blood splashes flew. His stomach growled, and he burped and ground the brain bones with his powerful jaws. His comrades in Smolny avoided his floor when he was eating, and at home, his wife and the cook hid like mice on the back stairs”; “Ratskevich got blind drunk and knocked down tables and employees, and fired out the window”; “The shadows of comrades are getting fatter day by day. This is how people are: when there is hunger around but you have everything, you want to eat more and more. You do it either because of preparing for the future, or out of fear that you might not have it later, or just as a statement of your special position. I don’t want to, but I will devour” [25. Chapter 5, 28, 40, 55, 85, 137, 185].

Finally, the third layer is the plane of outright nonsense, delirium, and phantasmagoria, associated with the image of Maxim, a colonel of the NKVD, who was sent to Leningrad from Moscow. He is the link between the survivors of the siege and the authorities and easily moves from communal apartments and dying streets to the closed offices of Bolshoy Dom. He is an assistant and a killer, a savior and a



provocateur; at the same time (social)realistic as the image of a colonel and mystical as the image of a “Joker” and “Chetyrehpaly”, who throws bottles with letters to Hitler into the Neva (there is an allusion to the main character of Aksenov’s novel “Moscow Croak- Croak” Mokkinaki, who is a secret spy): “Chetyrehpaly (he was still cautious and signed as Joker) sighed, rolled the sheet into a tube, and put it in a bottle” [25. Chapter 33]. And if the images of “ordinary Leningraders” are mainly positive, the government and party leaders, with no exception, are depicted as a bunch of moral freaks and murderers, gluttons and lustful bastards, Maxim is contradictory and mysterious even for himself. It is no coincidence that in his letters to Hitler, he insists with equal passion on the destruction of the city but then asks for its preservation (“My Fuhrer, Leningrad should be wiped off the face of the Earth”; “My Fuhrer! It seems urgent to reconsider the concept regarding the future fate of the northern capital of the vast Russian state”), he believes and at the same time does not believe in the reality of his “correspondence” with the Fuhrer: “he thought that he had not written in bottles for a long time. Hitler missed him, he supposed. He ran along the shore, got angry, bit his mustache: where was the bottle, where was the bottle?”; “Maxim understood, that is, that the bottle did not make it to Hitler Adolfyh: and little time had passed, and it was impossible anyway. However, after all, no sorts of mediumistic connections were useless. Information leaked through the water, through the alchemy of thin layers: and Hitler got it”; “I crave it to make it to Hitler” [25. Chapter 33, 119, 162, 202].

In the second half of the novel, delirium, phantasmagoria, and grotesque grow like a snowball. Requests to Hitler come true in a strange way “Maxim triumphed. The last bottle reached its goal: the Fuhrer learned about radium and the cards” [25. Chapter 162]. Maxim is running around with the idea of staging the opera “Eternal Ice” that allegedly belonged to Wagner, in the settings of the besieged city (the parody-crazy libretto of which is included in the text). Together with a boy who was disappointed in the Soviet reality and a former athlete-mountaineer, as well as a glossolal spirit (“I’m ready, Maxim Alexandrovich... Kirov should be stabbed in the heart. That’s it!”; “- And let Comrade Kirov, then, continue to smoke the air? Vikenty resented it. – Have you forgotten that I am a spirit that lives here? “Personally, I consider it my duty to my father,” Kim said sternly, “to destroy Comrade Kirov. And I will have no regrets about dying for this good cause, and not cowardly in the evacuation”), Maxim plans and carries out an unsuccessful assassination attempt on Marat Kirov, and, for the time being, avoids suspicion from the Leningrad NKVD officials, misbehaves, and goes crazy (“He remembered about the radium cards, laughed how deftly he did everything, waved his hands, jumped up, and even went out in uniform that day, the holster was hanging out, and the oncoming people did not know where to run. So let ghosts, ghosts wander around the city, why was Vikenty Porfirievich sitting and doing nothing, and dress him up with a skull-death – and make him go out into the streets to intimidate and scare! ”[25. Chapter 168, 197, 162], etc.

Turgenev uses the precedential text of Chakovsky with its “consistent smooth picture, homogeneous both in generalizations and in particulars, regardless of the scale of consideration” [19] to deconstruct the Soviet siege myth, variously

correlating a number of his characters with the heroes of the novel – typical representatives of Soviet Leningraders.

The text of Chakovsky, like the testimonies, is sometimes used by Turgenev as a material for modeling the flesh of the novel, however, with the author's consciousness of the artistic and ideological mediation of this material (for example, it is introduced in the form of a photograph), but most importantly, it is parodically detached.

Thus, the consciousness of Varya, who is the main character of Turgenev's book, correlates with Chakovsky's ideas of the ideal Komsomol member, which are represented in Vera (including, very consistently, in moments related to emotional and sensual life), and the love triangle in "To Sleep and Believe" goes back to the triangle in the novel "The Siege". Varya-Vera must choose between her fiancé who has gone to the front and a career military officer who finds and saves her in the midst of the siege. However, if for Chakovsky "the savior" is the front-line officer Zvyagintsev, for Turgenev it is the grotesque and controversial character Maxim; what is more, the NKVD – in accordance with historical reality - is shown in the novel as a repressive and morally degenerate authority. When Chakovsky names the fiancé who went to the front, who is also the antipode of Zvyagintsev, a traitor, in Turgenev's work, betrayal is reinterpreted in accordance with the controversial historical reality: Varya's fiancé *is declared* a traitor for *allegedly* surrendering. Thus, the reality that surrounds the heroine stylized as a Komsomol member who believes in Soviet ideals is no longer the "smooth" and problem-free heroic reality of Chakovsky – it is indistinct for Varya and at the same time easily understood by the post-Soviet reader, and most importantly, it can be conveyed less and less by the inner language of the heroine stylized as Chakovsky's discourse, from which more and more scratchy fragments remain and which increasingly becomes the language of evidence processed by Turgenev.

The second element of the deconstruction of Chakovsky's "flat world" is an outright ideological parody. In Turgenev's novel, as well as in "The Siege", the storyline of the party leaders is also one of the main ones, however, it is subjected to travesty, carnivalization, and desacralization as if because it cannot be depicted otherwise, this is how much this reality is disconnected from the besieged life. Here, the party members are not a wise demiurgic force but cynical farcical characters, and the main emotion is the fear of falling into disgrace. This fear is even worse than hunger among ordinary citizens ("Stalin, having once come to visit, made a witty joke: – And if you, Maratik, had committed suicide, then there, in the last room, could have been your scarecrow. It would have been the biggest one!"; "And if you, Maratik, had committed suicide with a skewer in your eye," Stalin, who was boozed after the third bottle of wine, joked, "then the party would have had a stuffed Cyclops in the asset!"; "Make a scarecrow out of me," Kirov smiled wryly"; "I felt that the trap was waiting for me"; "The party wants a scarecrow! We will fight for it!"; "The feeling of an imminent bullet never faded even for a moment, it did not leave either at work or at the table. Maybe, not a bullet: even the skin of a bear in his native office on Petrogradka seemed to conceal a toothy threat: it would rise up, rush and chew through. The waitress in Smolny, which

was absolutely ridiculous, could have a narrow Caucasian dagger hidden under her apron. The major version was that it was Stalin who ordered the hit, had long ago decided to get the main scarecrow of the country made from Kirov and to exhibit it every time possible at the All-Russia Exhibition with the full power of Asian Kremlin cunning"; "Stalin was Stalin, but what Marat Kirov imagined was some other hunter in the Leningrad air"; "Kirov dreamed of his scarecrow [...] And a hole in his forehead: as if the original source of the scarecrow shot himself" [25. Chapter 5, 7, 11, 26, 85, 176, 190].

The third one is the reality referring to Chakovsky's novel, which is filled not with the accomplished facts of heroic death but with the continuously dragging motif of death hanging over the city, of painful dying: "City people inside themselves were decreasing like a fish freezes in ice; they distinguished themselves from the dead only because of instinct" [25. Chapter 189]. It is no coincidence that Varya's mother thinks that they have already been dead for a long time, and this feeling is described from within as one's own death: "...– Everything dies inside, kid, as if I have already been killed. But when I close and then open my eyes, I'm alive! And then another one flies and whistles. Whi-istles, the spine is being sucked out. And it's like I'm killed again. And another one. As if they kill me several times a day!"; "Varenka's mom used to say weird things in the kitchen, as if they were all killed at the beginning of the war by one invisible bomb, and what happens now is posthumous dreams and memories of dreams"; "– I, Varvara, when I swing in a chair, it's so good; everything disappears, but I seem to be alone and I swing in the void, in the void. And then I look: she herself has already disappeared. And I'm noot here anymore... It's scary, Varvara, it's scary" [25. Chapter 20, 58, 110].

However, the city is understood as a space of death not only due to the realities of the besieged life. The myth of the siege (which includes the idea of the coming rebirth) is superimposed on the eschatological St. Petersburg myth (about the destruction of the city and its impending imminent collapse), which is lived in and experienced by Maxim who calls himself a "spectator" or "patient of St. Petersburg" [25. Chapter 106]. Maxim is obsessed with a sense of revenge for the finger he lost during the construction of the canal from the Neva to the Smolny: "The monkey city must be destroyed!"; "In general, Maxim did not think about revenge on the people of Leningrad. [...] Another thing was revenge on the city, which swallowed, chewed, spat out, and did not choke. Cold, calculated, soulless, skeptical [...] this city was harmful [...] While he was happily thinking of his cunning, intricate involvement in the destruction of St. Petersburg" [25. Chapter 33, 93]. In his vision (which compositionally holds the entire novel construction), the city is terrible in its anthropomorphism and zoomorphism; it is artificial, twisted, rotten, cruel, and dead: "The windows are plastered with the same paper X's as if the city wants to swear menacingly, but due to exaggerated intelligence it stops at the first letter. The nymph on the roof, dressed for the beach if not for the Garden of Eden, cowered in the wind"; "A fine drizzle curled like bugs. The corrugated Neva flowed somewhere [...] The Peter and Paul Fortress under the low sky insinuated itself to the ground in a crouching manner. Painted in limp brown, the spire merged

with the sky; the towers of the mosque and the distant Rostral Columns also seemed to shrink feeling their incongruity in this flat space. Vasilyevsky Island seems to have just come off and be slowly floating away in the drizzle, and the city will think for a long time whether to save it and anchor it to the swampy edge of the world or let it go to sea. Everything is damp, smooth, flat, pale, gray, foggy...”; “There was a smell of air: swampy, poisonous. The round moon hatched exaggeratedly. The house-chests were uncomfortably piled up as far as the eye could see, out of place, preventing the swamp from freely slurping itself and bubbling”; “The cold hand of the city has put puppets in front of him, Leningrad itself throws him a mysterious challenge continuing the game that was interrupted during the last visit. Or rather the city responds to Maxim’s challenge [...] is sitting there, waiting, heartless, spread out like a slippery, pretentious toad under a drizzle. It is ready to stick out its long tongue and lick any gawking person into its swamps”; “on a bent canal [...] it, too, was rushing along this crooked piece of the city from bridge to bridge”; “Palace Square began to shrink, the wing of the General Staff stretched out and crawled towards the Neva: slowly but persistently-visibly, and the opening was tightening towards it by the cassock of the openwork lattice. Maxim was afraid that the trap would close, and rushed to the Admiralty. He walked along the boulevard past the bivouac of blims anxiously dozing like big guard animals”; “Maxim dreamed of Nevsky Prospect filled with gallows. Thousands of gallows, crooked as aspens, no, straight as crosses, dotted along the entire avenue. On each one, there was a hanged person synchronously dangling in the wind. There was no insignia. Some army won and hung another one like laundry in the yard” [25. Chapter 15, 25, 45, 174, 184, 190].

The mysticism that has always accompanied the “pan-chronic” St. Petersburg text turns into a mocking reality. It creates the image of Maxim’s unexpected fellow glossolal who calls himself the spirit of the city and has the goal of finally freeing this space, which is tired of people and belongs to evil spirits: “And to scare people. – What for? – So that they get out of here. This place is not theirs. This is ours. [...] Ours is not people’s, so it is not yours. It is a spiritual place. [...] And Stalin [...] is the spirit of theirs. – Whose is theirs? – Well, yours. Human... – And you? – And I’m a spirit person. I sort of represent them here. And Stalin is the main one. If the main one leaves, the others will get scared”; “These places, Mr. officer, are such a death zone. Death is here... well, in the manner of a mineral. It is stored in case of an emergency, if in some other zone of the Earth there suddenly is not enough. [...] You never know how it will work out. Plenty is no plague, so to speak. And here, well, we nurture it and take care of it. And why did you come here after spending thousands of lives on building, and now millions on the war – it’s good for us. The earth is soaking with death! – Do you fertilize it like that? – Sort of. [...] – But you also need to know where to stop. To know, that is, it is impossible to know it, it is simply numbers and figures, but it seems that you have been here for too long. A quarter of a millennium, that’s enough. Death, after all, needs not only food but also emptiness sometimes. You know, to become stronger on emptiness, like vodka on herbs... – That is, do you, dear spirits, want people to disappear and the city to go into a swamp, and that there would only be the statue

of the Bronze Horseman rising above the gray reeds? As in the prophecy. Will you leave the statue? [...] – We have nothing particularly against the city,” Vikenty Porfirievich shrugged his shoulders. “A ghost city would be fine. Death likes it, we believe. Let it be, only without you” [25. Chapter 102, 114]. The police are seriously chasing a ghost through the besieged city: “In a white shroud and a skull on its head. It approaches, silently hoots and this is... a flick on the forehead of a man or woman. It is painful. – So catch it, damn it!!! – It disappears, Comrade Kirov. It melts in the snow shroud”; “That same evening, the ghost got so arrogant that at the very Moscow railway station it flicked a policeman on duty and even snapped at him, the bastard, before disappearing into the white shroud. But think of it, they fired two pistols, two clips were wasted: it still disappeared!” [25. Chapter 172, 177]. In the house of scientists, “there is a ghost, and a secret passage, they have it all...” [25. Chapter 142]. The well-known but also alternatively fictitious story of the autopsy-desecration of Timur’s grave is superimposed on the mysticism of St. Petersburg-Leningrad, giving the scope to the picture of the influence of infernal forces.

Maxim more and more often sees not a real city but a kind of fulfillment of the old prophecy of the tsarina about the “empty city”, and he begins to feel like an instrument of this curse: “On the Field of Mars [...] the eternal flame was not eternal, it was gone due to the war. Its mouth was like the navel of the square. If our army retreats, then the regiments will be sucked in under the scarlet stars through the navel into the bowels, into the molten Gehenna. The German hordes will triumph, but they will also be sucked in, only the swastika symbol will get stuck, get caught by its corner but it will also age and fall into the navel”; “palaces and bridges were carried away to nowhere, white foam trembled in the Gribnoy Channel as if it had boiled. There was some kind of heartbreaking delight in this, a deadly movement”; “He turned around, looked across the river, and there was nothing there, only white cotton wool of fog, there was nothing there anymore. The city itself disappears, without waiting for the final push”; “It seems that Glossolal Porfirievich is right. People are removed, and the city is good. How loudly will the wind howl in the empty courtyards-wells, will a blizzard whistle through the abandoned squares! Bronze to turn green, stone to crack, flooding – to flood freely. Spirits to rustle and circle, and frightened angels to bat their big eyes from above”; “Take someone out, others will die, the Germans will be sucked into the navel of Mars, and let the empty city be”; “he walked around the room and drew strange pictures in his imagination. On Palace Square, for example, it was possible to build a maze. A maze that will make at least one of a group of visitors disappear. Devoured by a monster-beast. No, there is no need for monsters; the city will be empty, and tourists will only be on the helicopter board. It is a trap. A cobblestone suddenly opens up in one place under you, and that’s it”; “A dead city is the setting for ‘ice entities’”; “it’s a pity that such settings are being wasted! They are the best settings in the world!” [25. Chapter 15, 92, 106, 123, 137, 162, 226].

Thus, Maxim aims not just to read and finish the “Petersburg text” (his nonsense and provocations sometimes repeat the words and actions of the characters of Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Bely: “Peter The First, having just invented the mon-

key city, was resting in ridiculous scenery. – He has hidden! – Maxim threatened Medlenny. – The citizens will drag the boards to the stoves, they will bare your autocratic ass! How many souls did you sacrifice during the construction, how many? How many of God’s creatures did you bury in the swamp, you, monarch? God’s, eh?! Creatures, eh?! [...] – You are keeping your mouth shut, you, idol! You sacrificed tens of thousands of peasants, killed them in the name of the monkey city! Rose with their blood but scratched the window, are you satisfied? Beware! And we will lose a million here in this war, two, three! Did you dream such a thing, phantom tsar? What could you, an idol, even dream about...” [25. Chapter 184], etc.), but to stage it in the grandiose stage settings of a frozen city: the literary image-text of St. Petersburg is being transformed from the planar into a three-dimensional theater platform, saturating the image of St. Petersburg with the features of modern performance.

The novel confronts reality and dream, documentary reality and fragments of discourses, the clarity and unambiguity of the stylistics of the depicted time with the vagueness of modern consciousness, the faith of the Stalin era – with the disbelief of the subsequent ones; it combines the legends of the siege time with the clichés of a spy novel and a love melodrama, uses parody allusions to a variety of texts (including post-war texts that are consistently introduced into military reality), from the novels of Sorokin to “Karlsson-on-the-Roof”, “The Snow Queen”, “The Wizard of the Emerald City” or “The Golden Key, or The Adventures of Buratino”, from A. Tarkovsky to V. Utki-Otki, modern vocabulary.

Where does this artistic and psychological need for authors who address such painful topics today to use the grotesque come from? “Paraphrasing a well-known popular maxim, it is possible to say that it has always been a custom to speak of the siege “nothing but good”. [...] It seems weird to imagine the implementation of the theme of the siege in the literature of the postmodern era that is the literature of the game, nonsense, and silliness” [18]. The same can be said about the experience of the Holocaust.

It seems that there is a parallel with the ironically paradoxical provocative method developed by the American psychotherapist Frank Farrelly [16. P.508]. Used, in particular, for the treatment of depression and neuropsychiatric overstrain, it is aimed at forming a comic consciousness in the client with the help of exaggeration, mimicry, ridicule, distortion, sarcasm, irony, nonsense, black humor, etc.

The comic, for its part, is closely connected with the protective and adaptive capabilities of the individual and society; it can serve as “a safety mechanism enabling us to maintain equilibrium, perspective, and optimal psychological distance in our multivariate lives” [27]. Irony and sarcasm, being an emotional transformation, harsh ridicule of an emotional event, and a search for the nonsense, absurdity, and fun in it, serve as a verbal purification and purgation of emotions. It is no coincidence that the linguist J. Haiman calls it the most acceptable discourse of our time [5]. Black humor also has obvious protective functions, directed at those spheres of human life that, from the point of view of generally accepted morality, are more or less taboo for ridiculing. Referring to the ideas of E. Fromm, V.I. Zhelvis calls it “a ray of light reflected from the blackness of the infernal looking

glass”, “a fragile hope of a biophile [...], weak even, because attempting to save it, a drowning person grabs the outstretched hand of a necrophiliac” [22]. N.A. Maslenkova draws a parallel between black humor and a barbaric ritual, seeing their similarity precisely in the therapeutic effect: it is generated by “the situation a laughing person finds himself in: archaic laughter, “the carrier and giver of life”; it is a magical means of overcoming death, overcoming fear and destruction. Black laughter actually does the same thing but not in the same way as it is done in a barbaric ritual. Marking the boundary between death (or the threat of death, cruelty, something terrible, etc.) and life, such laughter separates the space of a laughing person from the depicted one” [24. P.147]. The grotesque also has a significant protective and adaptive potential, which contributes to purification and purgation of emotions, detachment from everyday reality or detachment from an object and the protection of personal boundaries, carnival resistance to external pressure and the preservation of self-esteem, as well as the release of repressed experiences and paradoxical integration of the personality.

It is precisely this grotesque plot, referring to mass culture, that allows the victims of the Holocaust to *literally and visibly* knock on the Polish door; that makes the young hero-narrator Ostakhovich, who previously had rather vague ideas about the Holocaust as an average person, take a kind of “accelerated class” of empathy and compassion. This seems to be an illustration of D. LaCapra’s words that even a second-degree witness’ reaction to traumatic events is connected with empathic anxiety that turns out to be a “necessary, affective dimension” of past research and “plays an important role in trying to understand traumatic events and victims of trauma” [10. S.100].

“The complicated Polish memory of the Jews [...] still needs to be shaken,” says Polish researcher B. Przymuszala. – Sometimes it even needs a thriller to see its own monstrosity” [12. S.182]. The thoughts of the actor A. Zhmievsky are very similar to hers: “There is a monument in Warsaw, on Stavka Street, where Umschlagplatz was. A white cube with names written in two languages – Polish and Hebrew; a black stone stripe around it. I once listened to a radio program about the history of this place. The journalist interviewed students of the economic institute, and the monument was very close to their campus, whether they knew where the Umschlagplatz was and where the monument to the victims of the Holocaust was located. People who would pass by that place at least twice a day did not know where the monument was located; they did not know what Umschlagplatz was. They did not know that once upon a time their campus was a Jewish hospital on Umschlagplatz. [...] I thought that we still needed other monuments in Poland – not white cubes but visual stories with figures, like in a comic book. [...] we do not perceive the aesthetic imperative, but color comics are welcomed” [8. S.90].

It seems that the visualization of the horror of memory and unconsciousness and national stereotypes is necessary for its dissociation so that horror can become the subject of analysis, and the prospect of the grotesque and the deconstruction of the clichés of mass culture are expected to act as a kind of painkiller, “quotation marks”. Khutnik’s black humor and Ostakhovich’s carnival game of popular culture codes, in addition to purification and purgation of emotions in a situation of

repressed guilt and fear generated by it, contribute to psychological integration and the “transformation of previously alienated individual aspects into full-fledged aspects of a complete personality, ‘while avoiding frank identification with us’”[7].

Just as in Ostakhovich and Hutnik’s case, in order to survive the inexperienced, for instance, mourning for the destroyed and forgotten Jewish neighbors, first of all, it is necessary to “revive” them, give them the right to vote and act, “realize” in the text both the vengeance that is frightening with its eternal unrealiza- tion and the opportunity to make up for their ancestors’ mistakes and behave in a completely different way; in Turgenev’s case, to protect it in order to overcome the one-dimensional victorious narrative that does not cover the entire array of trau- matic experience, it needs to be “revived”, people must try it themselves and make sure that it is inappropriate. Neither is possible in a purely realistic paradigm.

The monstrosity, but also the absurdity of the behavior of the authorities in the besieged city, which is a real (already lived-in consciousness of the modern reader) historical layer, seems to be “pressed down” by the introduction of already outright nonsense, elements of phantasmagoria; but, in fact, from the point of view of human morality and normal logic, they are no different (however, amid increas- ing delirium, the first one is slipping away because of being roughly “normal”). For example, the director of the Hermitage Museum, allegedly arrested on deliber- ately false accusations then released in order to bury Timur with his curse all over again, is offered as a special favor to lie down in his grave: “There is just such an opportunity. In the form of recognition of merits and special honor. I have been in- structed to inform you about it. “Oh... I won’t fit in. The sarcophagus is made for one person. – On top. On Timur. Trample the enemy” [25. Chapter 211] and the director seriously thinks about it and excitedly agrees. In addition, if the only real point of contact between the two layers of life – the besieged people and the party leaders – is repression, then the only human link connecting them can only be gro- tesque. Grotesque episodes aimed at taboo objects of national discourse immerse the authors in a special invective atmosphere [23]: as in any carnival situation, the taboo is broken, and the psychological aspect of this phenomenon is the speaker’s desire to achieve two opposite goals at once: to avoid contact with taboo concepts and at the same time achieve this contact. Thus, a kind of cathartic emotional out- burst is achieved.

Thus, the novel turns out to be “an attempt to create a non-totalitarian text that is very strong in terms of its impact on the reader” [21. P.117-118]. The title “To Sleep and Believe” obviously refers to a quote from Chakovsky’s “The Siege” – “to remain silent and listen”. In this “to sleep and believe”, the siege is shown as an event and a narrative at the same time. The physiology of a besieged resident, his private and official ideology, his betrayal by the authorities (there is only one thing left, that is to sleep and believe that his time will come), a sleeping belief in the birth and permission from above and below for the existence of a language ad- equate to the monstrous experience.

Considering the literature as one of the instances of constructing trauma, J. Alexander says that its role in this process is the preparation of identification with the victim. In the case of the new literature about the siege and the Holocaust, such



preparation is impossible “without a significant transformation of subjective structures and depictive strategies, without a “breakthrough to experience” [19]. According to Uritsky, the semantic layers of the novel “To Sleep and Believe” “colliding, generate a wild cacophony, accompanied by the noise of stylistic experiments, but in the end, oddly enough, it gives a sense of artistic and human significance, paradoxically connected with an alarming inner emptiness” [26. P.340].

## REFERENCES

1. Assmann A. Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa, 2013.
2. Bauman Z. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa, 1995.
3. Bauman Z. Świat nawiedzony // Więź, 2007, №9.
4. Chutnik S. W krainie czarów. Kraków, 2014.
5. Haiman J. Talk is Cheap: Sarcasm, Alienation, and the Evolution of Language. Oxford&New York, 1998.
6. Hoberman J. Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds Makes Holocaust Revisionism Fun // Village Voice. 2009, August 18. URL: [www.villagevoice.com/film/quentin-tarantinos-inglourious-basterds-makes-holocaust-revisionism-fun-6391999](http://www.villagevoice.com/film/quentin-tarantinos-inglourious-basterds-makes-holocaust-revisionism-fun-6391999) Accessed: 01.02.2021.
7. Jakab I. Humor and psychoanalysis // L’Humor. Histoire, culture et psychologie. Paris, 1998. P. 17-18. Cit. by: Kopytin A. I. Humor in art and art therapy: phenomenology, diagnostics, protective and adaptive capabilities. // Medical Psychology in Russia, 2012, No. 4 (15) URL: [http://medpsy.ru/mprj/archiv\\_global/2012\\_4\\_15/nomer/nomer02.php](http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_4_15/nomer/nomer02.php) Date of application: 01.02.2021
8. Janicka E. Festung Warschau. Warszawa, 2011.
9. La Capra D. Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna. Kraków, 2009.
10. LaCapra D. Trauma, nieobecność, utrata // Antologia studiów nad traumą. Kraków, 2015.
11. Ostachowicz I. Noc żywych Żydów. Warszawa, 2012.
12. Przymuszała B. Smugi Zagłady. Emocjonalne i konwencjonalne aspekty tekstów ofiar i ich dzieci. Poznań, 2016.
13. Sendyka R. Pryzma. Zrozumieć nie-miejsce pamięci // Teksty Drugie. 2013. №1/2.
14. Szczepan A. Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec Holokaustu i tożsamości żydowskiej // Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze. Kraków, 2011.
15. Tokarska-Bakir J. Historia jako fetysz // Tokarska-Bakir J. Rzeczy mgliste. Sejny, 2004.
16. Adelheim I. E. Psychology of poetics. Autopsychotherapeutic functions of a literary text. M., 2018.
17. Assman A. The long shadow of the past. Memorial Culture and Historical Politics. Moscow, 2014.

18. Bogdanova O. "Sleep and believe" by Andrey Turgenev, or "The Blockade Novel" by Vyacheslav Kuritsyn. URL: <https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=1031> Accessed: 01.02.2021
19. Vorobyova (Vezhlyan) E. Break through the barrier: the siege of Leningrad as a symbol and experience // UFO, 2016, No. 1 URL: [https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe\\_literaturnoe\\_obozrenie/137\\_nlo\\_1\\_2016/article/11801](https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/137_nlo_1_2016/article/11801) / Accessed: 01.02.2021
20. Ginzburg L. Notes of the blockade man. Selected prose. St. Petersburg, 2014.
21. Glikman K. V. Review of "Sleep and believe" by A. Turgenev // Questions of literature. 2009. May-June.
22. Zelvis V. I. "Black humor: the anatomy of human destructiveness" URL: [www.yspu.yau.ru](http://www.yspu.yau.ru) Date of application: 01.02.2021
23. Zelvis V. I. Some emotionogenic features of invective communication // Language and emotions. Volgograd, 1995.
24. Maslenkova N. A. (Not)the cultural format of "black humor" // Studia Culturae. Issue 12.
25. Turgenev Andrey. Sleep and believe: The blockade novel. M., 2007. URL: [https://royallib.com/read/turgenev\\_andrey/spat\\_i\\_veritblokadniy\\_roman.html#0](https://royallib.com/read/turgenev_andrey/spat_i_veritblokadniy_roman.html#0) Accessed: 01.02.2021.
26. Uritsky A. Such a strange (scary?) game... [Book review: Turgenev A. Sleep and believe: A Blockade novel. M., 2007] // New literary Review. 2008. No. 3.
27. Farrelli F. Provocative therapy. Yekaterinburg, 1996. URL: [http://royallib.com/book/farrelli\\_frenk/provokatsionnaya\\_terapiya.html](http://royallib.com/book/farrelli_frenk/provokatsionnaya_terapiya.html) Accessed: 01.02.2021

*Чепелевская Татьяна Ивановна,  
кандидат филологических наук,  
доцент, старший научный сотрудник  
Института славяноведения РАН*

## **ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ КАК ЭПИЗОДА ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ НА ПРОЗУ СЛОВЕНСКОГО ПИСАТЕЛЯ СТАНКО МАЙЦЕНА (1888–1970)**

**Аннотация:** В статье рассматривается проза словенского писателя Станко Майцена (1888–1970), тематически обращенная к событиям Первой и Второй мировых войн через призму идей Ю. М. Лотмана (1922–1993), которые ученый высказывает в работах, посвященных механизму развития взрывных и эволюционных процессов в культуре («Культура и взрыв», 1992; «Непредсказуемые механизмы культуры», 2010). Мысли ученого о воздействии этих процессов на развитие культуры, как представляется, позволяют по-новому взглянуть на то, как воссоздавалась военная тема в творчестве отдельного автора, участника и свидетеля той эпохи (как бы изнутри военного опыта), а по прошествии времени обретала новое осмысление.

**Ключевые слова:** Первая мировая война, Вторая мировая война, Станко Майцен, словенская литература XX в., Ю. М. Лотман, взрывные и эволюционные процессы в культуре.

Недавно прошедшие юбилеи двух мировых войн значительно актуализировали тематику, связанную с изучением как событий самих войн, так и их литературного воплощения в культурах разных стран. Специалисты-историки, подводя итоги изучения Первой мировой войны на протяжении последних лет, выделяют главные направления современного периода ее исследования. Они, по мнению Е. Ю. Сергеева, президента Российской ассоциации историков Первой мировой войны, отмечены сочетанием междисциплинарного и компаративного подходов. Эти подходы требуют от ученых «глубокого и тщательного исследования ее истории, освобождения от устоявшихся оценок и мифов, объективной реконструкции событий на основе большого корпуса документальных источников, причем не только нарративных – официальных и личных (эпистолярных, дневниковых и мемуарных), но и визуальных: кинохроники, фотографий, карикатур, плакатов, листовок, открыток» [6, с. 5]. Как о составляющей этого процесса, ученый говорит и об осмыслении и художественном отображении причин, характера и последствий Первой мировой, которые стали ведущими темами произведений мастеров культуры не только на протяжении 1920–1930-х гг., но и во второй половине XX в. и начале века XXI, но уже в исторической ретроспективе художественного сопоставления первого и второго глобального столкновения [6, с. 13].

Еще один подход к изучению и восприятию событий военных лет связан с изучением темы «травмы» (как последствия войн и военных конфликтов) в работах многих исследователей разных стран. В качестве примера развития этой темы в широких масштабах (вплоть до событий последнего времени) можно привести сборник 2009 г. [7], объединивший исследователей из разных стран. В сборнике есть и работы, посвященные травмам, полученным в годы войны и особенностям их переживания впоследствии. Например, статья британского историка Катрин Мерридейл, где с использованием архивных материалов первых десятилетий прошлого века и собственных интервью, историк анализирует то, как в России формировалось отношение к посттравматическим синдромам и контузиям. А также работа Елены Барабан о репрезентациях войны в советском кино, которая позволяет в определенной степени понять, как проходил процесс бессловесных травматических переживаний. При этом в некоторых кино-работах одиночество психически травмированного человека обрело свою специфическую советскую метафору – подранков и сирот, обездоленных войной, что позволяло, с учетом идеологического контекста, избежать сложной проблематики соотношения героизма солдат и особенностей их травматических переживаний [см. 8, с. 5–41].

Современные подходы к осмыслению темы войны в литературе также имеют разную направленность. Словенская исследовательница Аленка Корон, с опорой на работы западных ученых, выделяет три основных подхода в современном литературоведении. Они связаны с определением групп

произведений, по-разному интерпретирующих войну (в частности, Великую войну, как называли Первую мировую). К первой группе относят произведения патриотического характера, в которых с использованием определенных образных клише, шаблонов и художественно-стилевых стратегий, отражаются вопросы национального сопротивления и защиты родины; далее идут тексты с выраженной антивоенной позицией, в которой в центре внимания обличение дегуманизации, которая сопровождает войну. В третью группу, противопоставленную первым двум, ученый объединяет произведения без выраженного идеологического начала, для которых характерно изображение «сложной и противоречивой сущности войны, стремление к духовному преодолению воплощенного в войне кризиса человечества» [2, с. 350]. При этом А. Корон признает, что эта схема не может вместить всего многообразия литературных отражений данной темы, и справедливо отмечает, что «в современных литературах можно обнаружить многообразные варианты совмещения и пересечения различных подходов» [там же] и стремится показать это на примере анализа военной прозы, созданной в послевоенный период, словенского писателя Милана Пугеля (1888–1920).

Новым подходам к изучению литературы о Первой мировой войне посвящены и исследования, проведенные в рамках проекта (ИМЛИ, 2014 г.) «Политика и поэтика: историко-культурный контекст русской литературы в эпоху Первой мировой войны»<sup>9</sup>. В центре внимания его участников, благодаря работам которых был введен в научный оборот большой пласт новых или забытых литературно-исторических источников, оказалась особенность отражения военных событий в русской литературе той эпохи на культурно-историческом фоне «серебряного века».

Так, в работе В. В. Полонского «Уют на лобном месте»: Первая мировая война в поэтико-идеологических отражениях» [5], отмечается не только специфика русской ситуации, связанной с тем, что война явилась катализатором процессов, которые привели к революции и последующих за ней событий. «Отсюда – естественно – существенно большая радикальность и тотальность ощущения кризисности и значительно более подчеркнутая потребность отечественной культуры в переводе языка описания окружающего из плана истории в план историософии и эсхатологии, чем (э)то было свойственно культурам западным» [там же]. Иными словами, в целом ряде произведений военного времени наряду с публицистичностью, которая пронизывает и часто подчиняет себе художественное высказывание, ощутимо тяготение «к напряженной простоте и безыскусности “библейского реализма”» [там же].

\* \* \*

Нам представляется интересным рассмотреть еще один подход к военной теме в литературе через призму идей Ю. М. Лотмана, высказанные им в работах, посвященных механизмам развития взрывных процессов в культуре<sup>10</sup>. Высказанные в них мысли о воздействии взрывных и эволюционных

<sup>9</sup> Этот проект поддержан РГНФ, руководитель проекта В. В. Полонский.

<sup>10</sup> Имеются в виду последняя прижизненная книга ученого [3] и книга, подготовленная позже коллегами Юрия Михайловича [4].

процессов на развитие культуры, на наш взгляд, позволяют по-новому взглянуть на то, как воссоздавалась военная тема в творчестве отдельного автора, участника и свидетеля той эпохи, как бы изнутри военного опыта, а позже по прошествии времени обретала новое осмысление.

В своей книге «Культура и взрыв» Ю. М. Лотман пишет о двух типах движения: непрерывном, которое характеризуется осмысленной предсказуемостью, и противопоставленном ему непредсказуемым, т. е. изменением, которое реализуется в порядке взрыва. К типу событий, которые развиваются по логике взрыва, ученый относит Первую мировую войну [3, с. 18]<sup>11</sup>. Сам момент взрыва, по мысли ученого «располагается между прошлым и будущим и как бы вырван из времени», при этом он добавляет, что «понятие вырванности из времени не связано с реальной хронологией процесса. В реальности процесс может растягиваться до весьма длительных сроков» [4, с. 46]. Важным для автора книги представляется и вопрос интерпретации взрыва, которая «меняется в зависимости от того, в какой точке находится описывающий его наблюдатель» [4, с. 47].

Понятно, что позиция историка в интерпретации произошедшего события определяется взглядом **назад** по оси времени: он излагает его с точки зрения, для которой оно уже совершилось. А такой взгляд из настоящего в прошлое, по убеждению Лотмана, «уже деформирует материал. Потому что Все несовершенное, но вероятные в момент взрыва возможности отсекаются, выделяется «единственная цепь совершившихся событий», «подключается механизм их ретроспективной интерпретации в терминах причинно-следственных связей» [4, с. 48]<sup>12</sup>.

При взгляде изнутри **вперед** по оси времени, продолжает ученый, наблюдатель видит пучок равновероятностных событий и, в более отдаленном историческом будущем, различных путей развития...», и эта «...неисчерпаемость возможностей в момент взрыва придает процессу бесконечную информативность – он не может быть предсказуем». Однако в момент взрыва происходит реализация одной из этого пучка вероятностных возможностей, ведущей к исчерпыванию неопределенности, и он становится моментом «создания другой реальности, сдвига и переосмысления памяти» [4, с. 46–47, 48, 50].

Хотелось бы проанализировать, как на это реагирует художник, писатель. Этапы вхождения и развития темы Первой мировой войны и особенно-

---

<sup>11</sup> Примечательно, что, В. Шкловский в «Сентиментальном путешествии», вспоминая свое возвращение в Петербург 1918 г., сравнивает город с «оглохшим» человеком: «Как после взрыва, когда все кончилось, все разорвано. Как человек, у которого взрывом вырвало внутренности, а он еще разговаривает. Представьте себе сообщество из таких людей. Сидят они и разговаривают. Не выть же» [9, с. 142].

<sup>12</sup> Отметим, что подобный взгляд на Первую мировую войну демонстрирует в своей работе Е. Ю. Сергеев, который, предлагая оставить в стороне другие, частные причины и нюансы предыстории Первой мировой войны, «например, углубление англо-германских или русско-австрийских противоречий...», приходит к выводу, что «ее начало стало неизбежным вследствие взаимодействия многих факторов объективного характера» [6, с. 6].

сти механизмов ее развертывания (в произведениях) мы постараемся рассмотреть на примере творчества словенского писателя Станко Майцена.

Станко Майцен (1888–1970), писатель с необычной судьбой: юрист по образованию, он был призван как прапорщик-резервист на фронт в самом начале войны и сразу попал в Галицию; здесь был после двух месяцев боев ранен, награжден серебряной медалью за храбрость и отправлен в тыл в отпуск и на лечение. В конце 1916 г. его вместо фронта отправляют в Белград для юридической работы в управе оккупационного правительства, а вскоре он становится помощником бана (подбаном) Люблянской покраины. После окончания Первой мировой войны Ст. Майцен возвращается в Словению. В годы Второй мировой войны становится «вынужденным» сотрудником генерала Леона Рупника, одиозной фигуры (он был главой Люблянской покраины, находящейся в итальянской зоне оккупации, и командующим словенскими домобранами, т. е. словенской «белой гвардией»<sup>13</sup>). После 1945 г. он, хотя и не попадает в список «запрещенных» писателей, но становится «нежелательным автором» с негласным указанием «не упоминать» (с середины 1950-х гг. были лишь отдельные упоминания о нем). В «черный» список Ст. Майцен попадает в начале 1960-х гг., после выхода его книги «Povestice» («Маленькие повести») в одном из словенских эмигрантских издательств Аргентины в 1962 г. под псевдонимом Фран Зорé. Лишь с 1966 г. начинают выходить исследования, посвященные его творчеству в исследованиях словенских ученых (Ф. Задравец, Л. Легиша, А. Слодняк), и только в 1967 г. выходят два тома его избранных произведений под редакцией словенского литературоведа и историка литературы Марьи Боршник [14].

Его военная проза (хотя он писал и стихи: «В карпатских окопах 1914» цикл из 4-х частей «Смерть в поле» и др.) отличается смысловой объемностью и многомерностью, отражающей стремление автора понять и представить разные лики войны<sup>14</sup>. Это несколько рассказов, вышедших в журнале «Дом ин свет» («Dom in svet» – «Родина и мир») в 1915–1916 гг., а также произведения, созданные в 1920-е гг. и те, что появились уже в период Второй мировой войны, став как бы отложенным откликом писателя на события Первой мировой.

Первым из произведений Ст. Майцена с военным сюжетом стал рассказ «Неверующий» («Nevernik»), написанный в 1915 г. для журнала «Дом ин свет». В основе сюжета – монолог пожилого солдата, стоящего на посту и размышляющего о смерти, предчувствие которой его гнетет и пугает, поскольку он чувствует свою неготовность к ней. Особенно жгучими становятся

---

<sup>13</sup> Домобранство – система словенских коллаборационистских антикоммунистических военно-полицейских формирований, организованных под эгидой нацистской Германии на территории современной Словении. Они действовали с сентября 1943 г. по начало мая 1945 г. Лидером домобранов («главным инспектором») являлся бывший югославский генерал Леон Рупник.

<sup>14</sup> Эту емкую формулу вывел в своей книге 1919 г. «Лик войны» Илья Эренбург. Собрав в ней свои военные очерки, писатель посвятил ее осмыслению войны, выделив особо проблему невозможности создать единственный универсальный ее образ: «Одни стремились оправдать войну... другие справедливо возмущались ею... Но только немногие живым и трепетным голосом говорили о ее неисчислимых ликах» (10, с. 7–8).

ся воспоминания о последних секундах жизни русского солдата, застреленного им каких-то два часа назад. Героя Майцена тогда поразило лицо врага, в минуту смерти озарившееся улыбкой. С удивительной в такой ситуации завистью к врагу тот осознает, что, наверное, вражеский солдат знал, за что он воюет и за что погиб. По мысли героя, нечто крепкое сидело внутри него, вера или что-то еще. И именно этого нет у стоящего на посту австрийского солдата. Эта небольшая психологическая зарисовка, несомненно, ставшая отзвуком пропагандистской военной истерии начального этапа войны, акцентирует политическую и нравственно-этическую идею – значимости на войне чувств патриотизма, определяющих степень веры и силы духа.

Наряду с этим рассказом Майцен, также для журнала «Дом ин свет», создает и произведения, раскрывающие будни тыловой жизни: трагедии семей, теряющих своих близких во время хаотического бегства беженцев из прифронтовой зоны в Галиции, где шли ожесточенные бои («Дочь»), трагизм судеб отдельных людей, сталкивающихся с безразличием окружающих («Квартира номер 8» – в жутких условиях кочевой жизни рождает юная беженка, а военный патруль приходит, чтобы арестовать ее за кражу пальто, которым она укрыла своих малышей). В этих коротких рассказах (написанных, скорее всего, в госпитале) на передний план вновь выходят этические проблемы, а также ощутимо погружение в психологию героев, в то время как война оказывается лишь фоном художественного повествования. Однако из этого не следует, что война и его личные воспоминания отходят на второй план. Свои мысли по поводу пережитого на войне и о самой войне писатель сразу же после возвращения из госпиталя домой в Марибор раскрывает в письме Изидору Цанкару (редактору журнала «Дом ин свет») от 9 декабря 1914 г. Он признается другу, что после тяжелых четырех месяцев, снова оказавшись дома обессиленным, но все же окрепшим и возмужавшим, он готов к «самому трезвому, глубокому пониманию и осмыслению жизни». Свои воспоминания и переживания он определяет как «страшно красивые», а войну характеризует как «огромный клапан, сквозь который пробивается смрад и гниль столетий. Люди сами понимают, что грязи и дерьма уже слишком много, воздух наполнен заразной злобой и затхлой мерзостью, и сами для себя открывают этот клапан» [15: 8, s. 25].

В письме Ст. Майцен также рассматривает войну как момент, между прошлым и будущим, который приносит ожидание новых событий и новых возможностей. Он утверждает, что война со своим ужасом и смертью приносит очищение: «Я не могу тебе объяснить, насколько война меня укрепляет. Она дает мне осознание, что, плюя в лицо всем филистерам, радостно возрождаются ценности, что гаснут все те лучи света, которыми великие лгуны и обманщики освещали все вокруг, что все вещи теперь обретают свой изначальный, присущий им свет, и что теперь в этих лучах мир получает совершенно другой облик по сравнению с тем, каким он был раньше. Какое все это приносит утешение!.. Теперь серьезно и спокойно я распахиваю также свое

сердце и дышу новым воздухом, который распространяется вокруг...» [15: 8, s. 25–26]<sup>15</sup>.

Вместе с письмом Майцен посылает Изидору Цанкару две маленькие повести (povestice) и надеется, что во время отпуска появится что-то еще, но главное, признается, что на войне он не будет писать [15: 8, s. 26].

Спустя годы после войны Ст. Майцен вновь обращается к военной теме В своих тяготеющих к экспрессионизму драматургических произведений 1920-х гг. (драмы «Касия», 1920; «Наследники царства небесного», 1920; одноактная пьеса «Апокалипсис», 1923), как отмечает М. Л. Бершадская (исследователь из Санкт-Петербурга), содержится страстное осуждение войны, насилия, бесчеловечности, поддержанное мотивом Апокалипсиса. Здесь пережитое в годы войны острое ощущение трагизма происходящего переносится им в пространство вечных смыслов, отражающее стремление писателя перевести язык описания окружающего (как бы изнутри военного опыта) из плана истории в план эсхатологии с отчетливо звучащим мотивом христианской жертвенности. По мысли исследователя, он «подчеркнут тем, что именно люди, способные бороться против безумия окружающего мира и сохраняющие в момент страшных испытаний мужество и подлинную человеческую доброту (Бледная женщина, Учитель гимназии, который, уходя на казнь, отдает свое пальто озябшему мальчику) обречены на смерть» [1, s. 368].

Тема Первой мировой войны возвращается в прозу словенского писателя спустя время, в годы Второй мировой войны. Начиная с 1942 г. отдельные его рассказы печатаются в журнале «Дом ин свет», а в 1944 г. в Любляне выходит его сборник «Мастер Мехо» («Bogar Meho») [13], который сразу получил литературную награду. Книга была составлена из двух частей. Основу одной составили «Картины из Священного писания Нового завета» или «Картины из жизни Иисуса Христа»; во вторую часть были включены рассказы с сюжетами из времени Первой мировой войны, основанные на личных переживаниях автора, но уже подвергнутых переосмыслению, определенной ресемантизации в ретроспективном сравнении событий двух мировых войн. («На марше», «В окопах», «Соседский Янез», «Мать своих сыновей» и др.).

Особая судьба у небольшого рассказа «Двое военнопленных»<sup>16</sup>, который интересен тем, что его героями оказываются русские военнопленные. Образы героев, вопреки насаждаемой военной пропагандой ненависти и ширящемуся страху перед русскими, автор дает с большой долей симпатии, раскрывая вместе с тем другую сторону войны: с ее тяжелыми буднями, человеческими судьбами, в которых, как в капле воды, отражает общечеловеческое. И глав-

---

<sup>15</sup> В этом письме словенский писатель ссылается на Ф. М. Достоевского. Мысли русского писателя, в одном из своих фельетонов восхваляющего войну как очистительную силу, оказались созвучными его размышлениям тех дней «Все, что там написано, правда» [15: 8, s. 25–26].

<sup>16</sup> Недатированная рукопись произведения, написанного, возможно, уже после Первой мировой войны, долгие годы лежала на чердаке дома Ст. Майцена в Мариборе, лишь в 1960-е гг. писатель включил его в свой двухтомник «Избранные произведения» [14].



ное – интерес автора к простым, маленьким героям, к раскрытию их внутреннего мира, что роднит его прозу с прозой Ремарка.

В сборник вошла и достаточно объемная, состоящая из четырех частей повесть «В окопах», в которой воссоздана атмосфера окопных будней. Порой кажется, что автор расшифровывает свои короткие записи, сделанные в перерывах между боями. Диалоги (иногда достаточно схематичные) перемежаются авторскими вставками.

Время действия не акцентируется, лишь упоминается, что местом происходящего становится фронтовая полоса (видимо, в Галиции) с развернутой на 10 км в разные стороны системой окопов («царской тропой», как ее называли сами солдаты). Благодаря кратким и ярким описаниям, портретам героев (чванливого и недалекого капитана (сотника) Климана, поляка по национальности; мудрого и осторожного подпоручика, австрийца Эразма Кревха; капрала Коса и рядового Милко, который свой среди солдат и «товарищ» среди офицеров) и всего того, что их окружает, складывается реальная картина будней окопной войны, когда притупляется чувство страха, уже не волнуют звуки дальней канонады, а важным оказывается наличие укрытия и вовремя подоспевшей еды.

Автор то выступает от лица некоего сложившегося здесь, в окопах, мужского сообщества, почти братства, и тогда в повествовании звучит «мы», «нас», и сам он ощущает себя его неотъемлемой частью, то вдруг на первый план выходят глубоко личные рассуждения, словно выбиваясь из общего хора. В этой повести отчетливо желание словенского писателя, имеющего непосредственный военный опыт, более ярко высветить некоторые события давних лет.

Этот процесс переосмысления военных впечатлений отражает и небольшой рассказ «Соседский Янез»<sup>17</sup>. В центре повествования – события 1915 г. Почти натуралистические описания страданий раненых, до отказа заполнивших домик путевого обходчика на самой линии фронта, сменяются картинками коротких атак с обеих сторон и следующих за ними периодов затишья, в которые оставшиеся в живых противники могут подсчитать свои потери. В момент такой передышки герой Майцена узнает в одном из оказавшихся рядом солдат своего земляка и соседа Янеза из Снеженской общины. Но радость встречи была короткой: оба с удивлением понимают, что здесь, на войне, им трудно разговаривать друг с другом, а письмо из родного дома, которое Янез пытается прочесть герою, вызывает только еще большее отчуждение и горечь. Опираясь на личные воспоминания, писатель не только воссоздает еще один из бесчисленных эпизодов войны, но идет дальше, стремясь обобщить и переосмыслить свой военный опыт. Для этого он использует неожиданные метафоры и сравнения. Так, олицетворением мирной жизни оказываются для героя Ст. Майцена маленький майский жук и его свободный полет без единой команды командира, а ярким символическим

---

<sup>17</sup> Впервые он был напечатан в журнале «Дом ин свет» в 1944 г., а затем введен автором в состав книги «Мастер Мехо».

знаком войны служит образ штыка, пронизывающий все повествование. Его блеск, реальный и воображаемый, буквально парализует сознание солдат; штыку уподобляет автор острый взгляд земляка; штык способен даже уничтожать слова: «Как мало мы могли сказать друг другу Слово, едва произнесенное, замирает, словно тоже срезано штыком... Вот было и уже нет» [13, s. 38]. В финале герои, молча докурив сигареты, расстаются, не в силах вернуться к воспоминаниям о родном крае, земле, которую все они, носящие оружие, осквернили своим участием в войне. Налицо новый этап активного переосмысления пережитого.

В целом ряде произведений другой части книги «Мастер Мехо» Ст. Майцен использует, казалось бы, далекий от темы войны мотив народных христианских легенд, который связан с сюжетом неузнавания воскресшего Иисуса, сюжетом, являющимся общим для русского и европейского ареалов. Некоторые из произведений этого жанра были первоначально напечатаны в журнале «Дом ин свет», а позже вместе с другими вошли и в его книги. Так, в рассказе-притче «Иисус и слепой» писатель соединяет этот сюжет с сюжетом легенды «Чудо о слепом», но героев перемещает в узнаваемое словенское пространство и военное время. Иисус Христос, бредущий по земле, но не с апостолами, а со слепым, удивляется его внутреннему зрению: тот наслаждается лучами солнца, которое словно ведет его по дороге, чувствует расстояния, он словно видит доставшиеся его сыну в наследство дом и хозяйство, а затем домик младшей дочери, где все должно говорить о хозяйской рачительности. Идущий рядом Христос видит другое: дом-развалину, запустение и обнищание в хозяйстве сына-лентяя и превратившийся в место для любовных утех дом его дочери.

Иисус с трудом приходит в себя от увиденного и даже хочет оставить слепого, пойдя своей дорогой, но узнает, что тот спешит в дом, где сегодня вечером гостеприимные хозяева ожидают Спасителя, а значит бедняга может попросить у него совершить чудо исцеления. Слепой подошел к дому и постучал посохом в ворота, а за ним тихо стоял погруженный в себя Иисус: он медленно разводил руками вокруг себя, словно был слепым. Так, известный сюжет позволил писателю через оппозицию внутреннее / внешнее приблизить к современности древний мотив. Бессилие Иисуса, возникшее в результате его глубокого понимания сути происходящего, «показано исключительно тонко и просто» [12, s. 449], как пишет М. Боршник.

Притчи Ст. Майцена («Чудо о святом», «Идиллия в доме у виноградника» и др.), в отличие от его военных рассказов, – это своего рода тонкие аллегории, трансформирующие древний сюжет народных легенд в историю о мире военного времени. Автор подводит читателя к осознанию абсурдности ситуации. Она заключается в том, что Сын Божий из-за человеческой злобы, глупости и самолюбия лишается своих чудодейственных сил, и это демонстрирует новый взгляд на идею Христа как света Вселенной. «У Майцена, – пишет словенская исследовательница, – это и не Бог, так как ему не хватает божественной силы исправить все, но и не простой человек, поскольку в нем

заклучена очищающая сила доброты, но в этом ослепленном ненавистью и жадностью мире она вряд ли может победить» [12, s. 453].

Итак, в творчестве Ст. Майцена, в его прозе и драматургии, а также поэзии [см.: 11, s. 16–17] война получает не только яркое отражение, но и определенное развитие и переосмысление в разные периоды его жизни.

Снова возвращаясь к мыслям Ю. М. Лотмана, посвященным проблеме взрыва в культуре, отметим, что в главе «Феномен искусства» («Культура и взрыв») ученый пишет о трансформации, «которую переживает реальный момент взрыва, будучи пропущен через отборную решетку моделирующего сознания, превращая случайное в закономерное». Эта трансформация не завершает процесс сознания, поскольку подключается память. Она «позволяет вновь вернуться к моменту, предшествовавшему взрыву, и еще раз, ретроспективно, разыграть весь процесс» [3, с. 232]. «Теперь, – пишет ученый, – в сознании будут как бы три пласта: момент первичного взрыва, момент его редактирования в механизмах сознания и момент нового удвоения их уже в структуре памяти. Последний пласт представляет собой основу механизма искусства» [там же].

Нам представляется, что в произведениях С. Майцена можно обнаружить отражение именно этих трансформаций. В своих первых рассказах и зарисовках о войне Майцен выступает как автор текстов, которые читатель может воспринять как «момент первичного взрыва», «своего рода стоп-кадр, искусственно застопоренный момент между прошедшим и будущим» [там же].

В дальнейшем следует период молчания (как Майцен и обещал в одном из своих писем: «Я больше не буду писать на войне»), а Лотман определяет это как «момент редактирования взрыва в механизмах сознания»). В 1920-е гг. писатель вновь возвращается к теме Первой мировой, но на новом этапе осмысления. Созданные им в 1920-е гг. пьесы с военной тематикой, демонстрируют новый этап обращения к личным воспоминаниям и коллективной памяти. И позже, в начале 1940-х гг., на основе дневниковых записей, воспоминаний, переосмысленных уже из перспективы Второй мировой войны, появляются новые произведения разных жанровых форм, по-новому раскрывается тема войны. Несомненно, эти воспоминания дополнены художественными деталями, а также пропущены через национальные культурные коды (в частности, религиозно-духовную составляющую коллективной психологии народа). Так Ст. Майцен возвращается к осмыслению пережитого и переводу памяти в пространство вечных смыслов, используя религиозно-эсхатологическую метафорику, чтобы, не останавливаясь на осуждении этого всеобщего бедствия, вовлечь читателя в процесс преобразования этого мира.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Бершадская М. Л. Первая мировая война в словенской драматургии (1918–1941) // Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004.

2. Корон А. Военная проза Милана Пугеля //Первая мировая войны в литературах и культурах западных и южных славян. М.: ИСл РАН, 2004.
3. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. Москва, 1992.
4. Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры / Подготовка текста и примечания Т. Д. Кузовкиной при участии О. И. Утгоф. Таллинн, 2010.
5. Полонский В. В. Уют на лобном месте»: Первая мировая война в поэтико-идеологических отражениях – См: <http://ruslitwwi.ru/> <http://ruslitwwi.ru/files/content/2411/> (дата обращения 25.10.2020 г.).
6. Сергеев Е. Ю. Актуальные проблемы изучения Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2004. № 2.
7. Травма: пункты: Сборник статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: Новое литературное обозрение, 2009 – См: <https://www.academia.edu/462329/> (дата обращения 23.12.2020 г.).
8. Ушакин С. «Нам этой болью дышать? О травме, памяти и сообществах // Травма:пункты: Сборник статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: Новое литературное обозрение, 2009.
9. Шкловский Б. Сентиментальное путешествие // Шкловский Б. Еще ничего не кончилось... М.: Пропаганда, 2002.
10. Эренбург И. Лик войны. 2-е изд. Берлин, 1923.
11. Bernik F. Poezija Stanka Majcna // Majcnov zbornik. Maribor, 1990.
12. Boršnik M. Študije in fragmenti. Maribor, 1962.
13. Majcen St. Bogar Meho. Zgodbe in legende. Ljubljana, 1944.
14. Majcen St. Izbrano delo: v 2 knj. Maribor, 1967.
15. Majcen St. Zbrano delo: v 8 knj. Ljubljana, 1994–2000.

## **THE INFLUENCE OF THE FIRST WORLD WAR AS A STAGE OF THE BIOGRAPHY ON THE PROSE OF THE SLOVENIAN WRITER STANKO MAITZEN (1888–1970)**

*Chepelevskaia Tatiana Ivanovna,  
Candidate of Philology – D.Ph. (Philology), assistant professor,  
The Institute of Slavic Studies of Russian Academy of Sciences  
Email: tatchep2014@yandex.ru*

**Abstract:** The article examines the prose of the Slovenian writer Stanko Maitzen (Stanko Majcen) (1888–1970), thematically turned to the events of the First and the Second world wars through the prism of ideas of Y. M. Lotman (1922–1993), which a scientist states in his works, devoted the mechanism of development of explosive and evolutionary processes in a culture (Culture and explosion», 1992; Unforeseeable mechanisms of culture, 2010). Ideas of scientist about affecting of these processes development of culture, allow to see from a new point of view how a military theme was recreated in in work of the writer, participant and witness of that epoch (inside out of military experience), and in time was realized the different way.

**Keywords:** First world war, Second world war, Slovenian literature of XX, Stanko Majcen, J. M. Lotman, explosive and evolutionary processes in a culture.

The recent anniversaries of the two World Wars have considerably revitalized the themes associated with the study of both the events of the wars themselves and their literary embodiment in the cultures of different countries. Historians, summing up the results of the study of the First World War in recent years, highlight the main directions of the modern period of its study. They are marked by a combination of interdisciplinary and comparative approaches, according to E. Sergeev, the president of the Russian Association of Historians of the First World War. These approaches require scholars to "conduct a deep and thorough investigation of its history, get rid of established assessments and myths, and perform objective reconstruction of events on the basis of a large body of documentary sources, and not only narrative - official and personal (epistolary, diary and memoir), but also visual ones: newsreels, photographs, cartoons, posters, leaflets, postcards" [6, p. 5]. As a component of this process, the scholar also refers to the comprehension and artistic reflection of the causes, nature, and consequences of World War I, which became the leading subject matter of the works of artists not only during the 1920s-1930s but also in the second half of the 20th and early 21st centuries, albeit in a historical retrospective of artistic comparison of the first and second global clashes [6, p.13].

Another approach to the study and perception of the events of the war period is related to the study of the topic of "trauma" (as a consequence of wars and military conflicts) in the works of many researchers from different countries. As an example of the development of this topic on a broad scale (up to the events of recent times), one can mention the collection of 2009 [7], which united researchers from different countries.

The collection includes works devoted to the traumas of wartime and the peculiarities of their experience afterward. For example, the article by the British historian Catherine Merrydale, in which she analyzes how the attitude toward post-traumatic syndromes and contusions was formed in Russia, using archival materials from the first decades of the last century and her interviews. As well as Elena Baraban's work on Soviet film depictions of war, which provides some insight into how the process of wordless traumatic experiences took place. At the same time, in some cinematic works, the loneliness of a psychologically traumatized person acquired its specific Soviet metaphor, the scum, and orphans deprived of war, which allowed, taking into account the ideological context, to avoid the complex problem of correlation between soldiers' heroism and the specifics of their traumatic experiences [8, pp. 5-41].

Modern approaches to understanding the war theme in literature also have different orientations. Slovenian scholar Alenka Koron, with the help of works by Western scholars, identifies three main approaches in modern literary studies. These are related to the definition of groups of works interpreting the war (in particular the Great War, as the First World War was called) in different ways.

The first group includes works of a patriotic nature, which, using certain figurative clichés, patterns, and artistic and stylistic strategies, reflect issues of national resistance and defense of the homeland; then there are texts with a pronounced anti-war stance, in which the focus is on denouncing the dehumanization

that accompanies the war. The scholar classifies the third group, which is opposed to the first two, into the works without a pronounced ideological basis, which are characterized by a depiction of "the complex and controversial essence of war and the aspiration to overcoming the human crisis embodied in war" [2, p. 350]. At the same time, A. Koron acknowledges that this scheme cannot accommodate the entire diversity of literary reflections of this theme, and rightly notes that "in contemporary literature, one can find a variety of options of combination and intersection of different approaches" [ibid], and seeks to show this on the example of the analysis of the war prose created in the post-war period by the Slovenian writer Milan Pugel (1888-1920).

New approaches to the study of World War I literature are also devoted to the research conducted as part of the project (IMLI, 2014) "Politics and Poetics: Historical and Cultural Context of Russian Literature in the Epoch of World War I"<sup>18</sup>. The peculiarity of the reflection of military events in the Russian literature of that era against the cultural and historical background of the "Silver Age" was the focus of attention of its participants, whose works introduced a large layer of new or forgotten literary and historical sources into the scientific field.

Thus, in the work of V. V. Polonsky "Coziness on the calvary: The First World War in Poetic and Ideological Reflections" [5], notes not only the specificity of the Russian case, which is connected with the fact that the war was a catalyst of the processes that led to the revolution and the events that followed it. "Hence, naturally, the significantly greater radicality and totality of the sense of crisis and the much more emphasized need of Russian culture to translate the language of description of the environment from the plan of history into the plan of historiosophy and eschatology, than (it) was characteristic of Western cultures" [ibid]. In other words, in several works during the war, along with the journalism that pervades and often subordinates the artistic expression, there is a palpable attraction "to the strenuous simplicity and unsophisticated "biblical realism"" [ibid].

Another approach to the military theme in literature should be considered through the prism of Y.M. Lotman's ideas expressed in his works devoted to the mechanisms of explosive processes in culture<sup>19</sup>.

The ideas expressed in these works concerning the impact of explosive and evolutionary processes on cultural development, in our opinion, enable a new perspective on how the military theme was recreated in the works of an individual author, a participant, and witness of that era, as if from the inside of the military experience, and later, as time passed, acquired a new understanding. In his book *Culture and Explosion*, Y.M. Lotman writes of two types of movement: the continuous one, which is characterized by meaningful predictability, and the unpredictable one, i.e. the change that is realized in the order of the explosion. To the type of events that develop according to the logic of the explosion, the scholar refers the

---

<sup>18</sup> This project was supported by RGNF, project supervisor V. V. Polonsky.

<sup>19</sup> It refers to the scientist's last lifetime book [3] and the book compiled later by Yuri Mikhailovich's colleagues [4].

First World War [3, p. 18]<sup>20</sup>. The very moment of the explosion, according to the scholar's thought, "is situated between the past and the future and is as if ripped out of time", adding that "the notion of being ripped out of time is not connected with the real chronology of the process. In reality, the process can be stretched to a very long time" [4, p. 46]. The issue of interpretation of the explosion, which "varies depending on the point at which the observer describing it is located" [4, p. 47], also seems important to the book's author. It is clear that the historian's position in interpreting the event that occurred is determined by looking backward on the axis of time: he states it from the point of view for which it has already taken place. Lotman is convinced that studying the past from the present "already warps the material. Because all possibilities, incomplete but probable at the moment of explosion, are cut off, a "single chain of events" is singled out, and "the mechanism of their retrospective interpretation in terms of cause-effect relations" is "connected" [4, p. 48].<sup>21</sup>

When looking from the inside forward along the time axis, the observer sees a bundle of equal probability events and, in the more distant historical future, different ways of development...", and this "...inexhaustibility of possibilities at the moment of explosion gives the process infinite informativeness - it cannot be predicted". However, the moment of explosion is the realization of one of this bundle of probability possibilities, leading to the exhaustion of uncertainty, and it becomes the moment of "creation of another reality, shift and rethinking of memory" [4, pp. 46-47, 48, 50].

In this regard, it is worth analyzing how the artist and the writer react to it. The stages of entry and development of the theme of the First World War and the peculiarities of the mechanisms of its deployment (in the works) will be attempted to consider the example of the works of the Slovenian writer Stanko Maitzen.

Stanko Maitzen (1888-1970), a writer with an unusual fate: a lawyer by education, he was drafted as a warrant officer to the front at the very beginning of the war and immediately found himself in Galicia; there he was wounded after two months of fighting, awarded a silver medal for bravery and sent to the rear on leave and for treatment. At the end of 1916, he was sent to Belgrade to work as a lawyer in the government occupation office, and soon afterward he became assistant to the Ban (subban) of Ljubljana. After the end of World War I, St. Maitzen returns to Slovenia. During World War II he became a "forced" collaborator of General Leon Rupnik, an odious figure (he was the head of the Ljubljana Krajina, located in the Italian zone of occupation, and the commander of the Slovenian domobranes, i.e.

---

<sup>20</sup> It is noteworthy that V. Shklovsky, recalling his return to St. Petersburg in 1918, compares the city with a "deafened" person: "As after the explosion, when everything is over, everything is torn. Like a person whose insides were ripped out by an explosion, and he's still talking. Imagine a group of people like that. They are sitting and talking. Not howling" [9, p. 142].

<sup>21</sup> Sergeev, who suggests that other, private causes and nuances of the prehistory of World War I, "for example, the deepening of Anglo-German or Russian-Austrian contradictions..." be left aside, and concludes that "its outbreak was inevitable due to the interaction of many factors of an objective nature" [6, p. 6].

the Slovenian "white guard" <sup>22</sup>). After 1945, although he was not on the list of "banned" writers, he became an "undesirable author" with an unspoken directive "not to be mentioned" (from the mid-1950s there were only occasional mentions of him). St. Maitzen was included in the "black" list in the early 1960s, after the publication of his book *Povestice* (Little Stories) in a Slovenian émigré publishing house in Argentina in 1962 under the pseudonym of Fran Zoré. Only starting from 1966 onwards studies devoted to his works by Slovene scholars (F. Zadavec, L. Legisha, A. Slodniak) began to appear, and in 1967 two volumes of his selected works were published, edited by the Slovene literary scholar and literary historian Marja Boršnik [14].

His military prose (although he also wrote poetry: "In the Carpathian trenches 1914" a cycle of 4 parts "Death in the field" and others.) is distinguished by the volume of meaning and multidimensionality, reflecting the author's desire to understand and present different faces of the war<sup>23</sup>. These are several stories published in the magazine "Dom in svet" in 1915-1916, as well as works created in the 1920s. and those that appeared in the period of World War II, becoming like a delayed response of the writer to the events of World War I.

The first of Maitzen's works with a military theme was the short story *Nevernik* (The Unbeliever), written in 1915 for the magazine "Dom in svet". The story is based on the monologue of an elderly soldier standing at his post and contemplating death, the foreboding of which oppresses and frightens him because he feels unprepared for it. Particularly poignant are the memories of the last seconds of the life of the Russian soldier he shot two hours earlier. Maitzen's hero at the time was struck by the face of the enemy, which at the moment of death lit up with a smile. With astonishing envy of the enemy in such a situation, he realizes that the enemy soldier must have known what he was fighting for and what he died for. In the hero's mind, something strong sat inside him, faith or something else. And that is exactly what the Austrian soldier standing at his post did not have. This short psychological sketch, undoubtedly an echo of the propaganda war hysteria of the early stages of the war, emphasizes a political and moral-ethical idea - the importance in the war of feelings of patriotism, which determine the degree of faith and strength of spirit.

Along with this story, Maitzen, also for the magazine "Dom in svet", created works that reveal the everyday life of the rear: The tragedies of families losing their loved ones during the chaotic flight of refugees from the frontline in Galicia, where fierce fighting was taking place ("Daughter"), the tragedy of the fates of individuals facing the indifference of those around them ("Apartment Number 8" - a

---

<sup>22</sup> The Domobranie was a system of Slovenian collaborationist anti-communist military-police formations organized under the auspices of Nazi Germany in present-day Slovenia. They operated from September 1943 to early May 1945. The leader of the domobranj ("chief inspector") was the former Yugoslav general Leon Rupnik.

<sup>23</sup> This succinct formula was deduced in his 1919 book "The Face of War" by Ilya Ehrenburg. By collecting essays on the war, the writer devoted it to an understanding of the war, highlighting the problem of the impossibility of creating a single universal image of it: "Some have sought to justify the war... others rightly resented it... But only a few spoke in a lively and reverent voice about its innumerable faces" (10, pp. 7-8).



young refugee gives birth in the terrible conditions of nomadic life, and a military patrol comes to arrest her for stealing the coat she has covered her babies with). In these short stories (most likely written in a hospital), ethical issues come to the fore again, as well as a tangible dive into the psychology of the characters, while the war is only the background of the fictional narrative. However, this does not mean that the war and his memories recede into the background. His thoughts about his experiences in the war and the war itself, immediately after returning home from the hospital in Maribor, the writer reveals in a letter to Isidor Cankar (editor of the magazine "Dom in svet") on December 9, 1914. He confesses to a friend that after a difficult four months, once again at home exhausted, but nevertheless strengthened and mature, he is ready for "the soberest, profound understanding and comprehension of life. His memories and experiences he defines as "terribly beautiful" and the war is characterized as "a huge valve through which the stench and rot of the centuries break out. People themselves understand that there is already too much dirt and shit, the air is filled with contagious evil and a stale abomination, and they open this valve for themselves" [15: 8, p. 25].

In the letter, St. Maitzen also sees war as a moment, between the past and the future, that brings anticipation of new events and new possibilities. He argues that war, with its horror and death, brings purification: "I cannot explain to you how much war strengthens me. It makes me realize that spitting in the face of all the philistines, values are joyfully reborn, that all those rays of light with which the great liars and deceivers illuminated everything around them are extinguished, that all things now take on their original, inherent light, and that now in those rays the world takes on an entirely different appearance from what it was before. What a comfort all this brings! Now seriously and calmly I also open my heart and breathe the new air that spreads around..." [15: 8, p. 25–26].<sup>24</sup>

Along with the letter, Maitzen sends Isidore Cankar two small stories (povestice) and hopes that something else will appear during his leave, but most importantly, he admits that he will not write during the war [15: 8, s. 26].

In his expressionistic dramatic works of the 1920s (the drama *Kasia*, 1920; *Heirs of the Kingdom of Heaven*, 1920; the one-act play *Apocalypse*, 1923), as M. L. Bershadskaya (a researcher from St. Petersburg) notes, there is a passionate condemnation of war, violence, inhumanity, supported by the motif of the Apocalypse. His acute sense of tragedy, experienced during the war, is transmitted to the space of eternal meanings, reflecting the writer's desire to transfer the language of description of his environment (as if from within the war experience) from the plan of history to the plan of eschatology with a distinctive motif of Christian sacrifice. According to the researcher, it "is emphasized by the fact that it is the people who can fight against the madness of the world around them and who retain their courage and genuine human kindness at the time of terrible trials (the Pale woman, the Gymnasium Teacher, who, leaving for execution, gives his coat to a freezing boy) are condemned to death" [1, p. 368].

---

<sup>24</sup> In this letter the Slovenian writer refers to F.M. Dostoyevsky. The thoughts of the Russian writer, who in one of his feuilletons praised the war as a purifying force, were in tune with his reflections of those days "Everything that is written there is true") [15: 8, p. 25-26]

The theme of the First World War returned to the prose of the Slovenian writer later, during the Second World War. From 1942 onwards his stories were published in the magazine "Dom in svet", and in 1944 his collection *Bogar Meho* was published in Ljubljana [13], which won a literary award. The book was composed of two parts. One was based on "Pictures from the Holy Writ of the New Testament" or "Pictures from the Life of Jesus Christ"; the second part included stories with themes from the First World War, based on the author's personal experience, but already reinterpreted, a certain resemantization in a retrospective comparison of the events of the two world wars. ("On the March," "In the Trenches," "Neighbor's Janez," "Mother of Her Sons," etc.).

The short story "Two Prisoners of War"<sup>25</sup> has a special fate which is interesting because its heroes are Russian prisoners of war. The images of the heroes, despite the hate propaganda and a growing fear of the Russians, the author gives a lot of sympathies, revealing at the same time the other side of the war: with its hard daily routine, human fate, which, as in a drop of water, reflects common humanity. And most importantly - the author's interest in the simple, small heroes, to the disclosure of their inner world, which affinities his prose with the prose of Remarque.

The collection includes a fairly lengthy, consisting of four parts of the story "In the trenches," which recreates the atmosphere of the trenches of everyday life. At times it seems that the author transcribes his short notes taken in between battles. The dialogues (sometimes quite sketchy) are interspersed with the author's inserts.

The time of action is not emphasized, only it is mentioned that the place of action is the front line (apparently, in Galicia) with a system of trenches deployed for 10 km in different directions ("the tsar's path", as it was called by the soldiers themselves). Thanks to the brief and vivid descriptions, portraits of the characters (the swaggering and simple-minded captain (sotnik) Kliman, of Polish nationality; the wise and careful sub-lieutenant, the Austrian Erasmus Krevch; The story follows the story of Corporal Kos and Private Milko, who is a friend among the soldiers and a "comrade" among the officers) and everything that surrounds them, creating a real picture of the everyday life of trench warfare, when the sense of fear is blunted and the sounds of distant gunfire no longer worry and the availability of shelter and timely food are important.

The author speaks on behalf of a kind of men's community, almost a brotherhood, which is formed here in the trenches, and then the narrative sounds "we", "us", and he feels an integral part of it, then suddenly deeply personal reflections come to the fore as if breaking out of the general chorus. In this story the desire of the Slovenian writer, who has firsthand war experience, to highlight some of the events of the old years is clear. This process of reinterpretation of wartime memories is also reflected in the short story "Neighborly Janez"<sup>26</sup>. The events of 1915 are

---

<sup>25</sup> The undated manuscript, probably written after World War I, remained in the attic of St. Maitzen's house in Maribor for many years, and only in the 1960s that the writer included it in his two-volume *Selected Works* [14].

<sup>26</sup> It was first printed in the magazine "Dom in svet" in 1944, and then introduced by the author as part of the book *Master Mecho*.

at the center of the narrative. Almost naturalistic descriptions of the suffering of the wounded, which filled to capacity the cabin wayfarer on the front line, followed by pictures of short attacks on both sides and followed by periods of calm, in which the survivors can count their losses. In a moment of such a respite, Maitzen's hero recognizes in one of the soldiers who happened to be nearby his fellow countryman and neighbor Janez from the Snezha community. But the joy of their meeting was short-lived: both are surprised to realize that here, in the war, they find it difficult to talk to each other, and the letter from his home, which Janez tries to read to the hero, causes only more alienation and bitterness. Drawing on personal memories, the writer not only recreates another of the countless episodes of the war, but he goes further, seeking to summarize and rethink his wartime experience. To do this, he uses unexpected metaphors and comparisons. Thus, the embodiment of peaceful life for the protagonist Maitzen is the little May beetle and its free flight without a single order of the commander, and a striking symbolic sign of war is the image of the bayonet, which permeates the entire narrative. Its brilliance, real and imagined, literally paralyzes the consciousness of the soldiers; the author likens the bayonet to the keen gaze of a fellow countryman; the bayonet can even destroy words: "How little we could say to each other The word, barely spoken, freezes as if also cut by the bayonet... Here it was and no longer is" [13, p. 38]. In the finale, the heroes, silently finishing their cigarettes, part, unable to return to memories of their native land, the land which they all, bearing arms, have desecrated by their participation in the war. There is a new stage of active reconsideration of their experiences.

In a number of works in another part of Master Mecho, St. Maitzen uses a seemingly distant motif from the theme of war in folk Christian legends, which is associated with the plot of the failure to recognize the risen Jesus, a plot that is common to the Russian and European arenas. Some of the works of this genre were originally printed in the magazine *Home in Light* and later included with others in his books. For example, in the parable story "Jesus and the Blind Man," the writer connects this story with the plot of the legend "The Miracle of the Blind Man," but moves the characters to a recognizable Slovenian space and wartime. Jesus Christ, wandering the earth, but not with the apostles, but with the blind man, marvels at his inner sight: he enjoys the rays of the sun that seem to lead him along the road, he feels the distance, he seems to see his son's inherited house and household, and then the house of his young daughter, where everything must speak of the husband's diligence. Christ, walking beside him, sees something else: the ruined house, the neglect and impoverishment of the lazy son's household, and his daughter's house transformed into a place of lovemaking.

Jesus can hardly come to his senses from what he has seen and even wants to leave the blind man to go his own way, but he discovers that he is hurrying to the house where the hospitable hosts are expecting the Savior tonight, which means that the poor man can ask him to perform a miracle of healing. The blind man approached the house and knocked on the gate with his staff, and behind him stood quietly immersed in Jesus: he slowly spread his arms around himself as if he were blind. Thus, the well-known plot allowed the writer to bring the ancient motif clos-

er to modernity through the opposition of the internal/external. The helplessness of Jesus, which arose as a result of his deep understanding of what was happening, is "shown in an exceptionally subtle and simple way" [12, p. 449], as M. Borshnik writes.

St. Maitzen's parables (The Miracle of the Saint, The Idyll in the Vineyard House, etc.), unlike his war stories, are a kind of subtle allegory, transforming the ancient plot of folk legends into a story about the wartime world. The author leads the reader to realize the absurdity of the situation. It lies in the fact that the Son of God is deprived of his miraculous powers because of human malice, stupidity, and self-love, and it demonstrates a new view of the idea of Christ as the light of the universe. "In Maitzen," writes the Slovenian researcher, "he is not God, for he lacks the divine power to fix everything, but he is also not a simple man, for in him lies the purifying power of goodness, but in this world blinded by hatred and greed it can hardly win" [12, p. 453].

Thus, in St. Maitzen's work, in his prose and drama, as well as in his poetry [see 11, p. 16-17], the war receives not only a vivid reflection but also a certain development and rethinking at different periods of his life.

Returning to Lotman's thoughts devoted to the problem of explosion in culture, we note that in the chapter "The Phenomenon of Art" ("Culture and Explosion") the scientist writes about the transformation "which the real moment of explosion experiences, being passed through the selective grid of modeling consciousness, turning the random into the lawful". This transformation does not complete the process of consciousness, as memory is connected. It "allows you to go back to the moment that preceded the explosion and play out the whole process again, in retrospect" [3, p.232]. "Now," the scientist writes, "there will be as if three layers in consciousness: the moment of the primary explosion, the moment of its editing in the mechanisms of consciousness, and the moment of their new doubling already in the structure of memory. The last layer represents the basis of the mechanism of art" [ibid].

It seems to us that these transformations can be found in Maitzen's works. In his first stories and sketches about the war, Maitzen appears as the author of works that the reader can perceive as "a moment of primal explosion," "a kind of stop-frame, and artificially frozen moment between the past and the future" [ibid].

A period of silence follows (as Maitzen promised in one of his letters: "I will not write about the war anymore"), and Lotman defines this as "a moment of editing explosion in the mechanisms of consciousness"). In the 1920s, the writer returns to the theme of World War I, but at a new stage of comprehension. The war-themed plays he created in the 1920s demonstrate a new stage of reference to personal recollections and collective memory. And later, in the early 1940s. On the basis of diary entries, memoirs, reinterpreted from the perspective of the Second World War, new works of different genre forms appear, and the theme of the war is revealed in a new way. Undoubtedly, these memoirs are supplemented with artistic details, as well as filtered through national cultural codes (in particular, the religious and spiritual component of the collective psychology of the people). Thus, S. Maitzen returns to comprehending the experience and translating memory

into the space of eternal meanings, using religious and eschatological metaphors in order not to stop at condemning this universal disaster, but to involve the reader in the process of transforming this world.

## REFERENCES

1. Bershadskaya M. L. The First World War in Slovenian Drama (1918-1941) // The First World War in Literatures and Culture of Western and Southern Slavs. M., 2004.
2. Koron A. Milan Pugel's War Prose // The First World War in the Literatures and Cultures of the Western and Southern Slavs. Moscow: ISL RAS, 2004.
3. Lotman Yu. M. Culture and explosion. Moscow, 1992.
4. Lotman Yu. M. The unpredictable mechanisms of culture / Text preparation and notes by T.D. Kuzovkina with the participation of O.I. Utgof. Tallinn, 2010.
5. Polonsky V. V. Cozy on the Frontal Place": World War I in Poetical and Ideological Reflections - See: <http://ruslitwwi.ru/> <http://ruslitwwi.ru/files/content/2411/> (accessed 25.10.2020).
6. Sergeev E. Y. Actual Problems of Studying the First World War // New and Contemporary History. 2004. № 2.
7. Trauma points: Collection of articles / Comp. C. Ushakin and E. Trubina. Moscow: New Literary Review, 2009 - See: <https://www.academia.edu/462329/> (accessed 23.12.2020).
8. Ushakin S. "Shall we breathe this pain? On trauma, memory and communities // Trauma points: Collection of articles / Comp. C. Ushakin and E. Trubina. Moscow: New Literary Review, 2009.
9. Shklovsky B. Sentimental Journey // Shklovsky B. Nothing has ended yet... M.: Propaganda, 2002.
10. Ehrenburg I. Faces of War. 2-th ed. Berlin, 1923.
11. Bernik F. Poezija Stanka Majcna // Majcnov zbornik. Maribor, 1990.
12. Boršnik M. Študije in fragmenti. Maribor, 1962.
13. Majcen St. Bogar Meho. Zgodbe in legende. Ljubljana, 1944.
14. Majcen St. Izbrano delo: v 2 knj. Maribor, 1967.
15. Majcen St. Zbrano delo: in 8 knj. Ljubljana, 1994-2000.

*Манчев Владимир Симеонович,  
кандидат филологических наук, главный ассистент факультета  
славянских филологий Софийского университета  
им.Св.Климента Охридского (Болгария)*

## **КОНЦЕПТ «ВОЙНА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ОТ КЛАССИКОВ ДО СОВРЕМЕННОКОВ)**

*Аннотация:* в центре внимания предлагаемой статьи находится концепт «война», занимающий особое место как в картине мира русского народа, так и в русской литературе. Фразеологические единицы с компонентом «война» и военной лексикой

продолжают образовываться и в современном русском языке, встречаются в произведениях современных российских авторов, что еще раз свидетельствует об актуальности данного концепта. Концепт «война» сложен и многогранен, в нем соприкасаются, переплетаются, сливаются другие концепты, например, такие, как «судьба» («суд божий», война как божья кара, см. выше) или «русский характер».

**Ключевые слова:** концепт „война“, русская литература, судьба, патриотизм.

Современную лингвокультурологию уже невозможно себе представить без такого основного термина ее понятийного аппарата, как «концепт». По мнению Ю.С. Степанова концепт представляет собой «как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек, не „творец культурных ценностей“ — сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее.» [11, с. 43.]. Концепт является важной составной частью картины мира носителей каждого языка, помогает лучше понять особенности народопсихологии данного этноса, сообщает нам важные сведения о его истории и культуре. Очевидно, что отдельно взятый концепт не раскрывает специфику менталитета народа, но может осветить его представления о стоящих за данным концептом вещах, явлениях и даже эмоциях. В.И. Карасик определяет концепт как «многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны» [5, с. 9].

В центре внимания предлагаемой статьи находится концепт «война», занимающий особое место как в картине мира русского народа, так и в русской литературе, поскольку, как справедливо отмечает В.Г. Зусман, «... в литературе прокручиваются те же самые национальные концепты. Весь вопрос состоит в специфике их функционирования» [4, с. 12]. Именно специфику функционирования упомянутого выше концепта в русской литературе мы и попытаемся уяснить.

Войны, которые вынужден был вести русский народ на протяжении всей своей истории, безусловно наложили отпечаток на черты его национального характера, оставили заметный след в его культуре (прежде всего в литературе). Данное обстоятельство объясняет и большую частоту употребления в русском языке как военной лексики, так и фразеологизмов военной тематики. В качестве одного из примеров можно привести целый ряд ФЕ о войне, зафиксированных в толковом словаре В.И. Даля: «... Легко про войну слушать, да тяжело (страшно) ее видеть. Хорошо про войну слышать, да не дай Бог ее видеть. Хороша война за горами, в мор намрутся, в войну налгутся, нахвастаются. Войной да огнем не шути. Всякая война от супостата, не от Бога. И я б шел на войну, да жаль покинуть жену. Собирались грибы на войну идти, из песни. ... Воюют, так воруют, т. е. плутуют. Кто силен да богат, тому хорошо воевать. В доме-то у них, словно Мамай воевал, велик беспорядок. Знал бы, так и не воевал бы. И еще бы воевал, да воевало потерял. И ратовал, и воевал, да ничто взял. Воевать тебе на печи с тараканами. Нужда горюет, нужда воюет.» [3, с. 564].

Добавим, что фразеологические единицы с компонентом «война» и военной лексикой продолжают образовываться и в современном русском языке, встречаются в произведениях современных российских авторов, что еще раз свидетельствует об актуальности данного концепта: «Танки грязи не боятся», «страшный / страшная как атомная война», «для тех, кто в танке», и др.

Еще одним примером культурной значимости данного концепта является целый ряд прецедентных текстов: «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Священная война», «В окопах Сталинграда» и др.

Представления о войне в русской литературе восходят как к языческим, так и к христианским представлениям. По понятным причинам до наших дней не дошло ни одно литературное произведение дохристианского периода, позволяющее судить об отношении предков русских к войне, но, скорее всего, оно не сильно отличалось от такового других народов, населявших европейский континент. Кроме того, сам концепт «война» очевидно еще не был сформирован, поскольку для формирования подобного многогранного лингвокультурного и национально-специфического явления необходимо и определенное время. В свою очередь источником христианских представлений о войне является Библия, в частности, книги Закона и книги Царств: «...обращу лицо Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши <...> и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; <...> города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши <...> опустошу землю (вашу), так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней; вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены» [Лев. 26: 3 – 33; в: 15]. Из приведенной выше цитаты видно, что война воспринимается прежде всего как наказание, как божья кара за грехи людей. Как считает Д.В. Громов «...мнение о том, что нашествие татар является следствием греховности русских, высказывалось в средневековых русских текстах неоднократно. Данная трагедия рассматривалась средневековыми авторами не только как военно-политическое, но и как религиозное событие» [2, с.23]. Следует отметить, что в сознании подавляющего большинства русских людей войны вплоть до начала XX столетия (а у части населения, может быть, и далее) находились в одном ряду с такими бедствиями, как голод, эпидемии, пожары: «Бог за грехи посылает на какую-либо страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь. Потому и казни всяческие принимаем от Бога и набеги врагов» [10]. В этой связи нельзя не упомянуть о фатализме русского народа, его убежденности в том, что многие вещи происходят помимо нашей воли и желания. Отсюда вера в счастливую неожиданность, надежда на чудо, а также пресловутые безропотность и смирение: «Чему быть – того не миновать», «От судьбы не уйдешь» и др. Здесь можно вспомнить и главу «Фаталист» из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» или исторический фатализм Л.Н. Толстого: «Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех,

разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее.» [13]. Однако, с другой стороны, замечательный русский лингвист-русист В.В. Колесов отрицал фатализм русского человека: «И авось — надежда на случай, но здесь нет и речи о пассивности русского человека, его фатализме, страхе перед враждебностью внешнего мира, который заведомо сильнее — это чисто русская военная хитрость: сознательное переключивание с себя ответственности на некоего, принципиально невыраженного личностным образом, субъекта.» [6].

Концепт «война» сложен и многогранен, в нем соприкасаются, переплетаются, сливаются другие концепты, например, такие, как «судьба» («суд божий», война как божья кара, см. выше) или «русский характер». Причем, что касается последнего, то здесь представляется уместным упомянуть не только об одноименном рассказе А.Н. Толстого, но и о «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, о произведениях всех писателей и поэтов военного времени. Но начать следовало бы, как нам кажется, с классиков русской литературы — А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и др. Ибо именно на войне, в экстремальных условиях, когда человек находится между жизнью и смертью, проявляются все черты его характера — как положительные, так и отрицательные. Безусловно, одним из ярких примеров первых является стремление к правде.

Здесь представляется уместным сказать об еще одном концепте, соприкасающемся с концептом «война» — правда. Очень точно описал слово «правда» русский философ-публицист 1870-х годов Николай Константинович Михайловский: «Всякий раз, как мне приходит в голову слово „правда“, я не могу не восхищаться его поразительной внутреннею красотой. Такого слова нет, кажется, ни в одном европейском языке. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое» [8]. Следует отметить, что в семантике слова «правда» изначально заложена часть антиномии «прямой — кривой», содержится положительная оценка. Известно, что в древнерусском языке все лексемы с корнем -прав- обладали положительной коннотацией, а прилагательное «правый» имело значение «правильный», «истинный», это же значение мы встречаем и в современном русском языке, достаточно вспомнить хотя бы знаменитую заключительную фразу из обращения к советскому народу, зачитанного В.М. Молотовым в первый день Великой Отечественной войны: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». О невозможности жить без правды говорит и замечательный русский поэт, автор самой, пожалуй, знаменитой поэмы о Великой Отечественной войне — «Василий Теркин» — А.Т. Твардовский:

«А всего иного пуще  
Не прожить наверняка —  
Без чего? Без правды сущей,  
Правды, прямо в душу бьющей,  
Да была б она погуще,



Как бы ни была горька.» [12, с. 5]

Именно осознание своей правоты всегда помогало (наряду со всеми прочими условиями) русскому народу побеждать врагов.

Рассматривая концепт «война», необходимо также отметить связанные с ним многочисленные крылатые слова и выражения: «Иду на Вы», «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», «Тяжело в учении – легко в бою», «Родина-мать зовет!», «Все для фронта – все для победы!», «Дорога жизни», «Вставай, страна огромная!» и др.

Произведения с военной тематикой составляют существенный пласт русской литературы, в особенности литературы периода после Второй мировой войны. Вряд ли найдется русский писатель, в творчестве которого не была бы так или иначе затронута тема войны. Она присутствует в произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова, А.А. Фадеева, А.Т. Твардовского, В.С. Гроссмана, В.П. Астафьева, В.П. Некрасова, К.М. Симонова.

Вопреки широко известному утверждению, что «когда говорят пушки, музы молчат», роль литературы в годы войны чрезвычайно важна, ибо писатели ведут свои сражения, образно говоря, на духовном фронте. Поэтому А. Фадеев совершенно справедливо и очень точно говорит о том, что у литератора «...нет более высокой задачи ..., чем повседневное и неустанное служение оружием художественного слова своему народу в грозные часы битвы» [1, с. 204].

Одной из первых книг о Великой Отечественной войне, написанных объективно и правдиво, и принесших ее автору подлинную славу, была опубликованная в 1946 году повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». По словам Вячеслава Кондратьева эта книга «...явилась неким эталонным честности и искренности, и из «шинели» некрасовского солдата, можно сказать, вышла вся наша военная проза» [7, с. 5]. Кроме того, повесть написана офицером-фронтовиком, человеком высокой морали и духовности, прекрасно знакомым с творчеством классиков русской литературы. Потому неслучайна и своеобразная переключка с произведением одного из них – Льва Николаевича Толстого «Война и мир»: «А вот в песне той, в тех простых словах о земле, жирной, как масло, о хлебах, с головой закрывающих тебя, было что-то... Я даже не знаю, как это назвать. Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это самое правильное определение. Возможно, это и есть то чудо, которого так ждет Георгий Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с черными крестами.» [9, с. 84]

Нельзя обойти вниманием и песенное творчество, связанное с войнами, начиная от казачьих песен («Не для меня», «Когда мы были на войне» и др.), продолжая замечательными, ставшими уже классикой песнями о Великой Отечественной войне («Синий платочек», «Темная ночь», «Случайный вальс», «Эх, дороги», «На безымянной высоте» и др.) и кончая песнями о войнах в Афганистане и Чечне. Все это свидетельствует о том, что тексты песен так же, как и прозаические произведения, посвященные войне,

занимают весьма важное место в русской культуре. С.Г. Шулежкова отмечает, что «песни, созданные во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, оставили неизгладимый след в народной памяти и искусстве, и в русском литературном языке» [14, с. 119].

Красной нитью через произведения русских писателей проходит тема патриотизма, от поэмы М.Ю. Лермонтова «Бородино» и великого романа «Война и мир» Л.Н. Толстого до произведений современных авторов Захара Прилепина, Геннадия Сазонова, Сергея Михеенкова, Сергея Анисимова, Валерия Поголяева и др.

Как уже было отмечено выше, концепт «война» в русской литературе (как и в русском языке, в русском национальном самосознании), сложен и многогранен. Он занимает весьма значимое место в ряду других важных концептов и проникает в очень многие (практически во все) сферы жизни русского народа. Милитарная лексика, прецедентные имена и географические названия, крылатые слова и фразы, пословицы и поговорки, связанные с войнами, используются в художественной литературе, в публицистике, в повседневном общении. Рассматриваемый нами концепт вызывает в сознании носителя русского языка целый ряд негативно (разруха, голод, смерть, бомбежка, каратели, концлагерь, фашист) и позитивно (герой, партизан, Родина, Победа) окрашенных образов и понятий. Таким образом, можно говорить и об эмоциональной составляющей концепта «война». С другой стороны, война (как нападение извне, но не гражданская война!) способствует консолидации народа перед лицом общего врага, смертельной опасности. Ни в коей мере не претендуя на исчерпательность, в данной статье мы попытались рассмотреть лишь основные аспекты концепта «война» в русской литературе, как важнейшей части русской культуры.

В свете всего сказанного выше, можно утверждать, что данный концепт занимает исключительно важное место не только в русской литературе, но и в языковой картине мира, ментальности носителей русского языка и потому чрезвычайно важен для изучения. Причем следует отметить тот факт, что с течением лет значение концепта «война» как в русской литературе, так и в ментальности русского народа отнюдь не уменьшается.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Александр Фадеев в портретах, иллюстрациях, документах / сост. Б.Л. Беляев, В.И. Зарахани, под ред. А.С. Бушмина. — М.; Л.: Просвещение, 1964. — 342 с.
2. Громов Д.В. Образ «эсхатологического нашествия» в восточнославянских поверьях в древности и современности // Этнографическое обозрение. 2004. №5. URL: [http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2004/Gromov\\_2004\\_5.pdf](http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2004/Gromov_2004_5.pdf) (дата обращения: 6.02.2021)
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. «Цитадель», 1998.
4. Зусман В.Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка. Нижний Новгород, 2001. 168 с.

5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, „Перемена“. 2002. В: <https://studfile.net/preview/1806336/page:9/>
6. Колесов В.В. «Судьба» и «счастье» в русской ментальности // Серия «Мыслители», Размышления о философии на перекрестке второго и третьего тысячелетий., Выпуск 11 / К 75-летию профессора М.Я. Корнеева Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С.98-106. В: <http://anthropology.ru/ru/text/kolesov-vv/sudba-i-schaste-v-russkoj-mentalnosti> (дата обращения: 05.02.2021)
7. Кондратьев В. Два лика войны (в: „В окопах Сталинграда“. Москва, „Молодая гвардия“. 1991.).
8. Михайловский Н.К. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1911. С. V. (цит. по: <http://ecsocman.hse.ru/data/491/366/1217/015yERNIKOW.pdf> дата обращения: 08.02.2021)
9. Некрасов В.П. В окопах Сталинграда. Москва, „Молодая гвардия“. 1991.
10. Повесть временных лет [Электронный ресурс] // Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН) [Офиц. сайт]. URL: <http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869> (дата обращения: 7.02.2021)
11. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: 3-е изд. - М.: Академический проект, 2004, с. 42 – 67. В: <http://ec-dejavu.ru/c/Concept.html>. (дата обращения: 5.02.2021)
12. Твардовский А.Т. Василий Теркин. Дом у дороги. М. Художественная литература, 1985.
13. Толстой Л.Н. „Война и мир“, том 3, часть 1. В: <https://ilibrary.ru/text/11/p.164/index.html> (дата обращения: 05.02.2021)
14. Шулежкова С.Г. Песенные крылатые выражения (XVIII век – Великая Отечественная война) : материалы к словарю «Крылатые выражения из области искусства». Вып. 2 [Текст] / Магнитогорск. пед. ин-т. Магнитогорск, 1992. 155 с.
15. <https://azbyka.ru/biblia/?Lev.26:3-33&c~r&rus> (дата обращения: 05.02.2021)

## **THE CONCEPT OF "WAR" IN RUSSIAN LITERATURE (CLASSIC AND CONTEMPORARY LITERATURE)**

*Manchev V.*

*Candidate of Philology – D.Ph. (Philology)*

*Bulgaria*

**Abstract:** The present paper focuses on the concept of “war” as it holds a specific place in the worldview of the Russian people as well as in the Russian literature. Phraseological units with a component “war” and military vocabulary continue to emerge in the modern Russian and in the works of contemporary Russian authors, which once again attests to the relevance of the given concept. The concept “war” is complex and multifaceted: many other concepts as “destiny”, (Judgement of God, war as divine retribution, see above) or “Russian character” here are intertwined, come in tough and interfuse.

**Keywords:** concept “war”, Russian literature, destiny, patriotism.

Contemporary linguoculturology is no longer imaginable without such a basic term in its framework as the "concept". According to Y.S. Stepanov, the concept is "as if a clot of culture in a person's consciousness; something in the form of what culture enters a person's mental world. And, on the other hand, the concept is that by means of which a person - an average, ordinary person, not a "creator of cultural values" - himself enters the culture, and in some cases influences it." [11, p. 43.]. The concept is an important part of the picture of the world of native speakers of each language, helps to better understand the features of the people's psychology of the ethnic group, provides us with important information about its history and culture. Obviously, a separately taken concept does not reveal the specificity of the mentality of people, but it can elucidate its ideas about things, phenomena, and even emotions standing behind the given concept. V.I. Karasik defines a concept as "a multidimensional semantic formation in which the value, image and conceptual sides are distinguished" [5, p. 9].

The focus of the proposed article is the concept of "war", taking a special place both in the picture of the world among the Russian people, and in Russian literature, since, as rightly noted by V.G. Zusman, "...in literature the same national concepts are scrolled. The whole question is in the specifics of their functioning" [4, p. 12]. It is the specifics of the functioning of the above-mentioned concept in Russian literature that we will try to elucidate.

The wars that the Russian people have been made to wage throughout its history have certainly left an imprint on the traits of its national character and a marked trace in its culture (primarily in literature). This circumstance also explains the large frequency of the use in the Russian language of both military vocabulary and phraseological expressions of military themes. As an example, a number of phrases about war can be cited, found in the explanatory dictionary of V.I. Dahl: "... It's easy to hear about the war, but hard (scary) to see it. It is good to listen to war, but God forbid to see it. It's good to have the war behind the mountains, they will be dead in the pandemic, and they will praise and brag in the war. Don't joke about war and fire. War is from the enemy, not from God. And I would go to war, but it's a pity to leave my wife. The mushrooms were going to war, as the song says. ... Fighting, so they are stealing, i.e., cheating. He who is strong and rich, he is good to fight. It looks like Mamai was fighting in their house, and it's a mess. If I'd known, I wouldn't have fought. He would have fought more, but he lost his warrior. You would have fought for and fought, but took nothing. You should fight on the stove with cockroaches. The need grieves, the need fights." [3, p. 564].

In addition, phraseological expressions with the component "war" and militaristic vocabulary continue to be formed in modern Russian and are found in the works of contemporary Russian authors, which once again testifies to the relevance of this concept: "Tanks do not fear dirt", "Be as ugly as atomic war" (Be as ugly as a mud fence), "For those who are in a tank" (If you are living under the rock), etc.

Another example of the cultural significance of this concept is a number of precedent texts: "The Tale of Igor's Campaign", "Zadonschina", "War and Peace", "They Fought for the Motherland", "The Holy War", "In the Trenches of Stalingrad", etc.

The notions of war in Russian literature go back to both pagan and Christian concepts. For obvious reasons, no literary work from the pre-Christian period has been preserved which would allow us to judge the attitude of the ancestors of the Russians toward war, but most likely it was not very different from that of the other nations that inhabited the European continent. Moreover, the concept of "war" itself has evidently not yet been formed, since such a multifaceted linguocultural and nationally specific phenomenon requires a certain amount of time to form. In turn, the source of Christian ideas about war is the Bible, in particular, the Book of the Law and the Books of Samuel: "...I will turn my face toward you, and you shall fall before your enemies, and your adversaries shall rule over you <...> and I will bring a vengeful sword upon you as vengeance for the covenant; <...> your cities shall become a desert, and I shall desolate your sanctuaries <... I will make your land desolate so that your enemies who dwell therein shall marvel at it; I will scatter you among the nations, and I will draw my sword after you, and your land shall be desolate and your cities destroyed" [Lev. 26: 3 - 33; v: 15]. From the above quotation one can see that war is perceived primarily as a punishment, as God's punishment for people's sins. According to D. V. Gromov "...the belief that the invasion of the Tatars is a consequence of the sinfulness of the Russians, was expressed in medieval Russian texts repeatedly. This tragedy was considered by medieval authors not only as a military and political but also as a religious event" [2, p.23].

It should be noted that in the minds of the vast majority of Russian people wars up to the beginning of the twentieth century (and for part of the population, perhaps, even further) were on a par with such disasters like famine, epidemics, fires: "God for sins sends to some country famine, or pestilence, or drought, or other punishment. For this reason, we receive all kinds of executions from God and the raids of enemies" [10]. In this connection, it is impossible not to mention the fatalism of the Russian people, its conviction that many things happen besides our will and desire. Hence the belief in the happy unexpected, the hope for a miracle, as well as the proverbial resignation and humility: "What must be, must be," "Every bullet has its billet," and so on. Here one may also think of The Fatalist from Lermontov's "A Hero of Our Time" or Leo Tolstoy's historical fatalism: "Fatalism in history is inevitable in explaining unreasonable phenomena (that is, those whose rationality we do not understand). The more we try to reasonably explain these phenomena in history, the more unreasonable and incomprehensible they become for us." [13]. However, on the other hand, the remarkable Russian russiologist linguist V.V. Kolesov denied the fatalism of the Russian man: "And "avos'" - hope for a chance, but it is not about the passivity of the Russian man, his fatalism, fear of the hostility of the external world, which is known to be stronger - this is a purely Russian military trick: conscious shifting of responsibility from themselves to some, fundamentally unspoken in a personal way, the subject." [6].

The concept of "war" is complex and multifaceted; other concepts such as "fate" (" Last judgment ", war as God's punishment, see above) or "Russian character" overlap, intertwine and merge in it. As for the latter, here it seems appropriate to mention not only the story of the same name by A.N. Tolstoy, but also the "Tale of the Real Man" by B. Polevoj, and the works of all the writers and poets of war-

time. But it seems to us that we should rather start with the classics of Russian literature - A.S. Pushkin, M.Y. Lermontov, L.N. Tolstoy, etc. After all, it is at war, in critical conditions, when a man stands between life and death, all the traits of his character - both positive and negative appear. Undoubtedly, one of the striking examples is the pursuit of truth.

Here it seems appropriate to mention another concept that is in conjunction with the concept of "war" - truth. The Russian philosopher and publicist of the 1870s Nikolai Konstantinovich Mikhailovsky described the word "truth" very precisely: "Whenever the word "truth" comes to my mind, I cannot but admire its striking inner beauty. It seems there is no such word in any European language. It seems that only in Russian truth and justice are called by the same word and as though merge into one great whole" [8]. It should be noted that the semantics of the word "truth" initially contains a part of the antinomy "straight-line - curve" and contains a positive assessment. It is known that in the Ancient Russian language all lexemes with the root -right- had positive connotations, and the adjective "right" had the meaning "correct", "true", the same meaning we find in the modern Russian language, it is enough to remember at least the famous closing phrase from the appeal to the Soviet people, read out by V.M. Molotov on the first day of the Great Patriotic War: "Our cause is right, the enemy will be defeated, victory will be for us". Alexander T. Tvardovsky, a remarkable Russian poet, author of perhaps the most famous poem about the Great Patriotic War - "Vasily Terkin" - also says that it is impossible to live without the truth:

"And all other things are more than that.  
I can't live without  
Without what? Without the truth that exists,  
The truth that strikes the soul,  
If it were deeper,  
It wouldn't matter how bitter it is." [12, p. 5]

It is the awareness of one's rightness that has always helped (along with all other conditions) the Russian people to defeat their enemies.

Considering the concept "war", we should also note the numerous winged words and expressions associated with it: "I come against you", "Who comes to us with a sword will die by the sword", "The more you sweat in peace, the less you bleed in war", "Motherland calls!", "All for the front - all for victory!", "The road of life", "Arise, great country!", etc.

Military-themed works constitute a significant stratum of Russian literature, especially post-World War II literature. There is hardly a Russian writer whose work has not in some way addressed the theme of war. It is evident in the works of Pushkin, Lermontov, Tolstoy, Sholokhov, Fadeev, Tvardovsky, Grossman, Astafiev, Nekrasov, and Simonov.

Contrary to the well-known statement that "when the guns are talking, the muses are silent," the role of literature during the war years is extremely important, since writers conduct their battles, figuratively speaking, on the spiritual front. Therefore A. Fadeev quite rightly and very precisely says that the writer "...has no

greater task ... than the daily and tireless service of the weapon of the artistic word to his people in the formidable hours of battle" [1, p. 204].

Among the first books about the Great Patriotic War, written objectively and truthfully, and which brought real fame to its author, was the story of Victor Nekrasov's "In the trenches of Stalingrad", published in 1946. According to Vyacheslav Kondratyev, this book "...was a certain standard of honesty and sincerity, and from the "overcoat" of Nekrasov's soldier, one can say, all the military prose we have arisen" [7, p. 5]. In addition, the story was written by a front-line officer, a man of high morals and spirituality, well acquainted with the classics of Russian literature. That is why, it is no coincidence and a peculiar echo with the work of Lev Nikolaevich Tolstoy's "War and Peace": "But in that song, in those simple words about the land, fat as butter, about bread, covering your head, there was something ... I don't even know what to call it. Tolstoy called it the latent warmth of patriotism. Perhaps that is the most correct definition. Perhaps this is the miracle that Georgy Akimovich is waiting for, a miracle stronger than German orderliness and tanks with black crosses." [9, p. 84]

It is impossible to ignore the songs related to the wars, from Cossack songs ("Not for Me," "When We Were at War," etc.) to wonderful songs about the Great Patriotic War that have already become classics ("Blue Handkerchief," "Dark Night," "Accidental Waltz," "Eh, Road," "At an Unnamable Height," etc.) and to songs about the wars in Afghanistan and Chechnya. All this shows that lyrics and prose work about the war occupies an important place in Russian culture. S.G. Shulezhkova notes that "songs created during the Great Patriotic War and in the first post-war years left an indelible mark in people's memory and the art, and in Russian literary language" [14, p. 119].

The theme of patriotism runs through the works of Russian writers, from Lermontov's poem "Borodino" and the great novel "War and Peace" by Leo Tolstoy to the works of contemporary authors Zakhar Prilepin, Gennady Sazonov, Sergey Mikheev, Sergey Anisimov, Valery Povolniaev and others.

As noted above, the concept of "war" in Russian literature (as well as in the Russian language, in the Russian national consciousness), is complex and multifaceted. It occupies a very significant place among other important concepts and penetrates many (almost all) spheres of life of the Russian people. Militaristic vocabulary, precedent names, and geographical names, winged words and phrases, proverbs, and sayings related to wars are used in fiction, in journalism, and everyday communication. The concept under consideration by us evokes in the consciousness of a speaker of Russian a number of negatively (ruin, famine, death, bombing, punishers, concentration camp, fascist) and positively (hero, partisan, Motherland, Victory) colored images and concepts. Thus, we can also talk about the emotional component of the concept of "war". On the other hand, war (as an attack from outside, but not a civil war!) contributes to the consolidation of the people in the face of a common enemy, a mortal danger.

By no means claiming to be exhaustive, in this article we have tried to consider only the main aspects of the concept "war" in Russian literature, as the most important part of Russian culture.

In the light of the above, we can assert that this concept occupies an extremely important place not only in Russian literature, but also in the linguistic picture of the world and the mentality of native Russian speakers, and is therefore extremely important to study. And it should be noted that over the years the meaning of the concept "war" both in Russian literature and in the mentality of the Russian people has not decreased.

## REFERENCES

1. Alexander Fadeev in portraits, illustrations, documents. originators B. L. Belyaev, V. I. Zarakhani, ed. by A. S. Bushmin. - M.; L.: Prosveshchenie, 1964 — - 342 p.
2. Gromov D. V. The image of the "eschatological invasion" in the East Slavic beliefs in ancient and modern times // *Ethnographic review*. 2004. No. 5. URL: [http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2004/Gromov\\_2004\\_5.pdf](http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2004/Gromov_2004_5.pdf) (accessed: 6.02.2021)
3. Dal V. I. Explanatory dictionary of the living Great Russian language. M. "Citadel", 1998.
4. Zusman V. G. Dialogue and concept in literature. Literature and music. Nizhny Novgorod, 2001. 168 p.
5. Karasik V. I. Language circle: personality, concepts, discourse. Volgograd, "Change". 2002. In: <https://studfile.net/preview/1806336/page:9/>
6. Kolesov V. V. "Fate" and "happiness" in the Russian mentality // Series "Thinkers", Reflections on philosophy at the crossroads of the second and third millenia., Issue 11 / To the 75th anniversary of Professor M. Ya. Korneev St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society, 2002. pp. 98-106. <http://anthropology.ru/ru/text/kolesov-vv/sudba-i-schaste-v-russkoy-mentalnosti> (accessed: 05.02.2021)
7. Kondratiev V. Two faces of war (in: "In the trenches of Stalingrad". Moscow, "Molodaya Guardia". 1991.).
8. Mikhailovsky N. K. Full. sobr. soch. Vol. 1. St. Petersburg., 1911. S. V. (cit. by: <http://ecsocman.hse.ru/data/491/366/1217/015yERNIKOW.pdf> date of application: 08.02.2021)
9. Nekrasov V. P. In the trenches of Stalingrad. Moscow, " Molodaya Guardia ". 1991.
10. The Tale of bygone years [Electronic resource] // Pushkin House (IRLI RAS) [Official website]. URL: <http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869> (date of application 7.02.2021)
11. Stepanov Yu. S. Constants: Dictionary of Russian culture: 3rd ed. - Moscow: Academic project, 2004, pp. 42-67. In: <http://ec-dejavu.ru/c/Concept.html>. (date of application: 5.02.2021)
12. Tvardovsky A. T. Vasily Terkin. The house by the road. M. Hudozhestvennaja-literatura, 1985.
13. Tolstoy L. N. "War and Peace", volume 3, part 1. In: <https://ilibrary.ru/text/11/p.164/index.html> (accessed: 05.02.2021)



14. Shulezhkova S. G. Song phraseological units (krylatye-vyrazhenija) (XVIII century – the Great Patriotic War): materials for the dictionary "Phraseological units (krylatye-vyrazhenija) art". Issue 2 [Text] / Magnitogorsk, 1992. 155 p.
15. <https://azbyka.ru/biblia/?Lev.26:3-33&c~r&rus> (accessed: 05.02.2021)

*Склизкова Екатерина Вдадимировна,  
кандидат культурологии, доцент,  
кафедра лингвистики и МКК  
Институт славянской культуры  
РГУ им. А.Н.Косыгина*

## **ПРАГМАТИКА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СВЕТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ**

**Аннотация:** Геральдика проявляет себя не только сложной и довольно строгой, но и вполне самостоятельной наукой. Герольды же были и есть её служителями, следящими за всеми сторонами этого феномена культуры. Многофункциональность и рассмотрение своего объекта как системы, во всей сложности иерархических связей роднит средневековых герольдов с культурологами. К концу XIV в. герольды приобретают высокий социальный статус и признаются экспертами в различных аспектах широкого культурного поля, связанного с рыцарством. Затем их функции всё больше усложняются, штат увеличивается, – и образуются геральдические коллегии со своей иерархией и сферой занятий.

Коллегии являлись структурирующим фактором в общем пространстве геральдики, а герольды являлись экспертами в сфере вооружения и доспехов, знатоками истории, литературы (классической и фольклора), иностранных языков, а также мистических свойств растений, животных, драгоценных камней, цветов и т.д. В их ведении находилось составление, описание, распознавание и фиксации гербов, все светские церемонии, посольские и дипломатические функции, включающие переговоры, вызовы на бой и т.д., а также функции тайных гонцов между рыцарями их дамами.

На данный момент роль герольдов, как и самой геральдики, сместилась больше в область атрибуции и во многом теории и исследований, однако, и практика тоже в ходу и в социальной сфере, и в других. Для России это особенно актуально в связи с популярностью гербов как некоего атрибута исключительности.

**Ключевые слова:** геральдика, Геральдическая коллегия, герб, гербовник, герольд, Герольдия, герольдмейстер, рыцарство, социокультурный, Средневековье, турнир, церемониал.

Многофункциональность и рассмотрение своего объекта как системы, во всей сложности иерархических связей роднит средневековых герольдов с культурологами. При ближайшем знакомстве геральдика проявляет себя не только сложной и довольно строгой, но и вполне самостоятельной наукой. Герольды же были и есть её служителями, следящими за всеми аспектами этого многостороннего феномена культуры. Геральдика довольно быстро структурировалась, и за этим следили специалисты. Первые гербовые свитки, освещающие гербы только самых знатных представителей дворянства, появляются в XIII в. Авторами этих и других сочинений, касающихся геральдики, являлись герольды. Помимо сочинений они были и хранителями геральдиче-

ского наследия. Многие свитки и геральдические книги собирались герольдами, а впоследствии образовали основу фондов коллегий.

Сам термин «герольд» некоторые авторы выводят из двух германских слов: Heer (войско) и Held (победитель), что не очень соответствует этимологии. Другие – от «dem Heere Holde» (служащий при войске), третьи от Heer и alt (ветеран), а некоторые от древнегерманского her от haren (звать) и alt от walten (управлять) [1]. Возможно, также термин происходит от германского слова «Beerwald» – глашатай [3] или англо-саксонского here – войско и wald – сила [6].

Некоторые авторы [1] утверждают, что средневековые герольды ведут начало от греческих и римских. Действительно, с древнейших времён существовали люди с правами и обязанностями, подобными современному дипломатическому корпусу. На них возлагались обязанности по международным сношениям, судейские и посреднические роли, а также роли вестников и послов. У греков это были σκῦτος, у римлян feciales.

«...Если б к героям глашатаи, вестники бога и смертных,  
Вдруг не предстали – один от троян, а другой от ахейн...  
...Между героями скипетры они протянули...» [2, с.129].

В раннем Средневековье в качестве посланцев использовались священнослужители. Когда на историческом горизонте появились герольды, эти обязанности перешли к ним. Так или иначе, но герольды – «продукт» Средних веков. Они, конечно, имели некоторое сходство с древними послами, но, кроме этого, обладали и другими специфическими обязанностями.

Тексты рыцарских поэм свидетельствуют, что в XII веке при состязаниях, различных церемониях знати появляется новый класс людей (странствующий люд). Они кочуют от двора ко двору, слагая песни об их щедром гостеприимстве и т.д. Этих людей принимали с почётом и всячески им угождали. Победители на войне отдавали им часть своей добычи. Этот странствующий класс имел множество терминов, но по функциям их можно назвать оруженосцами, гонцами, скоморохами. Они были при всех дворах и имели специальную форму и жезл их чина. Они объявляли войну, вызывали противников на бой, а также восхваляли рыцарей и описывали их гербы на турнирах. Первоначально далеко не все упоминания герольдов носят положительный характер. Вероятно, это происходит из-за борьбы за внимание синьоров между менестрелями и герольдами, т.к. частично их функции совпадали.

С конца XIII в. их повсеместно начинают называть гербовыми оруженосцами или пажами и предоставляют им право повсеместного свободного проезда. Эта социальная прослойка или профессиональный цех сформировался постепенно и приобрёл свой вес и полноту функций уже практически в зрелом Средневековье. Название «герольд» появилось только в XIV веке. Оно впервые появляется у Петра Зухенвирта, который сам исполнял обязанности герольда.

Герольды приближались по функциям к дипломатическому корпусу.

Во время войн и в мирное время они пользовались неприкосновенностью и устраивали советы «по обмену опытом». Герольды представляли собой международный класс, владея языками и находясь всегда в гуще событий.

Функция герольдов требовала специального обучения, включая иностранные языки, особенно французский, так как в геральдике закрепилась преимущественно французская терминология, знакомство с древними монетами, знаками и символами на оружии. Геральдическая наука требовала хорошей памяти и хорошего образования. Поэтому герольды были весьма эрудированными людьми. Они же были авторами основной массы геральдических сочинений, поэтических произведений о турнирах с блазонированием гербов, теоретических трактатов, гербовников, генеалогических записей. Наиболее известны были Яков Бретенс, Berry и Sicile во Франции, Конрад Вюрдбургский в Германии, баварский Holland, австрийский Петр Зухенвирт.

Фактически средневековые герольды были военными людьми, состоявшими при дворе феодалов или главах рыцарских орденов. Помимо дипломатических и посольских они имели функции гонцов, они рассылались по дворам знати с приглашениями на турниры, там вывешивали гербы на всеобщее обозрение, толковали их и высказывали суждения об их подлинности. Герольды были ведущими турниров, зачитывая рыцарям правила. «Высокородные и могущественные принцы, лорды, бароны, рыцари и сквайры, все и каждый из вас, пожалуйста, поднимите вашу правую руку к святым, к небесам, где все вы будете, обещайте и клянитесь вашей верой, жизнью вашей и честью, что на этом турнире вы никого не будете умышленно поражать остриём меча, или ниже пояса, что никто не будет атаковать кого-либо без соответствующего дозволения, и, если по воле случая упадёт с головы чей-то шлем, никто не тронет этого рыцаря, пока шлем не будет надет снова, и вы даёте согласие на то, что если вы совершите обратное умышленно, вы потеряете своё вооружение и коней, и будете изгнаны с турнира, также обязуетесь следовать везде и во всём приказам судей, могущих карать нарушителей без лишних споров, и в этом клянётесь вашей верой, жизнью вашей и честью!» [7].

Все церемониалы, связанные с дворянством, рыцарством и королевскими домами, находились в их же ведении. Все важные события, такие как рождение, коронация, свадьба, похороны и т.д. требовали особой пышности и особого внимания. Они давали массу возможностей демонстрации своего статуса и богатства, а также отражали средневековое стремление к роскоши и красоте. Герольдам была отведена главная роль в проведении подобных церемоний. Они регулировали сам процесс, следили и за семантикой и за синтактикой мероприятия, учитывали состав «действующих лиц» и их роли.

«Герольды закончили чтение правил обычными возгласами: «Щедрость, щедрость, доблестные рыцари!» В ответ на их призыв со всех галерей посыпались золотые и серебряные монеты. Герольды вели летописи турниров, и рыцари не жалели денег для историков своих подвигов. В благодарность за полученные дары герольды восклицали: «Любовь к дамам! Смерть противникам! Честь великодушному! Слава храброму!» Зрители попроще

присоединяли к этим возгласам свои радостные клики, между тем как труба-чи оглашали воздух воинственными звуками своих инструментов. Когда стих весь этот шум, герольды блистательной вереницей покинули арену. Одни лишь маршалы, в полном боевом вооружении, верхом на закованных в панцири конях, неподвижно, как статуи, стояли у ворот по обоим концам поля» [4, с.115].

Постепенно из странствующих шутов-менестрелей герольды превращаются в уважаемых людей особого статуса и закрепляются при дворах королей и других владетельных синьоров. К концу XIII в. у герольдов налаживается достаточно обеспеченная жизнь с высокими гонорарами. К концу XIV в. герольды приобретают высокий социальный статус и признаются экспертами в различных аспектах широкого культурного поля, связанного с рыцарством. Затем их функции всё больше усложняются, штат увеличивается, – и образуются геральдические коллегии со своей иерархией и сферой занятий.

Древнейшим и ныне существующим институтом такого рода является Английская геральдическая коллегия. Первоначально земельные эмблемы, знаки собственности, они же впоследствии родовые гербы, выбирались произвольно, но затем они даровались только королём. Корона ревниво оберегала свои привилегии. В царствование Генриха V была выпущена декларация по этому поводу, а в период правления Елизаветы (дочери Генриха VIII) и её наследников герольдам было поручено объехать страну с целью исправления «неправильных» гербов и регистрации всех уже существующих. Это было связано с возникшей потребностью в людях, разбирающихся в уже существующих гербах, способных разработать и установить правила для составления и использования новых; сведущих в генеалогии, способных вести родословные и заниматься церемониалом. Этими людьми стали герольды.

Приблизительно с 1260 г. герольды начинают делиться на три ранга: Короли гербов (в архаичной форме – Короли Герольдов), герольды и персеванты [8]. Количество членов этих категорий меняется со временем. Первым упоминанием об официальном назначении королевского герольда считается назначение герольдмейстера территорий к северу от Трента в 1276 г. Хотя свидетельство о герольде, как должностном лице, прикрепленном к определенной организации, датируется 1327 г. когда Эдуард III создаёт организацию «Carliste Herald».

Английская Геральдическая коллегия была образована в 1484 г. по приказу Ричарда III, правда, официально она существовала с 1344 г. при Эдуарде III, но формально начала работу лишь столетие спустя. Её главой является Граф-маршал Англии. Это наследственная служба. Последние 300 лет она находится в ведении герцогов Норфолкских. Учитывая, что Маршал или Граф-маршал был вторым лицом после короля в военных вопросах, то понятна важность его дипломатических навыков и познаний в области символики (знамён, нашлаемников изображений на щитах), ритуализированного поведения и традиций.

Суд констебля и маршала занимался вопросами геральдики. Этот Высший суд рыцарской чести был создан в начале XIV в. Однако после каз-

ни Эдуарда Стеффорда в 1521 г. пост констебля стал вакантным, а фактически был упразднён. Граф-маршал стал единолично вершить свой суд, хотя чаще от его имени выступает заместитель. Суд рыцарской чести относится к области гражданского права.

Штат Коллегии делится на три ранга. Высшим являются Короли гербов, которые в свою очередь в настоящее время делятся на три категории. Главная – «Подвязка» (Garter), названная в связи с тем, что первоначально обладатель этого титула должен был участвовать в церемонии награждения орденом Подвязки его кавалеров. Garter ответственны за представление пэров в Палате Лордов.

Категория «Кларенсо» (Clarenceux) названа в честь брата Генриха V [1] или брата Эдуарда IV [5]. По другой версии она произошла от названия замка Clare – древней резиденции графа Hereford. Эдуард III переделал его в Кларенсе, женив своего третьего сына на старшей дочери последнего графа. В ведении Королей гербов этой категории находились земли к югу от Трента.

Третьими были Норрой (в Англии к северу от Трента) и Ольстер (в графствах Северной Ирландии). Они были объединены в 1943 г. Норрой считается древнейшим титулом этого порядка и происходит от населения севера территорий Norreys. Первоначально назывался Rex Norroy, Roy d'Armes del North, Rex Armorum del North, Rex de North и Rex Norroy du North [6] и как самостоятельный титул был утверждён при Эдуарде IV. Ireland King of Arms появляется в записях времён Ричарда II. Однако нет точных сведений, что происходило с этим титулом до появления титула Ольстер при Эдуарде VI.

Короли гербов были ответственны за определённые территории (marches) и соответствовали герцогствам или графствам, которыми принцы владели до восшествия на престол (Ланкастер, Глосестер, Ричмонд и Лейсестер). Помимо них существовали также Короли гербов для иностранных провинций Aquitaine, Anjou, и Guyenne, связанных некогда с Английской Коронай.

Титул Falcon King of Arms появился в связи с королевским символом (предметным девизом) – соколом Эдуарда III, затем был передан герольдам и персевантам. На данный момент не всегда понятно, когда он соответствовал Королю гербов, когда герольду и персеванту, а также сам период функционирования титула.

Виндзор, вероятно, ошибочно считался некоторыми авторами титулом Короля гербов из-за древней записи «Stephen de Windesore, Heraldus Armorum rege dicto», которая затем фигурировала и в других работах.

Также существовал скорее номинальный, чем реальный титул Короля гербов Marche Herald (March Rex Heraldorum and March Rex Heraldus) во время Эдуарда IV, происходящий из Earls of Marche.

Таким образом, существовало достаточно большое количество титулов (далеко не все упомянуты здесь), которые остались или носили эпизодический характер.

Ниже Королей гербов стоят герольды: Честер, Виндзор, Ричмонд, Сомерсет, Йорк и Ланкастер (Carlisle, York, Rose Blanche, Blanche Sanglier, Ea-

gle). Они отличались по времени и истории утверждения. Виндзор, Ричмонд, Йорк и Ланкастер были утверждены в правление Эдуарда III. Последние – в честь сыновей, ставших герцогами Йоркским и Ланкастерским.

Далее идут ученики герольдов («персеванты»): Rouge Croix, Rouge Dragon, Bluemantle и Portcullis. Титулы персевантов взяты из девизов. Титул Rouge Croix (красный крест), первый из подобных, получил своё название от красного георгиевского креста – знака ордена Подвязки и символа св. Георга – покровителя Англии. Bluemantle был данью Эдуарда III Франции. Rouge Dragon появился во время Генриха VII и был одним из поддерживателей королевского герба, а также символом Уэльса.

В ведение Коллегии помимо выдачи грамот на гербы входит запись родословных, государственный церемониал во всех странах Британского Содружества. Помимо «штатных» герольдов в Англии имеются «почётные», исполняющие обязанности время от времени. Они являются консультантами и принимают участие в отдельных церемониалах, связанных с аристократией.

Многие страны до сих пор имеют подобные организации по выдаче и регистрации гербов. Их структура и функции в целом повторяют Геральдическую Коллегию в Лондоне. В Шотландии, где за геральдикой следят особенно строго, главой геральдических чиновников является Лорд Лайон. Герольды носят имена: Albany, Morchmont, Rothesay, а персеванты: Carrik, Kintyre, Unicorn и Ormond.

В Ирландии были свои геральдические должности. Последний глава (King of Arms) коллегии умер в 1487 г., а в 1553 г. Эдуард VI создал новый геральдический титул Ольстер, который сохранялся в течение жизни. После смерти последнего Ольстера в 1940 г. все дела, касающиеся геральдики и генеалогии, ведутся в Дублинском замке Главным Герольдом Ирландии, которого назначает Ирландское правительство. Дела были поделены между Англией и Ирландией, а копии всех имеющихся генеалогическо-геральдических документов Дублинского замка переданы в Лондонскую Коллегию.

Герольды имели собственную форму и регалии их сана. Сейчас они используются исключительно в Англии и Шотландии по очень торжественным случаям, типа коронации. Герольды носили на своём одеянии герб хозяина. Плащ был существенной деталью, но значительно поменял форму. С XIII в. плащи представляли собой скорее накидку, вырезанную в виде креста с более длинными и более короткими концами. Служащие низкого ранга носили накидку таким образом, что более длинные концы получались на руках, более короткие – на спине и груди. Для более высокого ранга накидка одевалась наоборот. Подобная практика использовалась в Англии в XV- XVII вв. Бывало, что герольды носили изображения не своего лорда. Подобные вещи детально описаны в «Книге турниров» короля Рене Анжуйского [7]. XVI в. для разных должностей вводились разные ткани для камзолов (герольдмейстеры – бархат, герольды – атлас, персеванты – шёлк).

Герольды также имели короны, шейные знаки и скипетры своих служб. Основным элементом для знаков и скипетров становился герб Великобрита-

нии с различными добавлениями, характерными для конкретной должности. Короли гербов и герольды носили цепь SS, которая вызывает немало споров. У герольдов она была серебряная, у Королей гербов – позолоченная. В геральдической практике она осталась, в том числе, в качестве значка (badge), помещавшегося вокруг щита некоторых должностных лиц (например, Лорда Главного судьи). Английские герольды не имели официальных знаков, в отличие от Королей и персевантов. Тем не менее, у некоторых герольдов они были. В Шотландии и Ирландии, в частности, герольды носили знак на ленте.

Король гербов ордена Подвязки носит золотой знак, рассечённый с крестом св. Георга и гербом короля, окружённый подвязкой с девизом и королевской короной.

Король гербов Лев на широкой зелёной ленте имеет овальный знак с чертополохом внизу, и имперской короной наверху – объёмное изображение св. Андрея с его крестом впереди, на обороте – герб Шотландии.

Ольстер владеет золотым знаком с крестом св. Патрика рассечённым с гербом Ирландии. На реверсе изображён красный крест на золоте, глава несёт льва Англии между арфой Ирландии и решёткой. Знак помещён на зелёную эмаль, окружённую трилистниками.

Изображение гербов главных герольдмейстеров выглядят чуть по-другому. В них сделан акцент на главенство Англии и появляется французская лилия. А Норрой и Ольстер имеют общий знак.

Знаки герольдов соответствовали эмблемам дома Йорков и Ланкастеров (розы) и соответствующим им владениям, а персевантов – их именам.

Вплоть до XIV в. гербы могли порой присваиваться самовольно, но затем только особыми грамотами, выдаваемыми королём. Первая такая грамота была выдана Эдуардом III. Затем это право перешло Королям гербов. Короли гербов с согласия Графа-Маршала даровали гербы за особые заслуги. Под юрисдикцию Королей гербов не попадают Шотландия и Канада. В 1484 г. хартией Ричарда III английские герольды получили статус корпорации и помещение в лондонском Сити, называемое Колдхарбор. Однако Генрих VII передал здание своей матери, и до 1558 г. герольды остались без специального помещения.

Затем герольды исполняли свои обязанности во дворце или на дому. Позже им отвели здание (Derby house) около собора Св. Павла, а когда оно сгорело, построили новое. Сейчас Коллегия располагается в 3-х этажном здании XVII века, где помещён Высший суд рыцарской чести, палаты герольдов и собрание документов. Архив – очень обширен и является закрытым для свободного доступа. Клиенты могут договориться о встрече с герольдом в письменной форме. У центрального входа на флагштоке вывешивается флаг дежурного герольда. В состав палаты входит 13 должностных лиц. Рабочий день герольда (дежурство) длится с 10 до 16 часов. К архивам Коллегии есть доступ только у служащих. Герольдов назначают по рекомендации Графа-Маршала Королевы, которая им жалует грамоты с приложением Большой печати Соединенного Королевства. Жалование герольды получают от Коро-

левы плюс доход от клиентов. Регистрация родословной следует определённой процедуре, после тщательных проверок в присутствии двух утверждённых Коллегией экспертов. Процесс выдачи гербов начинается с запроса, затем следуют консультации, составление проекта герба, проверка; далее художник на специальной бумаге рисует герб, выдается грамота, подписанная Королём Гербов ордена Подвязки и местным Королём гербов. Геральдическое общество до их пор вполне жизнеспособно, управляется Советом в Лондоне, выпускает ежеквартальный журнал «Герб» и имеет магазин и издательство «Геральдика сегодня».

Геральдическая коллегия в Лондоне является старейшим примером подобного института и отражает историческую непрерывность традиций в культуре Великобритании. Коллегия не просто сохраняет древний обычай ношения гербов и церемониал, она связывает страны через людей, имеющих одни корни. Британская нация характеризуется обычно педантичностью, уважением к традициям и чопорностью. Gentle обязан «держат марку» в любой ситуации. Это требование старалась соблюдать аристократическая элита. Коллегия является эталоном и законодателем аристократической жизни и этикета. Кроме стран своих герольдов имели рыцарские ордена.

Большинство европейских стран и сейчас имеют какие-либо ассоциации, имеющие отношение к геральдике. В Италии это Collegio Araldico, состоящая из экспертов в области геральдики и генеалогии. Ассоциация знати сформировалась как Геральдическое консульство под покровительством его основателя короля Умберто II.

В Южной Африке в 1962 г. были созданы Геральдическое управление и Геральдический совет для дарования и регистрации гербов и других эмблем. Ранг герольда назначался как глава Управления. Геральдический совет состоит из чина герольда и семи других чиновников, назначаемых ответственным министром в правительстве.

В Германии герольды образуют весьма многочисленный цех, во главе которого стоит гербовый король. Отдельные государства и провинции Германии имели собственных гербовых королей. Имена им давались по названию территории, попадавшей под их юрисдикцию, иногда их имена были произвольны.

Во Франции наиболее ранняя организация приписывается Людовику VII, но полное развитие она получила при Карле VI. Геральдическая коллегия была создана в 1407 г., но два последующих столетия герольды не имели авторитета. Их число достигало тридцати, а имена они имели от владений; исключение составлял герольд Короля (Montjoie). Людовик XIII в 1615 г. утвердил должность Генерального судьи гербов, чья власть походила на власть Лорда Лайона. Указ Людовика XIV 1696 г. повелел всем лицам, имеющим гербы, зарегистрировать их. Тех, кто не имел гербов, заставили их приобрести за деньги. Однако в 1760 г. гербы отобрали у крестьян и ремесленников. Французская революция упразднила гербы. Сейчас, хотя Франция – республика, владение гербами нетитулованными особами вполне возможно.



В геральдике Соединенных Штатов произошла значительная эволюция. После Американской революции использование гербов, особенно гербов английских фамилий продолжается. Геральдическая коллегия требует, чтобы люди английского и уэльского происхождения находились под её геральдической юрисдикцией. В ведении Лорда Лайона находятся люди шотландского происхождения по всему миру. Коллегия одно время рассчитывала иметь мировую юрисдикцию над людьми, которые могли иметь какое-либо отношение к Британии. Часто индийские принцы, не имеющие непосредственного отношения к Великобритании, получали гербы от Геральдической коллегии. Многие американцы также предпочитают получать гербы от коллегии или Лорда Лайона. Ирландские американцы часто получают гербы из Дублина, от Ulster King или его помощника. Американцы, проживающие на территории, ранее принадлежавшей Испании, попадают в ведомство испанского короля гербов. Это также касалось людей испанского происхождения по всей Америке, однако, сейчас под его юрисдикцией находятся только бывшие испанские колониальные земли. Современное положение гербов эмигрантов довольно запутанно. Для американцев получение рыцарства от иностранных держав означает только «почётное рыцарство». К тому же, это крайне нежелательная процедура. Часто имеет место присвоение гербов. Такие гербы являются символом имени, а не лица. Были сделаны попытки создать американскую геральдическую коллегия. Новое Английское Историко-генеалогическое общество Бостона назначило Комитет по геральдике, который с 1928 г. занимается гербами. Американская Геральдическая коллегия была основана в 1966 г., она делится на две части: Американскую Геральдическую коллегия (индивидуальные гербы), Геральдическую коллегия США (гербы, нашламники, девизы, знамена корпораций), которые занимаются дарованием и регистрацией.

Как уже упоминалось, во всех странах, где существовала геральдика, для правильности и законности её применения были созданы специальные институты. Однако в России никогда не было особенного порядка в данной области, да и говорить о чёткой структуре геральдической организации нельзя. Не было единой иерархии чинов и даже закреплённых названий для них. О русской Герольдмейстерской конторе сохранилось немного свидетельств, которые говорят лишь о её деятельности по надзору за военной и гражданской службой дворян, по выдаче гербов, дипломов и патентов на гербы.

Насажение Петром западных традиций, трансформировав социокультурную обстановку в стране, внесло юридический аспект в эмблематику. Следование западным образцам аристократической культуры не могло не включить в свой круг геральдику как одну из её основных атрибутов. Усвоение зарубежных культурных традиций характерно для России, однако оно накладывается на собственные культурные нормы, что произошло и с геральдикой. Граф Санти, один из родоначальников отечественной классической геральдики, выстраивал её на основе западноевропейских образцов.

Геральдика требует особой упорядоченности и, как следствие, определенного института. Геральдическая практика развивала вполне успешно и до

периода структуризации, однако это в большей степени была эмблематика, а не классическая геральдика. В целом, первоначально это было характерно и для Европы. Но классическая геральдика формировалась на очень конкретной социокультурной базе, чего не было в России. К тому же у истоков классической геральдики в России стояли иностранцы, которые хотя и были знаатоками своего дела, не вникли до конца в своеобразие русской эмблематики.

Герольдмейстерская контора, образованная в 1722 г., была первым учреждением, в ведение которого входили гербы. Параллельно в Москве с 1722 г. до 1871 г. существовала Канцелярия Московских Герольдмейстерских дел, функции которой совпадали с Конторой, которая в 1763 г. перешла в подчинение общего собрания департаментов Сената, а в 1765 г. трансформировалась в Герольдию в подчинении 1-го департамента Сената. В 1800 г. она была преобразована в Герольдию, претерпевшую в 30-е годы XIX в. значительные структурные изменения. В 1848 г. она становится Департаментом Герольдии Правительственного Сената, а в 1857 г. было образовано Гербовое отделение Департамента Герольдии, упраздненное после октября 1917 г. Уже через год после своего образования Герольдмейстерская контора была переведена в Санкт-Петербург.

В апреле 1918 г. после Революции Гербовое отделение было преобразовано в Гербовый музей, ставший в июле 1931 г. Кабинетом вспомогательных исторических дисциплин в составе Ленинградского отделения Центрального исторического архива. Уже после 25 июля 1939 г. он превратился в Архивный кабинет при центральных государственных архивах в Ленинграде.

На рубеже 1987–89 гг. в государственной и общественных сферах начался процесс активного геральдического творчества. В мае 1987 г. была создана Геральдическая комиссия Отделения истории РАН. 20 февраля 1992 г. была образована Государственная геральдическая служба на правах самостоятельного управления Комитета по делам архивов при Правительстве России, затем преобразованная в Управление геральдики Государственной архивной службы, а после в Государственную герольдию при Президенте РФ, на правах самостоятельного отделения Администрации Президента РФ.

Преобразования и периодические переезды плохо сказались на делопроизводстве, в котором и так было мало порядка. Оставшиеся документы Герольдмейстерской конторы XVIII в. хранятся в Российском Государственном архиве древних актов. Тем не менее, в рамках геральдической службы были задействованы мощные силы, это касается всех аспектов (В.Е. Адодуров, А.П. Барсуков, И.С. Бекенштейн, В.К. Лукомский, И.В. Чернавский, М.М. Щербатов и т.д.). Герольдмейстерская контора была тесно связана с Академией наук.

Герольдия является структурирующим семиотическим институтом в России, связанным с герботворчеством, регулировкой, фиксацией, направляющим стихийную русскую эмблематику в рамки геральдической науки, и придавая ей легитимность.

Таким образом, геральдические институты в России находились в состоянии постоянного движения, что плачевно сказалось на архивах. Однако

геральдика и её служители всё же вполне успешно функционировали, хотя современность характерна не очень высоким уровнем профессионализма в этой области. Возможно, подобная «подвижность» этого института объясняется заимствованным статусом геральдики, вся история которой связана, прежде всего, с Западной Европой.

Суммируя ранее сказанное, можно отметить, что коллегии являлись структурирующим фактором в общем пространстве геральдики, а герольды являлись экспертами в сфере вооружения и доспехов, знатоками истории, литературы (классической и фольклора), иностранных языков, а также мистических свойств растений, животных, драгоценных камней, цветов и т.д. В их ведении находилось составление, описание, распознавание и фиксации гербов, все светские церемонии, посольские и дипломатические функции, включающие переговоры, вызовы на бой и т.д., а также функции тайных гонцов между рыцарями их дамами. Некоторые функции со временем пропали вместе с переходом на чисто «бумажную» работу, но, в основном, обязанности герольдов остались неизменными. Широта их функций говорит о серьезной подготовке «кадров» и значимости этого института.

Важную роль в становлении геральдики в России играли официальные геральдисты, которые направили местные эмблематические традиции в русло классической геральдики. Уже веками функционирующая символика обогатила западную традицию, создав так называемую «русскую геральдику», самобытный феномен культуры.

На данный момент роль герольдов, как и самой геральдики, сместилась больше в область атрибуции и во многом теории и исследований, однако, и практика тоже в ходу и в социальной сфере, и в других. Для России это особенно актуально в связи с популярностью гербов как некоего атрибута исключительности.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Арсеньев Ю.В.* Геральдика. Лекции, читанные в Московском археологическом институте в 1907-1908 году. Ковров: «БЭСТ-В», 1997.
2. *Гомер.* Илиада. Одиссея // Большая Всемирная литер. Т.3. М.: Художественная литература, 1967.
3. *Слейтер С.* Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия. М.: Эксмо, 2005.
4. *Скотт В.* Айвенго // Собр. соч. в 20 т. М.,Л.: Художественная литература, 1962. Т.8.
5. *Фоли Дж.* Энциклопедия знаков и символов. М.: Вече, 1997.
6. *Fox-Davies A.Ch.* The Art of Heraldry. An encyclopaedia of armory. By Arthur Charles, Fox-Davies. Reissued. New-York - London. Blom, 1968.
7. *Roi René.* Forme et Devis d'un Tournoy /Bennett E. King René's Tournament Book (Translation based on the text of Appendix VII) // Cripps-Day F.H. The History of the Tournament. New York: AMS Press, 1982). Режим доступа: <http://www.gonderzone.org/Library/Gallery/gallery.htm/> (дата обращения 15.07.2019).

8. *Woodcock Th., Robinson J. M.* The Oxford Guide to Heraldry. Oxford, N-Y., Melbourne, Toronto, 1990.

## PRAGMATICS OF HERALDIC SERVICE IN THE CONTEXT OF CULTURAL STUDIES

*Sklizkova Ekaterina V.*

*PhD in Culturology,*

*Associate Professor,*

*The Kosygin State University of Russia, Institute of Slavic Culture  
Moscow, Russia*

**Abstract:** Heraldry manifests itself not only as a complex and rather strict, but also a completely independent science. The heralds were and are its agents, engaged by all the aspects of the sophisticated cultural phenomenon. Multifunctionality and consideration of the object of interest as a system, in full complexity of hierarchical connections, relates medieval heralds to modern cultural studies. By the end of the 14<sup>th</sup> century heralds acquired a high social status and were accepted as the experts in various spheres of the wide cultural field associated with chivalry. Then, their functions becoming more various, the staff increasing, Colleges of Arms with their own hierarchy and sphere of activity were formed.

College of Arms was a structure factor in the common space of heraldry, and heralds were experts in the field of weapons and armour, connoisseurs of history, literature (classical and folklore), foreign languages, as well as the mystical properties of plants, animals, precious stones, flowers etc. They were in charge of compiling, blazon, identification, and fixing coats of arms; all secular ceremonies, ambassadorial and diplomatic functions, negotiations, summons to battle including, as well as the functions of secret messengers between knights and their ladies.

At present, the function of heralds, as heraldry itself, has shifted mostly to the field of attribution, to theory and research, however, heraldic art is practiced as well in the social sphere and in some others. It is especially urgent to Russia due to the popularity of coats of arms as an attribute of exclusivity.

**Keywords:** heraldry, College of Arms, coat of arms, Roll of arms, herald, King of arms, chivalry, sociocultural, Middle ages, tournament, ceremonial.

Multifunctionality and consideration of the object of interest as a system, in full complexity of hierarchical connections, relates medieval heralds to modern cultural studies. In research heraldry manifests itself not only as a complex and rather strict, but also a completely independent science. The heralds were and are its servants, watching over all the aspects of this multifaceted cultural phenomenon. Heraldry had been structured rather quickly, being supervised by specialists. The first rolls of arms, presented the coats of arms of only the highest nobility, were written in the 13<sup>th</sup> century. The authors of these and other works on heraldry were heralds. Besides their compositions, they were also the curators of the heraldic heritage. Many Rolls and heraldic books were collected by heralds, and subsequently formed the basis of the funds of Colleges.

Some authors derive the term «*herald*» from two Germanic words: *Heer* (army) and *Held* (winner), which is not very consistent with the etymology, or from *dem Heere Holde* (serving in the army), or from *Heer* and *alt* (veteran), or from the old Germanic *her* from *haren* (to call) and *alt* from *walten* (to rule) [1].

Perhaps the term also comes from the Germanic word *Beerwald* (herald) [6] or the Anglo-Saxon *here* (army) and *wald* (strength) [4].

Medieval heralds are supposed to originate from the Greek and Roman ones [1]. Indeed, since ancient times, there have been people with rights and duties similar to the modern diplomats. They were responsible for international relations, judicial and mediation roles, as well as the functions of messengers and ambassadors. For the Greeks it was σκῦτος, for the Romans it was *feciales*.

«But then by heralds' voice the word was given,  
The sacred ministers of earth and heaven:  
Divine Talthybius whom the Greeks employ,  
And sage Idaeus on the part of Troy,  
Between the swords their peaceful sceptres reared...»[7, p.146]

In the early Middle Ages, priests were messengers. Heraldry appeared, these responsibilities were transferred to them. Still heralds were the «product» of the Middle Ages. They had some resemblance to ancient ambassadors, but besides they had some specific duties.

The texts of Romances testify that in the 12<sup>th</sup> century along with competitions, various ceremonies of the nobility, a new class of wandering people appeared. They wandered from court to court, composing songs about their generous hospitality. These people were received with honour and pleased in every possible way. The victors in the war gave them part of their booty. The wandering class was presented in many terms, but in functions they were close to squires, messengers, buffoons. They were at any court and had a special form and staff of their rank. They declared war, challenged opponents to battle, and also praised the knights and blazoned their coats of arms in tournaments. In the very beginning, not all the references to heralds were positive. It is probably due to the struggle for the attention of lords between minstrels and heralds, as their functions partially coincided.

From the end of the 13<sup>th</sup> century they were commonly referred to as heraldic squires or pages and were given the right to freedom of movement everywhere. That social or professional stratum was formed gradually and acquired its importance and fullness of functions only in the high Middle Ages. The term «herald» appeared in the 14<sup>th</sup> century, Peter Suchenwirt, being himself a herald, was the first who used it.

The heralds were quite close to the diplomatic corps in function. In war and peace, they enjoyed immunity and arranged councils for the exchange of experience. The heralds were an international class, fluent in languages and always in the thick of things.

The function of heralds required special training, including foreign languages, especially French, since predominantly French terminology was fixed in heraldry, and experience in interpretation of ancient coins, signs and symbols on weapons. Heraldic science was connected with good memory and all-round education. Therefore, heralds were very erudite people. They were also authors of heraldic works, poetry about tournaments and blazon of coats of arms, theoretical treatises, rolls of arms, genealogical records. The most famous were Berry and Sicile in France, Konrad Grünenberg in Germany, Bavarian Holland, Austrian Pe-

ter Suchenwirt etc.

In fact, medieval heralds were military people who serve at the court of lords of manors or heads of order of chivalry. In addition to diplomatic and ambassadors, they had the functions of messengers, they were sent to the courts of the nobility with invitations to tournaments, there they exhibited and blazoned coats of arms for audience, and expressed judgments about their authenticity. The heralds were the announcers at the tournaments, proclaiming the rules to the knights. «High and powerful princes, lords, barons, knights and squires, each and every one of you, please raise your right hand on high, towards the saints, and all together, as you will in the future, promise and swear by the faith and promise of your body, and on your honour, that you will strike none of your company at this tourney knowingly with the point of your sword, or below the belt, and that no one will attack or draw on anyone unless it is permitted, and also that if by chance someone's helm falls off, no one will touch him until he has put it back on, and you agree that if you knowingly do otherwise you will lose your arms and horses, and be banished from the tourney; also to observe the orders of the judges in everything and everywhere as they order delinquents to be punished without argument; and also you swear and promise this by the faith and promise of your body and on your honour» [5].

All the ceremonies associated with the nobility, chivalry and royal families were under their jurisdiction. All the important events such as birth, coronation, wedding, funeral, etc demanded special pomp and special attention. They provided many opportunities to demonstrate their status and wealth, and also reflected the medieval longing for luxury and beauty. Heralds conducted such ceremonies, regulated the process, semantics and syntactics of the event, taking into account the coherence of the participants and their activity.

«The heralds finished their proclamation with their usual cry of "Largesse, largesse, gallant knights!" and gold and silver pieces were showered on them from the galleries, it being a high point of chivalry to exhibit liberality towards those whom the age accounted at once the secretaries and the historians of honour. The bounty of the spectators was acknowledged by the customary shouts of "Love of Ladies—Death of Champions—Honour to the Generous—Glory to the Brave!" To which the more humble spectators added their acclamations, and a numerous band of trumpeters the flourish of their martial instruments. When these sounds had ceased, the heralds withdrew from the lists in gay and glittering procession, and none remained within them save the marshals of the field, who, armed cap-a-pie, sat on horseback, motionless as statues, at the opposite ends of the lists» [5, p.110].

Gradually, from wandering jesters-minstrels, heralds turned into respected stratum of special status and settled at the courts of kings and other sovereign lords. By the end of the 13<sup>th</sup> century heralds became quite wealthy with high fees. By the end of the 14<sup>th</sup> century heralds acquired a high social status and were identified as experts in various aspects of the wide cultural sphere associated with chivalry. Then their functions became more and more complicated, the staff increased, and colleges of arms with their own hierarchy and activity were formed.

The oldest and still existing institution of the kind is the English College of

Arms. Initially, local emblems, signs of ownership, later family coats of arms, had been chosen at random, but afterwards they were given only by a king. The crown jealously guarded its privileges. During the reign of Henry V, there was a declaration issued on that matter, and during the reign of Elizabeth (daughter of Henry VIII) and her successors, the heralds were sent around the country in order to correct improper coats of arms and register all existing ones. It was certainly connected with the urgent imperative of people able to interpret emblems, draw up rules of composition and pragmatics of arms; connoisseur of genealogy, able to practice ceremonial. These people were heralds.

From about 1260 heralds began to be divided into three ranks: Kings of Arms (in archaic form - Kings of Herald), heralds and pursuivants [8]. The number of members of these categories changed gradually. The first record of the official appointment of a royal herald is believed to be the appointment of the King of Arms of the territory to the north of Trent in 1276. Although the evidence of herald as an official servant attached to a particular organization dates back to 1327, when Edward III created Carlisle Herald.

The English College of Arms was formed in 1484 by the order of Richard III, although in official it had acted since 1344 under Edward III, but formally began working only a century later. Its head is the Earl Marshal of England, and it is hereditary service. For the past 300 years, it has been occupied by the Dukes of Norfolk. Taking into consideration that the Marshal or Earl-Marshal and the Lord High Constable was the first person under the king in military matters, the importance of his diplomatic skills and knowledge in the field of symbolism (banners, crests or images on shields), ritualized behaviour and traditions is quite clear.

The Earl Marshal's Court, dealt with issues of heraldry, was created at the beginning of the 14<sup>th</sup> century. However, after the execution of Edward Stefford in 1521, the position of the Constable became vacant, and in fact was abolished. The Earl Marshal became a single administer in the court, although more often a deputy acts on his behalf. The knightly Court of Honour belongs to the field of civil law.

The staff of the College is divided into three ranks. The highest is the Kings of Arms, which in turn is currently divided into three categories. The main one is «Garter», named due to the fact that initially the holder of the title was supposed to take part in the ceremony of awarding the Order of the Garter. Garter is responsible for representing peers in the House of Lords.

Clarenceux category is named after the brother of Henry V [1] or the brother of Edward IV [2]. Possibly, it comes from the name of the Clare castle - the ancient residence of the Earl of Hereford. Edward III remade him at Clarence, marrying his third son to the eldest daughter of the last Earl. The Kings of arms of that category was in charge of the lands to the south of Trent.

The third was Norroy (to the north of Trent) and Ulster (in the counties of Northern Ireland) merged in 1943. Norroy is considered the oldest title of the type and came from the population of the northern territories of the Norreys. Initially it was called Rex Norroy, Roy d'Armes del North, Rex Armorum del North, Rex de North and Rex Norroy du North [6] and as a separate title was established under Edward IV. Irish King of Arms appeared in the records of the time of Richard II.

However, there is no exact information about what happened to that title prior to Ulster during Edward VI.

The Kings of Arms were responsible for certain territories (marches) and corresponded to the duchies or counties as prince's possessions before their accession to the throne (Lancaster, Gloucester, Richmond and Leicester). Besides, there were also the Kings of Arms for the foreign provinces of Aquitaine, Anjou, and Guyenne, once associated with the English Crown.

The title Falcon King of Arms appeared due to the Royal badges - the falcon of Edward III, afterwards transferred to heralds and pursuivants. At the moment, it is not always clear when it corresponds to King of Arms, or to herald and pursuivants, as well as the period of the title's functioning.

Windsor was probably mistakenly considered by some authors to be the title of King of Arms because of the ancient record «Stephen de Windesore, Heraldus Armorum rege dicto» [4, p.31], which later appeared in other works.

There was also a nominal rather than real title of King of Arms for Marche Herald (March Rex Heraldorum and March Rex Heraldus), derived from the Earls of Marche, during Edward IV time.

Thus, there was a large number of titles (far from all are mentioned here), which remained or were of an episodic character.

Below the Kings of Arms are the heralds: Chester, Windsor, Richmond, Somerset, York and Lancaster (Carlisle, York, Rose Blanche, Blanche Sanglier, Eagle). They differed in time and history of approval. Windsor, Richmond, York and Lancaster were launched under the reign of Edward III. The latter were in honour of the sons, the Dukes of York and Lancaster to be.

The titles of the pursuivants: Rouge Croix, Rouge Dragon, Bluemantle, and Portsullis were taken from the badges. The title Rouge Croix (red cross), the first of the kind, got its name from the red cross of St. George - the sign of the Order of the Garter and the symbol of St. George the patron saint of England. Bluemantle was a tribute to Edward III of France. Rouge Dragon was so named from one of the supporters of the Royal coat of arms as well as the symbol of Wales during the time of Henry VII.

The College, besides the issue of certificates for coats of arms, deals with genealogy records, state ceremonies in all countries of the British Commonwealth. Besides, the «regular» heralds in England, there are «honorary» ones who perform duties from time to time. They are consultants and take part in some ceremonies associated with aristocracy.

Many countries still have such organizations for the issue and registration of coats of arms. Their structure and functions are mostly the same as the College of Arms in London. In Scotland, where heraldry is especially closely monitored, the Lord Lyon is the head of heraldic officials. The heralds are named Albany, Morchmont, Rothesay, and the pursuivants are Carrik, Kintyre, Unicorn, and Ormond.

Ireland had its own heraldic offices. The last head (King of Arms) of the college died in 1487, and in 1553 Edward VI created a new heraldic title of Ulster, which remained throughout life. After the death of the last Ulster in 1940, all mat-



ters relating to heraldry and genealogy are handled at Dublin Castle by the Chief Herald of Ireland, who is appointed by the Irish government. All the duties were shared between England and Ireland, and copies of all available genealogical and heraldic documents of Dublin Castle were transferred to London College.

Heralds had their own uniform and regalia of their dignity. Now they are used exclusively in England and Scotland on very special occasions such as coronations. The heralds wore the lord's coat of arms on their garment. A tabard was an essential detail, but changed its composition significantly. Since the 13<sup>th</sup> century it was rather a cape cut in the form of a cross with longer and shorter ends. Low-rank officials wore the cape in such a way that the longer ends were obtained on the arms, and the shorter ones on the back and chest. For a higher rank, the cape was worn back to front. A similar practice was used in England in the 15<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> centuries. It happened that the heralds did not wear images of their lord. Such things are described in detail in the «Book of Tournaments» by King Rene of Anjou [3]. In the 16<sup>th</sup> century different ranks used different fabrics for tabard (Kings of arms - velvet, heralds - satin, pursuivants - damask silk).

Heralds also had crowns, neck insignia and scepters of their position. The main element for signs and scepters was the coat of arms of Great Britain with various additions special for a particular position. The Kings of Arms and heralds wore the SS chain, which causes a lot of disputes. For the heralds, it was silver, for the Kings of Arms - gilded. In heraldic practice, it remained, among the other things, as a badge, placed around the shield of some officials (for example, the Lord Chief Justice). The English heralds had no official insignia, in contrast to the Kings and pursuivants. However, some of the heralds had them. In Scotland and Ireland, in particular, the heralds wore a badge on a ribbon.

Garter King of Arms has a gold badge, impaled with the cross of St. George and the coat of arms of a king, within the Garter with a motto, and ensigned with a Royal crown.

On a wide green ribbon Lion King of Arms has an oval sign with a thistle below, and an imperial crown at the top - a three-dimensional image of St. Andrew with his cross in front, on the back - the coat of arms of Scotland.

Ulster wears a gold sign with the cross of St. Patrick impaled with the coat of arms of Ireland. The reverse exhibits a red cross on gold ground, the chief carries the Lion of England between the Harp of Ireland and the Portcullis. The sign is placed on green enamel surrounded by shamrocks.

The image of the coats of arms of the main Kings of Arms are manifested slightly different, having emphasized the primacy of England, and presented the French fleur-de-lis, and Norroy and Ulster have a shared sign.

The signs of the heralds corresponded to the emblems of the House of York and Lancaster (roses) and their realms, and the signs of the pursuivants corresponded to their names.

Until the 14<sup>th</sup> century coats of arms could sometimes be assigned arbitrarily, but afterwards only by special licence of a king. The first such certificate was issued by Edward III. Then that right passed to Kings of Arms. The Kings of Arms, by approbation of the Earl-Marshal, granted the emblems for special merit. Scot-

land and Canada are not under the jurisdiction of the Kings of Arms. In 1484, by the charter of Richard III, the English heralds received corporation status and premises in the City of London called Coldharbor. However, Henry VII gave the building to his mother, and until 1558 the heralds were left without a special building.

Then heralds performed their duties in the palace or at home. Later they were assigned a building (Derby house) near St. Paul's Cathedral, and when it had burned down, a new one was built. Now the College is located in a 3-storey building of the 17<sup>th</sup> century, where the High Court of Honour, the Chambers of Heralds and a collection of documents are located. The archive is very extensive and is closed for free access. Clients can make an appointment with the herald in written form. At the central entrance, the banner of the herald on duty is hung on a flag-pole. The chamber includes 13 officials. The herald's working day (duty) lasts from 10 to 16 hours. Only employees have access to the archives of the College. The heralds are appointed on the recommendation of the Earl Marshal by the Queen, who grants them certificates with the Great Seal of the United Kingdom attached. The heralds receive their salary from the Queen, and some income from clients. Registration of the genealogy follows a specific procedure, after careful checking in the presence of the two Experts approved by the College. The process of issuing emblems begins with a request, followed by consultations, drawing up a draft emblem, checking; then the artist draws the coat of arms on special paper, a certificate is issued, signed by Garter King of Arms and local King of Arms. The heraldic society is still quite viable, it is run by the Council in London, publishes the quarterly magazine «Coat of arms» and has a store and publishing house «Heraldry Today».

The College of Arms in London is the oldest example of such institution and reflects the historical regularity of tradition in British culture. The College not only preserves the ancient custom of coats of arms possession and ceremonial, it connects countries through people of the same roots. The British nation is usually characterized by pedantry, respect for tradition and stiffness. Gentle has always to uphold the reputation. The aristocratic elite tried to comply with this requirement. The College is the standard and the legislator of aristocratic life and etiquette. Besides countries, orders of chivalry possess heralds.

Most European countries still have some kind of associations related to heraldry. In Italy, it is the Collegio Araldico, made up of experts in heraldry and genealogy. The Nobility Association formed as the Heraldic Consulate under the patronage of its founder, King Umberto II.

In South Africa, the Heraldic Office and the Heraldic Council were established in 1962 to grant and register coats of arms and other emblems. The rank of herald was appointed as the head of the Office. The Heraldic Council consists of the rank of herald and seven other officials appointed by the responsible minister in the government.

In Germany, heralds form a very multilateral guild with King of Arms as a head. All the German Lands had their own King of Arms. Their names were given by the name of the territory falling under their jurisdiction, sometimes their names were arbitrary.

In France, the earliest organization is attributed to Louis VII, but it was fully developed under Charles VI. The College of Arms was created in 1407, but for the next two centuries the heralds had no authority. Their number increased to thirty, and their names were borrowed from realms; the exception was the herald of a king (Montjoie). Louis XIII in 1615 approved the office of General Judge of Arms, whose position was similar to that of Lord Lyon. The decree of Louis XIV of 1696 ordered all persons with coats of arms to register them. Those who did not have coats of arms were forced to buy them. However, in 1760 coats of arms were taken away from the peasants and artisans. The French Revolution abolished coats of arms. Now, although France is a republic, the possession of coats of arms by untitled persons is quite possible.

There has been a significant evolution in heraldry of the United States. After the American Revolution, the use of coats of arms, especially coats of arms of English surnames, continues. The College of Arms requires people of English and Welsh descent to be under its heraldic jurisdiction. Lord Lyon is in charge of people of Scottish descent throughout the world. The College once expected to have world jurisdiction over people who could have anything to do with Britain. Often, Indian princes, not directly related to Great Britain, received coats of arms from the College of Arms. Many Americans also choose to receive coats of arms from the College or from Lord Lyon. Irish Americans often receive coats of arms from Dublin, from the Ulster King or his assistant. Americans, living in territory formerly owned by Spain, fall into the office of the Spanish King of Arms. It is also applied to people of Spanish origin throughout America, however, now only the former Spanish colonial lands are under his jurisdiction. The current position of emigrants' coats of arms is rather confusing. For Americans, receiving chivalry from foreign authorities means only «honorary chivalry». Moreover, it is an extremely undesirable procedure. The illegal assignment of coats of arms often takes place. Such coats of arms are a symbol of a name, not a person. There were attempts to create an American College of Arms. Boston's new English Historical and Genealogical Society appointed the Heraldry Committee, which has been dealing with coats of arms since 1928. The American College of Heraldry and Arms was founded in 1966, it is divided into two parts: the American College of Arms (individual coats of arms), College of Arms of the United States (coats of arms, crests, mottos, corporate banners), which deal with the granting and registration.

As already mentioned, in all the countries where heraldry existed, special institutions were created for the correctness and legality of its application. However, in Russia there has been neither an order in this area, nor a clear structure of the heraldic organization. There was no single hierarchy of ranks and even fixed titles for them. There is little evidence for the Russian College of Arms, describing only its activities in supervising the military and civil service of the nobles, in issuing coats of arms, Rolls and patents for coats of arms.

The inculcation of Western traditions by Peter the Great, transforming the socio-cultural situation in the country, introduced a legal aspect to the emblem. Adherence to Western models of aristocratic culture could not fail to include heraldry in its sphere as one of the main attributes. The assimilation of foreign

cultural traditions is characteristic of Russia, but it is imposed on its own cultural norms, which happened also to heraldry. So Count Francesco Santi, one of the founders of Russian classical heraldry, built it on the basis of Western European models.

Heraldry requires special order and, as a result, a certain institution. Still heraldic practice developed quite successfully before the period of systematization, but it was just emblems rather than classical heraldry. In general, it was typical for Europe as well. Classical heraldry was formed on a very specific socio-cultural basis, which was different in Russia. Besides, at the origin of classical heraldry in Russia stood foreigners, who, although being experts in their field, did not fully delve into the specifications of Russian emblems.

The College of Arms, formed in 1722, was the first institution that dealt with coats of arms. At the same time in Moscow from 1722 to 1871 there was a Chancellery of the Moscow Heraldry, which functions coincided with the College, which in 1763 became subordinate to the General Assembly of the Senate Departments, and in 1765 was transformed into the Heralds Office under the First Department of the Senate. In 1800 it was transformed into the Heralds Office, which underwent significant structural changes in the 30s of the 19<sup>th</sup> century. In 1848 it became the Department of Heraldry of the Government Senate, and in 1857 the Armorial Section of the Department of Heraldry was formed, which was abolished after October 1917. A year after its foundation, the College of Arms transferred to St. Petersburg.

In April 1918, after the Revolution, the Armorial Section was transformed into the Armorial Museum, which in July 1931 became the Cabinet of the Auxiliary Historical Disciplines as part of Leningrad Department of the Central Historical Archive. After 25 July 1939, it became the Archives Office at the Central State Archives in Leningrad.

At the end of 1980<sup>th</sup> in state and public spheres, a process of active heraldic compiling can be mentioned. In May 1987, the Heraldic Commission of the Department of History of the Russian Academy of Sciences was established. On 20 February 1992, the State Heraldic Service was formed, exercising its rights as an independent administration of the Committee for Archives under the Government of Russia, then transformed into the Board of Heraldry of the State Archival Service, and then into the State Heralds Office under the President of the Russian Federation, as an independent department of the Presidential Administration of the Russian Federation.

Transformations and constant transition had a negative effect on office work, which had already been in a mass. The Russian State Archive of Ancient Acts still stores the remaining documents of the College of Arms of the 18<sup>th</sup> century. Nevertheless, within the framework of the heraldic service, brilliant experts were involved in all aspects (V.E. Adodurov, A.P. Barsukov, I.S. Bekenshtein, V.K. Lukomsky, I.V. Chernavsky, M. M. Shcherbatov, etc). The College of Arms was closely connected to the Academy of Sciences.

College of Arms is a structuring semiotic institution in Russia, associated with coat of arms compiling, regulation, fixation, directing spontaneous Russian

emblem within the framework of heraldic science, and making it legitimate.

Thus, heraldic institutions in Russia were in a constant movement, which had a deplorable effect on the archives. However, heraldry and its servants still functioned quite successfully, although in modern times it is characterized by not very high level of professionalism. Perhaps «mobility» of the institution is explained by the borrowed status of heraldry, the history of which is connected, first of all, with Western Europe.

Summing up, it can be noted that the Colleges were a structuring factor in the general space of heraldry, and the heralds were experts in the field of weapons and armour, connoisseurs of history, literature (classical and folklore), foreign languages, as well as the mystical properties of plants, animals, precious stones, flowers, etc. They were in charge of drawing up, identification, interpretation, blazon, and fixing coats of arms, all secular ceremonies, ambassadorial and diplomatic functions, including negotiations, summons, etc, as well as the functions of secret messengers between knights and their ladies. Some functions vanished in the course of time, along with the transition to pure paper work, but, in general, the duties of the heralds remained unchanged. The breadth of their functions reveals the serious training of the staff and the importance of the institution.

Heralds, who directed local emblematic traditions into the mainstream of classical heraldry, played an important role in the formation of coat of arms in Russia. Symbolism, had been functioning for centuries, enriched the Western tradition, creating the so-called «Russian heraldry», an original cultural phenomenon.

At the moment, pragmatics of heralds, as heraldry itself, has shifted more to the attribution and to theory and research, however, practice is also in use in the social sphere and some others. It is especially urgent to Russia due to the popularity of coats of arms as an attribute of exclusivity.

## REFERENCES

1. Arsen'ev Ju. V. *Geral'dika. Lekcii, chitannye v Moskovskom arheologicheskom institute v 1907–1908 godu* [Heraldry. The lectures given at Moscow Archeological Institute in 1907–1908]. Kovrov, RGGU Publ., 1997. 368 p. (In Russian)
2. Foli Dzh. *Jenciklopedija znakov i simbolov* [An encyclopaedia of signs and symbols]. Moscow, Veche Publ., 1997. 509 p. (In Russian)
3. *A Treatise on the Form and Organization of a Tournament* // Roi René. *Forme et Devis d'un Tournoy* /Bennett E. *King René's Tournament Book* (Translation based on the text of Appendix VII). Режим доступа: <http://medieval.mrugala.net/Seigneurs%20et%20nobles/Traite%20d'un%20tournoi%20du%20roi%20Rene/Traduction%20anglaise.html#Honor> (дата обращения 15.07.2019). (In English)
4. Fox-Davis A. Ch. *The Art of Heraldry. An encyclopaedia of armory*. New York – London: Blom, 1968. 503 p. (In English)
5. Scott W. *Ivanhoe*. GlobalGrey, 2019. 544 p. (In English)
6. Slater S. *The complete book of Heraldry. An international history of heraldry and its contemporary usage*. London: Lorenz books, 2002. 264 p. (In English)

7. *The Iliad of Homer* / Translated by Alexander Pope. London, New-York, Toronto, Melbourne, 1909. 460 p. (In English)

8. Woodcock Th., Robinson J. M. *The Oxford Guide to Heraldry*. Oxford, New York, Melbourne, Toronto: Oxford University Press, 1990. 233 p. (In English)

© 2021 г. Е.В. Склизкова

*Малютина Инна Анатольевна,  
кандидат филологических наук, доцент  
кафедры гуманитарных наук и дизайна  
РГУ им. А.Н. Косыгина*

### **ЧЕШСКИЙ ПИСАТЕЛЬ XX ВЕКА Ф. НЕПИЛ: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОЙНЕ**

**Аннотация:** Статья знакомит с творчеством популярного чешского писателя, радиоведущего, автора текстов для эстрадных исполнителей и сценариста Франтишека Непила (1929 – 1995), известного русскоязычному читателю только по детской книжке «Я, пёс Барик», опубликованной на русском языке в 1982 г. Основные тематические направления в литературном творчестве Ф. Непила – это современность с ее актуальными проблемами и национальная история и культура, о безусловной ценности и богатстве которых, будучи их глубоким знатоком, он с упоением рассказывал своим читателям и слушателям. Чешское культурное краеведение, социология и философия современности в его творческой манере превращались в простой разговор о сложном. Способность творчески преображать действительность, видеть в ней радостное и жизнеутверждающее начало, умение убеждать в том, что в повседневной, будничной жизни есть много счастливых минут, связанных именно с «вечными» ценностями, делали Ф. Непила популярным. В такой повествовательной авторской манере, которая во многом является продолжением национальной литературной традиции (Я. Гашек, К. Чапек, Б. Грабал и др.) писатель делится своими впечатлениями о поездке в Хорватию в начале 1990-х гг. во время военного конфликта. Рассказывая об этой войне, Ф. Непил подчеркивает, что война как феномен социоисторического развития обнажает внутреннюю сущность человека и общества, но, разрушая материальное, не может быть сильнее жизнеутверждающего начала; становясь пространством межкультурной коммуникации, война активизирует процесс национальной самоидентификации и признание общечеловеческих ценностей основополагающими. Статья вводит в научный оборот впервые переведенные на русский язык страницы книги Ф. Непила «Dobrá a ještě lepší jitra» (1996), автор перевода – И.А. Малютина.

**Ключевые слова:** Чешский писатель XX века Франтишек Непил, творческая манера Ф. Непила и национальные традиции чешской литературы, «Dobrá a ještě lepší jitra» (1996), война в Хорватии (1991 – 1995), Дарувар, Пакрац.

В русском литературном и культурном пространстве чешский писатель Франтишек Непил (1929–1995) известен очень мало (Илл. 1, 2, 3). В учебнике Р.Р. Кузнецовой «История чешской литературы» (1987) [1] и в двухтомном труде «История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны»

(1995) [2, 3] имя Франтишека Непила не упоминается. В 1982 г. на русском языке вышла его книга «Я, пёс Барик» в переводе Веры Петровой, с рисунками Хелены Зматликовой [4]. Книги для взрослых, написанные Франтишеком Непилом, на русский язык не переводились, он мало знаком русскоязычному читателю, поэтому представляю этого писателя: Непил «закончил коммерческое училище (выпуск 1948 г.), работал рекламным агентом и автором текстов, с 1969 г. был редактором на Чешском радио, а с 1972 г. писателем, который стал популярным, главным образом, благодаря своим утренним выступлениям на радио, много писал для детских журналов, был автором сценария ряда сказок, поставленных на телевидении для детей. Широкий отклик нашли две книжки Ф. Непила “Август с Бейбинкой” (1966) и “Как построить дом” (1968). Главным образом, вторая из них сосредоточила внимание на общенародном “дачном” подъеме, означающем возможность уйти от напряженных общественных ситуаций, а Непил обнаружил неотразимую манеру обращения к читателю в рамках этой темы. Она сохраняется и в следующих его книгах (напр., “Спокойной ночи лисичкам”, 1971; “Ох вы, лапти мои!”, 1982; “Доброго и ещё лучшего утра!”, 1983; “Малый атлас моего сердца”, 1991). Форма свободного остроумного размышления, очень личного и эмоционального, юмористического, дружеского настроения – эта форма, в которой он, не колеблясь, шутил и сам над собой, уходит глубоко в деревенские традиции, основывается на отношениях и опыте поколений. Свободная и шутившая повествовательная манера Ф. Непила была для читателя постоянным и реально ощущаемым жизненным впечатлением, так же воздействовали на него и радиовыступления Непила» [5, 634-635] (*здесь и дальше перевод с чешского языка мой. – И.А. Малютина*).

Такая популярность Непила у чешских читателей и радиослушателей объясняется не только его умением доступно говорить о социальных и философских вопросах, но и способностью этого писателя преображать действительность, радоваться жизни, увидеть в повседневности яркие, чудесные моменты.

В своем творчестве Ф. Непил развивал литературную традицию и манеру общения с читателем, свойственную Вацлаву Чтвртеку (1911–1976), автору сказок и других произведений для детей и молодежи. «Они оба основывались на своем жизненном опыте, манера повествования Чтвртека вдохновила Непила, но он делал это по-своему. Люди любили его за оптимизм и человечность. Всю жизнь он делился с другими радостью и смехом, и, возможно, поэтому дети и взрослые любили его произведения» [6].

Приведу слова долголетнего коллеги Франтишека Непила актера Мирослава Горничека, для которого писатель создавал тексты эстрадных выступлений: «Если бы мне надо было сказать, кем был Франтишек Непил, я бы сказал, что он был рассказчиком. А это редкость, потому что рассказчиков все меньше. Если бы в какой-нибудь стране уменьшались запасы глины, исчезали бы и гончары. А рассказчиков все меньше в мире потому, что исчезают слушатели. Дело в том, что рассказывать надо уметь. Это почти так же трудно, как и слушать. Франтишек Непил прирожденный рассказчик, воз-

можно, это не столько его профессия, сколько призвание. Его речь не дает человеку спешить. И мы только потом понимаем, что мы, собственно, никуда не торопились и время, проведенное с Франтишекком Непилом, было добрым и благословенным» [7]. Мирослав Горничек сказал это в 1999 г.

Традиции чешской литературы, возникавшие с момента ее образования, создали основу литературной и культурной проблематики, востребованной на всем протяжении развития чешской культуры. Безусловно, важнейшая тематическая историко-культурная и социально-политическая составляющая, определявшая размышления и взгляды чешских писателей в XX в., – это долгий путь борьбы Чехии за государственную и национальную независимость, за её сохранение в современных условиях, в современном европейском геополитическом пространстве с его конфликтными ситуациями и войнами. При этом вопрос национальной и культурной самоидентификации современника был очень важен для чешской литературы XIX – XX вв., обсуждается он и нынешними писателями и деятелями чешской культуры.

События и опыт Первой и Второй мировых войн XX в. отразили в своем творчестве Я. Гашек (1883–1923), К. Чапек (1890–1938), В. Ванчура (1891–1942), М. Кундера (род. в 1929 г.) и другие представители чешской литературы, о чем рассказывается в «Истории чешской литературы» Р.Р. Кузнецовой [1] и в «Истории литератур Восточной Европы после второй мировой войны» [2, 178–247].

В книгах Ф. Непила есть несколько «военных» страниц, которые представляют собой его воспоминания о военном прошлом страны и рассказы о личных впечатлениях о военных событиях современности. Несколько таких страниц есть в книге «Dobrá a ještě lepší jitra» («Добрые – и еще лучшие – утра»), изданной уже после его смерти в 1996 г. Тематика этого сборника рассказов Ф. Непила обширна: он пишет о современных и исторических событиях, о культурном наследии своей страны, о людях простых и выдающихся, вошедших в историю, и даже – на популярном уровне – касается вопросов лингвистического характера. Очень важны для писателя вопросы справедливости, гуманизма и достоинства человека. При этом он умеет оставаться интересным для любого читателя-современника благодаря своему интересу к событиям прошлого и современности и умению радоваться жизни, которая для него, как и для его читателей, во многом состоит из повседневных мелочей.

В заключительных главах этого сборника Ф. Непил рассказывает о своей поездке в Хорватию в начале 1990-х гг. Период с марта 1991 г. по ноябрь 1995 г. был временем войны в Хорватии, когда причиной военного конфликта на территории бывшей социалистической республики Хорватии стал ее выход из состава Югославии и когда существовала самопровозглашенная Республика Сербская Краина. Этот конфликт сопровождался взаимными этническими чистками хорватского и сербского населения. В то время Ф. Непил посетил Дарувар, курортный город на севере Хорватии, примечательной особенностью населения которого является высокий процент чехов (21% населения по данным переписи 2011 г.), в нескольких населенных пунктах



этой местности чешский признан вторым официальным языком. Во время войны в Хорватии в первой половине 1990-х гг. в окрестностях города велись бои, причинившие большой ущерб.

Об этом городке Ф. Непил пишет так: «Дарувар – это чешское сердце, чешский центр, где чешское – всё, что угодно, где есть чешская школа имени Я.А. Коменского, чешское издательство “Еднота”, чешский детский сад имени Ферди Мравенца, чешский “Союз чехов” в Хорватии и, не в последнюю очередь, чешская булочная пана Колачека. И всё чешское здесь живо, действует и работает на высоких оборотах, вопреки тому, что уже четыре года судьба приносит им много других забот. В городе и в окрестных селах живет несколько тысяч потомков чешских переселенцев. Они живут здесь уже в пятом поколении, и те, с кем мы общались, говорили по-чешски, как я или вы, но чище, без элементов пражского разговорного» [8, 138].

В этом отрывке, как во многих произведениях Ф. Непила, ярко выражена основная задача чешских писателей любого исторического периода в развитии национальной литературы, которую не заслоняет творческое общение с европейской и другими мировыми литературами и культурами, – это сохранение и развитие национальной культуры и, в частности, литературных традиций и проблема самоидентификации соотечественника. Это также изображение национального характера, одна из черт которого – свободное и радостное отношение к жизни и к человеку, умение ценить то, что жизнь тебе дает.

Это ярко показано в рассказах «У пана Кубалека» и «Про свинину», вошедших в сборник «Dobrá a ještě lepší jitra» Ф. Непила. Тогда писатель побывал в местечке Пакрац, вдоль одной из улиц которого в первой половине 1990-х гг. проходила линия фронта:

«Дома полевой стороне были заняты сербами, дома по правой стороне – хорватами, но и на левой, и на правой стороне были слепые, выбитые выстрелами окна, и казалось, что нигде нет ни души, не то что пальца на спусковом крючке.

Штукатурка на этих трёх- и четырёхэтажных домах была только кое-где, а по тротуарам ходили люди, которых легко можно было пересчитать. Так что мы очень обрадовались, когда <...> выехали с этой линии на другие разрушенные улицы, где было более оживленно, где кто-то что-то приносил и уносил или вёз на тачке. Совсем хорошо нам было, когда мы остановились на самой верхней улице. Она была уже не четырёхэтажная, на ней были самые маленькие домики и садики, только каждый второй домик был подстрелен, а остальные были немножко подремонтированы, чтобы дождь не капал хотя бы в одной комнате в домике» [8, 142].

Гражданская война дестабилизирует развитие народной культуры и разрушает ее, но обнажает внутреннюю суть происходящего в людях, и тогда обычной чертой мировоззрения тех, кто вынужден переживать войну, является сожаление и боль от причиненных войной разрушений и стремление к обычной, мирной жизни, которое выражается даже в простых чертах бытово-

го уклада. Это подчеркивает и Ф. Непил, вспоминая военные события из своей ранней юности:

«Знаете, я уже такой старый, что много чего видел своими глазами, и не только на экране кино или телевизора. Когда в Праге в 45-м году закончилось восстание, для меня был ошеломляющим впечатлением вид на угловой дом на Вацлавской площади, то есть на здание, на месте которого потом построили продуктовый магазин, – как он рассыпался прямо до задней стенки пьедестала памятника святого Вацлава. <...> Здесь, в городке на линии фронта и перемирия, меня, однако, ошеломило кое-что совершенно другое. <...> меня здесь поразил этот порядок и чистота на улицах. Эти тротуары и проезжая часть дороги в городке, в котором взрывалось три-четыре тысячи артиллерийских гранат ежедневно, были подметены и убраны, как – пусть простит меня городское управление – как улицы нашей Матери городов, когда меня там как раз нет» [8, 142–143].

Самое сильное впечатление у писателя оставило посещение одного из разбитых и подремонтированных домиков одного из жителей Пакраца, чеха, который был гостеприимен, как настоящий мораванин, как будто и не было войны. И всё-таки она была, и рассказ этого человека Непил передает в одной из глав своего сборника:

«Когда сербы стали стрелять по Пакрацу, он должен был уйти оттуда вместе с остальными, и в городке остались только старики, у которых не было сил для эвакуации. И с ними остались трое сербов. Приятели, с которыми он дружил всю жизнь. Они пообещали ему, что будут кормить оставшихся у него поросят, если, конечно, их не реквизируют сербские солдаты». Только в эвакуации не получали никакой гуманитарной помощи и нечего было есть, и «когда он узнал, что сербы хоть и заняли город, но сами стоят за долиной, в трёхстах метрах, а улицы городка расстреливают из орудий, он решил потихоньку вернуться в Пакрац и, если его поросята еще там, зарезать их, и пусть Брижит Бардо думает о нем, что хочет» (*Брижит Бардо – род. в 1934 г., французская актриса, активистка движения за права животных. – прим. перев.*). С опасностью для жизни он вернулся в Пакрац. «У его товарищей-сербов просто камень упал с сердца, когда он подъехал к своему домику, потому что у них закончились продукты и они были рады получить немного свинины – в благодарность за уход». Под обстрелом они зарезали поросят. Отправляясь обратно, этот чех взял с собой трёх бабушек-соседок, которые уже не могли ходить и которым негде было спать – во время обстрела были разрушены их дома. Но там остались еще три другие соседки – «у них была крыша над головой. Только утром наша сторона городка была занята и они погибли. Никто из стариков, оставшихся там, не выжил. Если бы я взял их с собой, сейчас они были бы здесь. Теперь они на моей совести» [8, 147–150].

Рассказывая о жизни чешской общины в деревушке Иваново Село, Ф. Непил отмечает: «Я знаю, что у чешских радиослушателей уже аллергия на сообщения о боях, и потому ограничусь словами о том, что эта деревушка уже получила своё в 91-ом году. Двадцать пять чешских имен составляют список ее жертв, и третья их часть похоронена под памятником на деревен-

ской площади. Их судьбы объединяет угрожающе одинаковая дата нападения на Иваново Село – 21 сентября» [8, 151].

Эта поездка в прифронтовой Дарувар дала писателю возможность сказать своим читателям очень важные вещи – важные для того, чтобы сохранялся мир, важные для всех – и для тех, кто не знает, что такое война, и для тех, кто воюет или страдает от войны. Сказать их позволяет писательский взгляд на окружающее, несколько иной, чем у других людей, подмечающий детали, подводящий к важным выводам:

«Если я в чем-то завидую хорватам, так это их гордости государственным флагом. Как же это было давно, когда в нас пенилась кровь, которую мы пролили при разрыве со Словакией и потом за это заплатили, и вас, вероятно, мало, тех, кто помнит, у скольких людей текли из глаз слезы, когда наш флаг поднимался на флагштоке? А кто из нас его теперь вывесит во время государственного праздника? Я бы не много дал за то, что в этом году 28 октября (*это День независимости, День возникновения самостоятельного чехословацкого государства в 1918 г. – прим. перев.*) я был в Праге единственным, кто вывесил из окон хотя бы два флажка. Почему вы только пишете мне, что это стыдно, что в день государственного праздника не висят флаги, почему не вывесите тоже – если бы их вывесила только четвертая часть тех, кто возмущен этим безразличием, наши улицы и города были бы неузнаваемы. В Хорватии эти их флаги реют, развеваются в городах, сёлах и на отдельных строениях, и я уверен, что люди, которые их вывешивают, должно быть, много рискуют, когда дело становится серьезным. Не знаю, уместно ли говорить о том, что война и борьба имеют и свои положительные стороны, но они их имеют. Именно в них укрепляется чувство принадлежности к семье, к обществу и, конечно, к Родине. И если есть что-то, характеризующее нас, то это барьеры между родителями, детьми и стариками, когда одни воротят нос от других. Но гранаты и пожары пробуждают во всех поколениях облагораживающую тревогу за другого, укрепляют сознание, что я кому-то принадлежу и кто-то принадлежит мне, и выжить гораздо легче, если мы не потеряем себя» [8, 154–155].

Как мы можем судить по этому отрывку, у Франтишека Непила есть уверенная гражданская позиция, любовь к жизни и к родине, интерес к людям и к окружающему миру. Впрочем, эти черты, как показывают лучшие произведения чешских писателей, составляют своеобразие чешского менталитета и отражают суть национального взгляда на жизнь и человека в ней и перекликаются с лучшими страницами чешской национальной литературы и культуры – с классическими произведениями К.Я. Эрбена, Б. Немцовой, Я. Гашека, К. Чапека, В. Ванчуры и многих, многих других.

В 2020 г. исполнилось 25 лет со дня смерти Франтишека Непила. Четверть века – долгий срок, его книги запечатлели вчерашний день и человека, каким он был вчера – глубоко переживающим всю сложность жизни и при этом добрым с людьми, любящим родину и жизнь, книги и природу, умеющим радоваться каждому дню и даже в трагических ситуациях извлекать урок для себя и видеть хорошие стороны. Это и есть основа национального

характера, воплощенная в книгах этого замечательного чешского писателя и ставшая литературной традицией и национальным достоянием.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецова Р.Р. История чешской литературы. – М.: Издательство Московского университета, 1987. – 345 с.
2. История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны: В 2 т. / отв. ред. В.А. Хорев. – М.: Издательство «Индрик», 1995 – 2001. – Т. 1. – 1995. – 696 с.;
3. История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны: В 2 т. / отв. ред. В.А. Хорев. – М.: Издательство «Индрик», 1995 – 2001. – Т. 2. – 2001. – 760 с.
4. *Непил Франтишек*. Я, пёс Барик (пер. В. Петровой). – М.: Детская литература, 1982. – 46 с.
5. *Chaloupka Otakar*. Příruční slovník české literatury od počátků do současnosti. – Brno: Centa, spol. s r. o., 2005.
6. <https://zivotopis.spisovatele.cz/frantisek-nepil.php>
7. [https://cs.wikipedia.org/wiki/František\\_Nepil](https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Nepil)
8. *Nepil F.* Dobrá a ještě lepší jitra. – Horní Bříza: Granát, 2000. – S. 138.

## THE CZECH WRITER OF THE XX CENTURY F. NEPIL: A FEW WORDS ABOUT THE WAR

*Malyutina Inna Anatolyevna*  
*PhD in Philology,*  
*Associate Professor*  
*Department of Humanities and Design*  
*The Kosygin State University of Russia*

**Abstract:** The aim of the article is to introduce work of a popular Czech writer, radio host, author of texts for entertainers and a screenwriter Frantisek Nepil (František Nepil) (1929 - 1995). He is known as a writer of a book "I'm a dog Barik" to many Russian-speaking readers. This book was published in Russian in 1982. The main thematic directions in the literary work of F. Nepil are the contemporaneity with its current issues and the national history and culture, whose unconditional value and richness were described in his works with knowledge of a deep connoisseur. Czech cultural studies, sociology and modern philosophy in his creative manner turned into a simple conversation about the complex. Specifically, his ability to creatively transform reality, to see it in its joyful and life-affirming inception, the way he could convince anyone that our daily life is full of happy moments associated precisely with "eternal" values, all of it made F. Nepil popular. In such a narrative authors manner, which is largely a continuation of the national literary tradition (J. Hasek (J. Hašek), K. Chapek (K. Čapek), B. Grabal (B. Hrabal), etc.), the writer shares his impressions of his trip to Croatia during a military conflict in the early 1990s. Talking about this war, F. Nepil emphasizes that the war as a phenomenon of socio-historical development exposes the inner essence of man and society, however, destroying the material, it cannot be stronger than the life-affirming principles. The war becomes a space of intercultural communication; it activates the process of national self-identification and recognition of universal human values as fundamental. The article enters into scientific circulation the pages of F. Nepil's

book "Dobrá a ještě lepší jitra" (1996), translated into Russian for the first time, the author of the translation is I.A. Malyutina.

**Keywords:** the Czech writer of the XX century František Nepil, the creative manner of F. Nepil and the national traditions of Czech literature, "Dobrá a ještě lepší jitra" (1996), the War in Croatia (1991-1995), Daruvar, Pakrac.

In the Russian literary and cultural space, the Czech writer František Nepil (1929–1995) is unknown (Ill. 1, 2, 3). In the textbook by R.R. Kuznetsova "History of Czech Literature" (История чешской литературы) (1987) [1] and in the two-volume work "History of the Literatures of Eastern Europe after World War II" (История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны) (1995) [2, 3], the name of F. Nepil was not mentioned. His book "I'm the dog Barik" was published in 1982, translated by Vera Petrova, illustrations by Helena Zmatlikova [4]. Books for adults written by F. Nepil have not been translated into Russian, he is little known to the Russian-speaking readers, so I will introduce this writer: Nepil "graduated from a commercial school in 1948, then worked as an advertising agent and author of texts writer, since 1969 he was an editor at Czech Radio, and in 1972 he started his writing career, Nepil become popular mainly for his morning radio performances, he wrote extensively for children's magazines. F. Nepil has written a number of fairy tales scripts which were later staged on children's television. Two books by F. Nepil "August with Bejbinka" (Srpen s Bejbinkou) (1966) and "How to Build a House" (Jak se dělá chalupa) (1968) found a wide response. Mainly, the second one focused on the nationwide rise of the "dacha" concept, meaning the opportunity to escape from tense social situations, and Nepil found an irresistible manner of addressing the reader within the framework of this topic. It is also preserved in his next books (e.g., "Good night to the foxes" 1971 (Lišky, dobrou noc); "Bast shoes" (Střevíce z lýčí), 1982; "Good and even better morning!" (Dobrá a ještě lepší jitra"), 1983; "Small atlas of my heart" (Malý atlas mého srdce, 1991). The form of free witty thinking, very personal and emotional, humorous, friendly attitude — this form goes deep into village traditions, it is based on the relationships and experience of generations. The author did not hesitate to joke about himself within this form. Such a free and playful narrative manner of F. Nepil was a constant and sorely realistic impression for the readers, his radio speeches were also a component of this impression" [5, 634-635] (*hereinafter my translation from the Czech language is presented — I.A. Malyutina*).

Such a popularity of Nepil among Czech readers and radio listeners is explained not only by his ability to speak about social and philosophical issues in an accessible way, but also by the ability of this writer to transform reality, enjoy life, see bright and wonderful moments in every day.

In his work F. Nepil developed the literary tradition and manner of communication with the reader, characteristic of Václav Čtvrtek (Václav Čtvrtek (1911-1976), the author of fairy tales and other works for children and young people. "Both of them wrote based on their own experiences, Čtvrtek's storytelling style inspired Nepil, but he did it in his own way. People loved him for his optimism and

humaneness. His whole life Nepil shared joy and laughter with others, and perhaps that is why children and adults loved his works” [6].

I will quote the words of a longtime colleague of F. Nepil, the actor Miroslav Gornichek (Miroslav Horníček), for whom the writer created texts for variety performances: "If I had to say who F. Nepil was, I would say that he was the storyteller. And this is quite rare, because there are fewer and fewer storytellers nowadays. If the reserves of clay were reduced in any country, potters would also disappear. Likewise, there are fewer storytellers in the world because listeners disappear. The bottom line is that you have to be able to tell the story. It's almost as difficult as listening. Nepil is an innate storyteller; perhaps this is not so much his profession as his vocation. His speech does not allow a person to rush. And only later we understand that in fact we were in no hurry and the time spent with František Nepil was kind and blessed” [7]. These words were said by Miroslav Gornichek in 1999.

The traditions of Czech literature that have emerged since its inception have created the basis for literary and cultural issues that have been in demand throughout the development of Czech culture. Undoubtedly, the most important thematic historical, cultural and socio-political component that determined the reflections and views of Czech writers in the XX century is the lingering history of the Czech Republic's struggle for state and national independence, for its preservation in modern conditions, namely in the modern European geopolitical space with its conflict situations and wars. Meanwhile, the issue of national and cultural self-identification of a contemporary was essential for Czech literature of the XIX - XX centuries; it is also discussed by current writers and people from the domains of Czech culture.

Events and experience of the First and Second World Wars of the XX century were reflected in the works of a J. Hasek (J. Hašek) (1883-1923), K. Chapek (K. Čapek) (1890-1938), V. Vanchura (V. Vančura) (1891-1942), M. Kundera (born in 1929) and other representatives of Czech literature, these works are described in the “History of Czech Literature by R.R. Kuznetsova” [1] and in the "History of the Literatures of Eastern Europe after the Second World War" [2, 178–247].

In the books of F. Nepil there are several "war" pages that capture his memories of the military past of the country; they also contain stories about personal impressions of the military events of modern time. Several of such pages can be found in the book “Dobrá a ještě lepší jitra” (“Good and even better mornings”), published after his death in 1996. The subject matter of this collection of stories by F.Nepil is vast: he writes about modern and historical events, of the cultural heritage of his country, concerning simple and outstanding people who have gone down in history, and even deals with linguistic issues on a popular level. Issues of justice, humanism and human dignity are immense for a writer. In addition, the author knows how to remain interesting for any contemporary reader due to Nepil's interest in the events of the past and the present and the ability to enjoy the lifetime, which largely consists of everyday trifles according to him, as well as for his readers.

In the concluding chapters of this collection, F. Nepil talks about his trip to Croatia in the early 1990s. The period from March 1991 to November 1995 was the time of the war in Croatia, when the reason for the military conflict in the territory of the former socialist republic of Croatia was its secession from Yugoslavia, at this period of time the self-proclaimed Republic of Srpska Krajina existed. This conflict was accompanied by mutual ethnic slaughters of the Croatian and Serb populations. In those days F. Nepil visited Daruvar, a resort town in northern Croatia, notable feature of its population is a high percentage of Czechs (21% of the population according to the 2011 census); in several localities of this area Czech is recognized as the second official language. During the war some battles were fought in vicinity of the city in Croatia, it happened in the first half of the 1990s, these events caused great damage to the city.

F. Nepil writes about this town: “Daruvar is the Czech heart and center, everything here is Czech, there is a Czech school named after J.A. Komensky, Czech publishing house “Ednota” is located here, even Czech kindergarten named after Ferdi Mravenets and “Union of Czechs” in Croatia and, last but not least, Czech bakery of Pan Kolachek (Pan Koláček). Moreover, everything Czech is alive here, acting and working at high speeds, despite the fact that fate keeps bringing many other concerns for these people. Several thousand descendants of Czech settlers live in the city and in the surrounding villages. They continue to live here in the fifth generation, we talked to the locals and they speak pure Czech, it’s more authentic than my or your language, without elements of the Prague colloquial speech” [8, 138].

In this extract, as in many works of F. Nepil, the main aim of Czech writers from any historical period of national literature development is clearly expressed — it is the preservation and improvement of national culture and, in particular, literary traditions, the problem of compatriot's self-identification. It is also an image of the national character, its traits include free and joyful attitude towards life and towards people and ability to appreciate what lifetime gives you. It is important to note that these goals are not obscured by creative communication with European and other world literatures and cultures.

All the above mentioned is clearly shown in the stories "At Pan Kubalek" (Pan Kubálek) and "About Pork" (O vepřovém) included in the collection “Good and even better morning” (Dobrá a ještě lepší jitra) by F. Nepil. At this period of time the writer visited town of Pakrac, in the first half of the 1990s the front line passed along one of the streets of which:

“Some houses on the left side were occupied by the Serbs, houses of the right side by Croats, there were blind windows on both sides, windows knocked out by shots, and it seemed that there was not a soul anywhere, not a single finger on the trigger.

The plaster on these three- and four-story houses was left only in some places, on the sidewalks there were so few people that they could be counted easily. Thus, we were very happy when <...> we left this line and went to other ruined streets, it was more lively there, someone was bringing and carrying something, or talking it away in a wheelbarrow. The stop on the highest street was too good for

us. This street was no longer four-storey, it had the smallest houses and gardens, except the fact that every second house was shot down, and the rest were slightly renovated so that rain would not fall in at least one room in the house” [8, 142].

The Sivil war destabilizes development of folk culture and destroys it, but it reveals the inner essence of what is really happening to people, and then the usual outlook feature of people forced to fight is regret and pain from the destruction caused by war itself and the desire for an ordinary, peaceful life, which is expressed even in simple outlines of daily routine. All this is also emphasized by F. Nepil, recalling the military events from his early youth:

“You know, I am already so old, I saw a lot of things with my own eyes, and not only on the screen of a cinema or TV. When the uprising ended in Prague in 1945, I was overwhelmed by the view of the corner house on Wenceslas Square, I mean the building on the site of which a grocery store was built later. It crumbled right to the back wall of the pedestal of the monument to St. Wenceslas. <...> Here, in the town on the front line and the armistice, I was stunned by something completely different. <...> The order and cleanliness of the streets amazed me. These sidewalks and the carriageway were swept up and cleaned, in the town where 3-4 thousand artillery grenades were exploded every day. They were clean as — may the city administration forgive me — like the streets of our Mother of cities when I’m not there just now” [8, 142 –143].

A visit to one of the broken and renovated houses of one of the inhabitants of Pakrac made a severe impression on the writer. This inhabitant was a Czech, who was hospitable like a real Moravian, as if there had been no war. And yet the war happened, and Nepil tells the story of this man in one of the chapters of his collection:

“When the Serbs started shooting at Pakrac, he had to leave with the others, and only old people remained in the town, they did not have the strength to evacuate. And three Serbs remained with them. These are the people he was friends with all his life. They promised that they would feed his remaining piglets, unless, of course, they were requisitioned by the Serbian soldiers”. However, during the evacuation they did not receive any humanitarian aid and there was nothing to eat. “When he found out that the Serbs, although they had occupied the city, were actually behind the valley, three hundred meters away, and the streets of the town were being shot from guns, the man decided to return to Pakrac and if his piglets are still there, slaughter them. And let Brigitte Bardot think whatever she wants about him” (*Brigitte Bardot - born in 1934, French actress, animal rights activist - approx. transl.*). His return to Pakrac was life-threatening. “His fellow Serbs’ soul was relieved when their friend drove up to the house, they ran out of food and they were happy to get some pork in gratitude for care”. They slaughtered the piglets under gunfire. Going back, this Czech took with him three old ladies his neighbors who could no longer walk and who had nowhere to sleep — their houses were destroyed during the shelling. But there were still three other neighbors — “they had a roof over their heads. Only in the morning our side of the town was occupied and they died. None of the old people left there survived. If I had taken them with me, they would be here now. Now they are on my conscience” [8, 147–150].



Talking about the life of the Czech community in the village called Ivanovo Selo, F. Nepil notes: “I know that Czech radio listeners are already allergic to reports of battles, and therefore I will limit myself to the words that this village has already received its own in 1991. Twenty-five Czech names make up the list of its victims, and a third of them are buried under the monument in the village square. Their fates are united by the threateningly identical date of the attack on Ivanovo Selo - September 21” [8, 151].

This trip to the front line Daruvar gave the writer the opportunity to tell his readers very important things — significant for the preservation of peace, substantial for everyone: for those who do not know what war is and for those who are at war or suffer from the war. They can be said with the help of writer's view of the environment, somewhat different from other people, noticing details, leading to important conclusions:

“If I envy the Croats in any way, it's their pride in the national flag. It was so long ago when the blood foaming in us, which we shed when we broke with Slovakia and then paid for it. There are probably few people who remember how many of those had tears flowing from their eyes when our flag was raised on flag-pole? And which of us will now hang it out during a public holiday? I would bet a little for the fact that this year on October 28 (*An Independence Day, the Day of the emergence of an independent Czechoslovak state in 1918 - Approx. Transl.*) I was the only one in Prague who hung at least two flags from the windows. Why are you just writing to me that it's a shame that flags don't hang on the day of a public holiday, why don't you hang them too — if only a quarter of those who are outraged by this indifference hung them, our streets and cities would be unrecognizable. In Croatia, these flags fly in cities, villages and on individual buildings, and I am sure that the people who hang them must take a lot of risks when things get serious. I don't know if it's appropriate to say that war and struggle have their positive sides, but they definitely have them. It is during such struggles the sense of belonging to the family, to society and, of course, to the Motherland is strengthened. Besides, if there is something that characterizes us, it is the barriers between parents, children and the elderly, when some turn up their nose from others. But grenades and fires awaken in all generations an ennobling anxiety for another, strengthen the consciousness that I belong to someone and someone belongs to me, and it is much easier to survive if we do not lose ourselves” [8, 154-155].

As we can judge from this exact, F. Nepil has a certain civic stand, inexhaustible love for life and for his homeland, interest in people and the world around him. However, these features, as the best works of Czech writers show, constitute the identity of the Czech mentality and reflect the essence of the national outlook on life and a place of human in it. It also resonates with the best works of Czech national literature and culture — with the classical works of K.J. Erben, B. Nemptsova, J. Hasek, K. Czapek, V. Vanchura and many others.

2020 is the year of the 25th anniversary of František Nepil's death. A quarter of a century is a long period, his books captured yesterday life and the person who he was yesterday — deeply experiencing all the complexity of life and at the same time kind with people who love their homeland and life, books and nature,

who know how to enjoy every day and extract lessons for yourself and see the good sides even in tragic situations. This is the basis of the national character embodied in the books of this outstanding Czech writer; it has become a literary tradition and a national treasure.

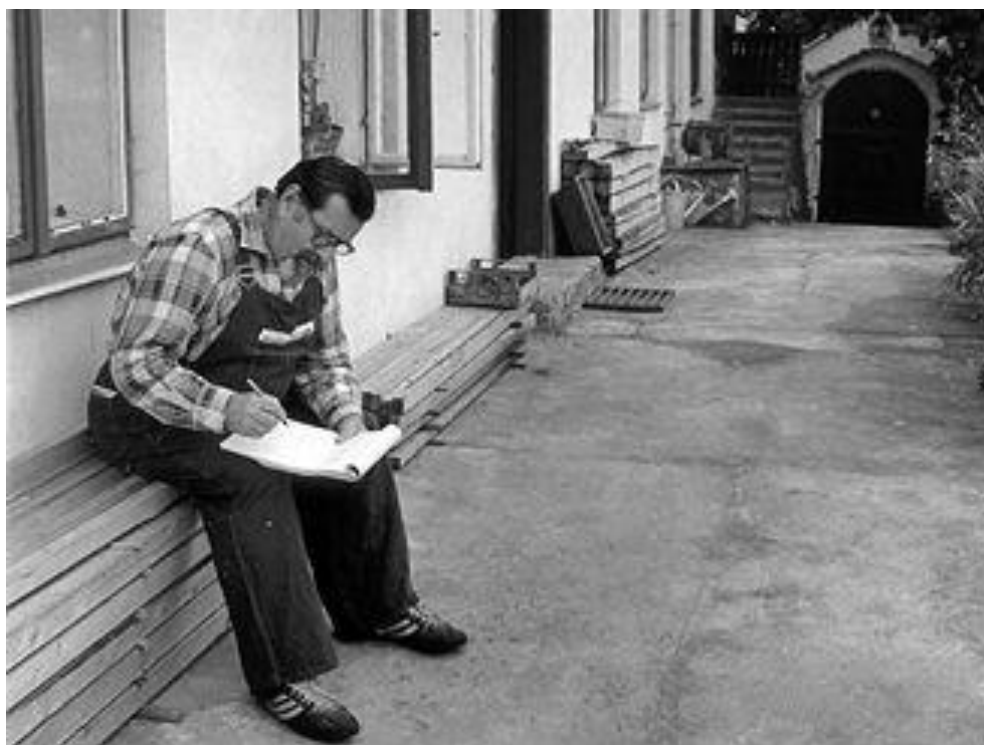
## REFERNCES

1. Kuznetsova R.R. History of Czech Literature. - Moscow: Moscow University Press, 1987. - 345 p.
2. History of Literatures of Eastern Europe after the Second World War: In 2 vols./ Ed. by V.A. Chorev. - Moscow: Indrique Publishing House, 1995-2001. - T. 1. - 1995. - 696 p.;
3. See: History of Literatures of Eastern Europe after the Second World War: In 2 vols. - Moscow: publishing house Indrick, 1995 - 2001. - T. 2. - 2001. - 760 p.
4. See: Nepil Frantisek. I, the dog Barik (translated by V. Petrova). - Moscow: Children's Literature, 1982. - 46 p.
5. Chaloupka Otakar. Příruční slovník české literatury od počatků do současnosti. - Brno: Centa, spol. s r. o., 2005.
6. <https://zivotopis.spisovatele.cz/frantisek-nepil.php>
7. [https://cs.wikipedia.org/wiki/František\\_Nepil](https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Nepil)
8. Nepil F. Dobrá a ještě lepší jitra. - Horní Bříza: Granát, 2000. - 138 p.

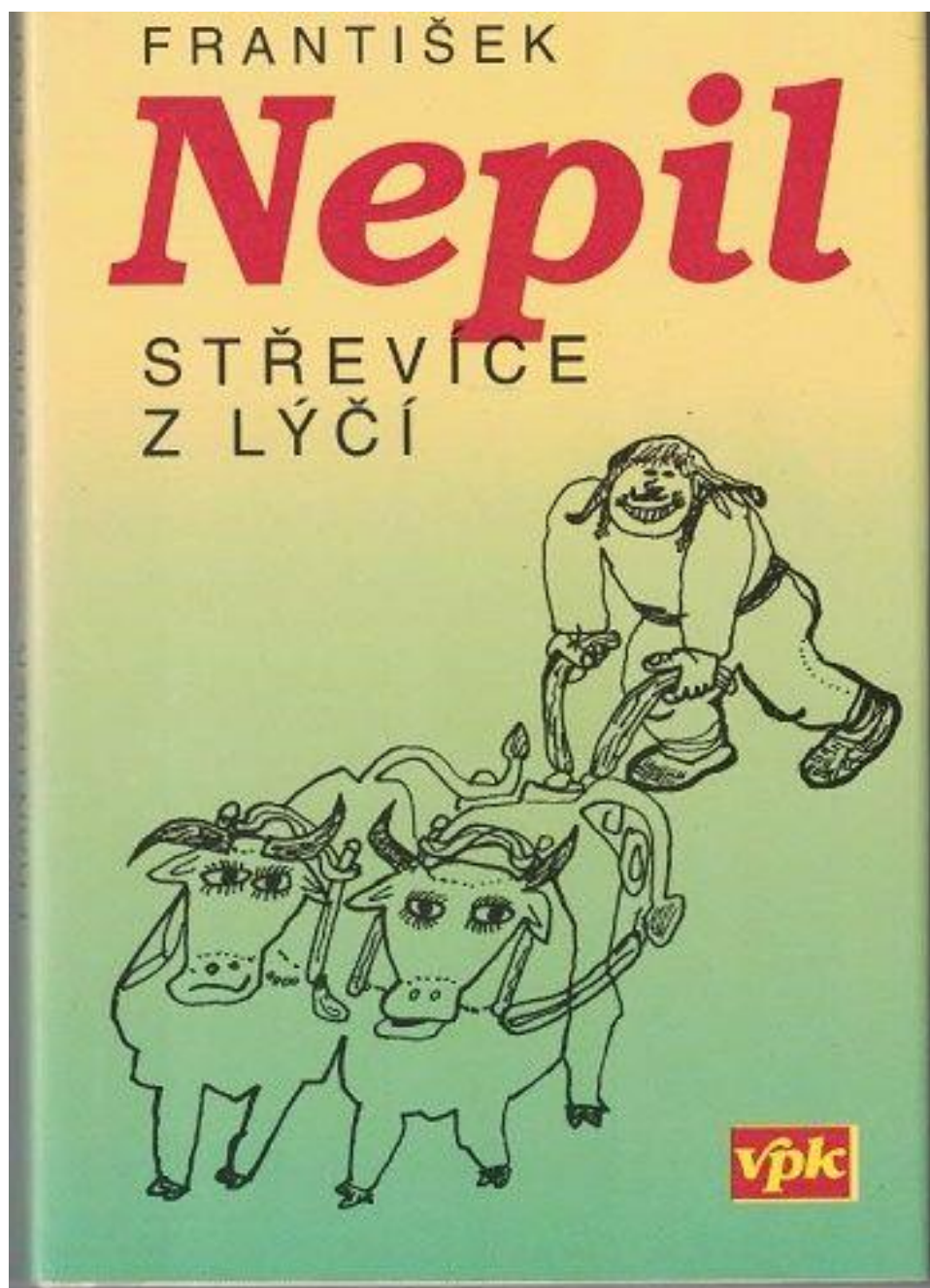
## ИЛЛЮСТРАЦИИ ILLUSTRATION



Илл. 1. Чешский писатель Франтишек Непил (1929 – 1995).  
Фото сайта: <https://www.google.com/search?q=frantisek+nepil>  
Fig. 1. Czech writer Frantisek Nepil (1929 - 1995).  
Photo from <https://www.google.com/search?q=frantisek+nepil>



Илл. 2. Франтишек Непил.  
Фото сайта: <https://www.google.com/search?q=frantisek+nepil>  
Illustration. 2. Frantisek Nepil.  
Photo from <https://www.google.com/search?q=frantisek+nepil>



Илл. 3. Обложка одной из книг Ф. Непила.  
Фото сайта: <https://www.google.com/search?q=frantisek+nepil>  
Illustration. 3. Cover of one of F. Nepil's books.  
Photo from <https://www.google.com/search?q=frantisek+nepil>

СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
ИНСТИТУТА СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Выпуск 3 (VIII)

Научное издание

Печатается в авторской редакции

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,  
а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публи-  
куемых материалов

Подготовка макета к печати  
Николаева Н.А.